

Система экономических противоречий, или философия нищеты

П.-Ж. Прудон

**System of Economical Contradictions; Or,
The Philosophy of Misery**

P.-J. Proudhon



Электронная книга проекта "Гутенберг" о системе экономических противоречий, Или Философии страдания

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Система экономических противоречий, Или философия нищеты

Автор: П.-Ж. Прудон

Дата выхода: 1 февраля 1996 г. [Электронная книга №444]

Последнее обновление: 1 апреля 2015 г.

Язык: Английский

Титры: Отсканировано с помощью профессионального программного обеспечения OmniPage для распознавания текста, предоставленного корпорацией Caere

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ СТРАДАНИЯ" ***

Отсканировано с помощью профессионального программного обеспечения OmniPage для распознавания текста, предоставленного Caere

Корпорация, 1-800-535-7226. Связаться с Майком Лохом <Mikel@caere.com>

ЭВОЛЮЦИЯ КАПИТАЛИЗМА

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ НИЩЕТЫ. П. Ж. ПРУДОН

Destruam et aedificabo.

Второзаконие: с. 32.

ТОМ ПЕРВЫЙ.

Содержание.

Введение

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ % 1. Противопоставление ФАКТА и ПРАВА в социальной экономике % 2. Неадекватность теорий и критических замечаний

ГЛАВА II. О ЦЕННОСТИ % 1. Противопоставление ценности в ИСПОЛЬЗОВАНИИ и ценности в ОБМЕНЕ % 2. Формирование ценности; Определение богатства % 3. Применение закона пропорциональности ценностей

ГЛАВА III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.—ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.—РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА % 1. Антагонистические эффекты принципа разделения % 2. Бессилие паллиативов.—ММ. Бланки, Шевалье, Дюнуайе, Росси и Пасси

ГЛАВА IV. ВТОРОЙ ПЕРИОД.—МАШИНЫ % 1. О функции машин в ее отношении к свободе % 2. Противоречие машин.—Происхождение капитала и заработной платы % 3. О консервантах против пагубного воздействия машин

ГЛАВА V. ТРЕТИЙ ПЕРИОД.—КОНКУРЕНЦИЯ % 1. Необходимость конкуренции % 2. Подрывные эффекты конкуренции и, следовательно, уничтожение свободы % 3. Средства правовой защиты от конкуренции

ГЛАВА VI. ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД.—МОНОПОЛИЯ % 1. Необходимость монополии % 2. Бедствия в сфере труда и извращение идей, вызванные монополией

ГЛАВА VII. ПЯТЫЙ ПЕРИОД.—ПОЛИЦИЯ, ИЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ % 1. Синтетическая идея налога. Отправная точка и развитие этой идеи % 2. Антиномия налога % 3. Катастрофические и неизбежные последствия налога. (Положения, Льготные законы, Сельская и промышленная полиция, патенты, торговые марки и т.д.)

ГЛАВА VIII. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И БОГА ПО ЗАКОНУ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВИДЕНИЯ % 1. Винодность человека.—Изложение мифа о грехопадении % 2. Изложение мифа о Провидении.—Регресс Бога

Введение.

Прежде чем перейти к предмету этих новых мемуаров, я должен объяснить гипотезу, которая, несомненно, покажется странной, но при отсутствии которой я не могу действовать вразумительно: я имею в виду гипотезу о Боге.

Предполагать Бога, скажут, значит отрицать его. Почему вы не утверждаете его?

Разве это моя вина, если вера в Божественность стала мнением, вызывающим подозрение; если простое подозрение в отношении Высшего Существа уже отмечено как свидетельство слабого ума; и если из всех философских утопий это единственная, которую мир больше не терпит? Разве я виноват, что лицемерие и идиотизм повсюду прячутся за этой святой формулой?

Пусть общественный учитель предположит существование во вселенной неизвестной силы, управляющей солнцами и атомами и поддерживающей в движении всю машину. Для него это предположение, совершенно беспричинное, совершенно естественно; оно принимается,

поощряется: привлечение свидетелей — гипотеза, которая никогда не будет проверена и которая, тем не менее, является славой ее создателя. Но когда для объяснения хода человеческих событий я предполагаю, со всей мыслимой осторожностью, вмешательство Бога, я уверен, что это шокирует научную серьезность и оскорбляет критический слух: до такой удивительной степени наше благочестие дискредитировало Провидение, столько трюков было проделано шарлатанами всех мастей с помощью этой догмы или вымысла! Я видел теистов своего времени, и богохульство слетало с моих уст; я изучил веру людей — тех людей, которых Брайден называл лучшими друзьями Бога, — и содрогнулся от отрицания, которое вот-вот должно было вырваться у меня. Терзаемый противоречивыми чувствами, я воззвал к разуму; и именно разум, среди стольких догматических противоречий, теперь навязывает мне эту гипотезу. Априорный догматизм, применяемый к Богу, оказался бесплодным: кто знает, куда, в свою очередь, приведет нас гипотеза?

Поэтому я объясню, как, изучая в тишине своего сердца и вдали от всяких человеческих соображений тайну социальных революций, Бог, великое неизвестное, стал для меня гипотезой, — я имею в виду необходимый диалектический инструмент.

Я.

Если я прослежу за идеей Бога через ее последовательные трансформации, я обнаружу, что эта идея преимущественно социальная: я имею в виду, что это гораздо больше коллективный акт веры, чем индивидуальная концепция. Итак, как и при каких обстоятельствах совершается этот акт веры? Этот момент важно определить.

С моральной и интеллектуальной точки зрения общество, или коллективный человек, особенно отличается от индивида спонтанностью действий, другими словами, инстинктом. В то время как индивид повинует или воображает, что повинует, только тем мотивам, которые он полностью осознает и от которых он может по своему желанию отказаться или согласиться действовать; в то время как, одним словом, он считает себя свободным, и тем более свободным, когда знает, что обладает более острыми мыслительными способностями и большей информацией, — обществом управляют импульсы, которые на первый взгляд не проявляют обдуманности и преднамеренности, но которые постепенно кажутся направленными высшей силой, существующей вне общества, и с непреодолимой мощью толкающей его к неизвестной цели. Установление монахий и республик, кастовые различия, судебные институты и т.д. Являются столь многочисленными проявлениями этой социальной спонтанности, заметить последствия которой гораздо легче, чем указать на ее принцип и показать ее причину. Все усилия даже тех, кто вслед за Боссюэ, Вико, Гердером, Гегелем обратился к философии истории, были направлены до сих пор на установление присутствия провиденциального предначертания, управляющего всеми движениями человека. И я замечаю в этой связи, что общество никогда не упускает случая призвать свой гений перед действием: как будто оно желает, чтобы высшие силы предопределили то, что уже решено его собственной спонтанностью. Жребий, оракулы, жертвоприношения, народное одобрение, публичные молитвы - наиболее распространенные формы этих запоздалых обсуждений в обществе.

Эта таинственная способность, полностью интуитивная и, так сказать, сверхсоциальная, едва или совсем не заметная у людей, но витающая над человечеством подобно вдохновляющему гению, является изначальным фактом всей психологии.

Итак, в отличие от других видов животных, которые, подобно ему, одновременно руководствуются индивидуальными желаниями и коллективными импульсами, человек обладает привилегией воспринимать и обозначать в своем собственном разуме инстинкт, или фатум, который им руководит; позже мы увидим, что он также обладает способностью предвидеть его решения и даже влиять на них. И первое действие человека, наполненного и увлеченного энтузиазмом (божественным дыханием), - это поклонение невидимому Провидению, от которого, как он чувствует, он зависит и которое он называет БОГОМ, то есть Жизнью, Существом, Духом или, еще проще, Мной; ибо все эти слова на древних языках являются синонимами и омофонами. "Я есть Я, - сказал Бог Аврааму, - и я заключаю завет с Тобою".... И Моисею: "Я Есмь Существо. Ты должен сказать детям Израиля: `Существо послало меня к вам". "Эти два слова, Существо и Я, имеют на языке оригинала — самом религиозном, на котором когда—либо говорили люди, - одну и ту же характеристику.[1] В другом месте, когда Иехова, действуя как законодатель через посредство Моисея, подтверждает свою вечность и клянется своей собственной сущностью, он использует в качестве формы клятвы Я; или же, с удвоенной силой, Я, СУЩЕСТВО. Таким образом, Бог евреев - самый личный и своенравный из всех богов, и никто лучше него не выражает интуицию человечества.

[1] Ie-hovah, а по составу Iah - Существо; Iao, Iouipitur, то же значение; ha-iah, евр., он был; ei, гр., он есть, ei-naí, быть; an-i, евр., а по спряжению th-я, me; e-go, io, ich, i, m-i, me, t-ibi, te, и все личные местоимения, в которых гласные i, e, ei, oi, обозначают личность в целом, а согласные, m или n, s или t, служат для обозначения номера личности. В остальном, пусть кто угодно оспаривает эти аналогии; у меня нет возражений: на такой глубине наука филолога - всего лишь облако и тайна. Важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, заключается в том, что фонетическое соотношение имен, по-видимому, соответствует метафизическому соотношению идей.

Тогда Бог явился человеку как я, как чистая и неизменная сущность, ставя себя перед ним, как монарх перед своим слугой, и выражая себя то устами поэтов, законодателей и прорицателей, мусы, номоса, нумена; то голосом народа, vox populi, vox Dei. Это может служить, среди прочего, объяснением существования истинных и ложных оракулов; почему индивидуумы, изолированные от рождения, сами не постигают идею Бога, в то время как они жадно хватаются за нее, как только она преподносится им коллективным разумом; почему, наконец, стационарные расы, такие как китайцы, в конце концов теряют ее.[2] Во-первых, что касается оракулов, то ясно, что вся их точность зависит от вселенского сознания, которое их вдохновляет; а что касается идеи Бога, то легко понять, почему изоляция и statu quo одинаково губительны для нее. С одной стороны, отсутствие общения удерживает разум поглощенным животным самосозерцанием; с другой стороны, отсутствие движения, постепенно превращающее социальную жизнь в механическую рутину, окончательно устраняет идею воли и провидения. Странный факт! религия, которая погибает из-за прогресса, погибает также из-за покоя.

[2] Китайцы сохранили в своих традициях воспоминание о религии, которая прекратила свое существование среди них за пять или шесть веков до нашей эры.

(См. Потье, "Китай", Париж, Дидо.) Еще более удивительно то, что этот уникальный народ, утратив свою примитивную веру, похоже, понял, что божественность - это просто коллективное "я" человечества: так что более двух тысяч лет назад Китай достиг, по его общепринятому

мнению, новейших результатов философии Запада. "То, что видят и понимают Небеса, - написано в "Шу-кинге", - это только то, что видят и понимают люди. То, что люди считают достойным награды и наказания, - это то, что Небо желает наказать и вознаградить. Между Небом и народом существует тесная связь: поэтому пусть те, кто управляет народом, будут бдительны и осмотрительны ". Конфуций выразил ту же идею по-другому: "Приобрати любовь народа, и ты приобретешь империю. Потеряй любовь народа, и ты потеряешь империю". Таким образом, там всеобщий разум считался царицей мира - различие, которым в других местах наделялись откровения. "Дао-дэ-кинг" выражен еще более определенно. В этой работе, представляющей собой лишь общую критику чистого разума, философ Лао-цзы постоянно отождествляет под именем ДАО универсальный разум и бесконечное бытие; и вся неясность книги Лао-цзы состоит, на мой взгляд, в этом постоянном отождествлении принципов, которые наши религиозные и метафизические привычки так широко разделяют.

Заметьте далее, что, приписывая смутному и (так сказать) объективированному сознанию универсального разума первое откровение Божественности, мы не предполагаем абсолютно ничего даже относительно реальности или нереальности Бога. На самом деле, признавая, что Бог - это не что иное, как коллективный инстинкт или универсальный разум, нам еще предстоит узнать, что такое этот универсальный разум сам по себе. Ибо, как мы непосредственно покажем, всеобщий разум не дан в индивидуальном разуме, другими словами, знание социальных законов или теория коллективных идей, хотя и выводятся из фундаментальных понятий чистого разума, тем не менее являются полностью эмпирическими и никогда не были бы открыты a priori посредством дедукции, индукции или синтеза. Отсюда следует, что универсальный разум, который мы рассматриваем как источник этих законов; универсальный разум, который существует, рассуждает, работает в отдельной сфере и как реальность, отличная от чистого разума, точно так же, как планетная система, хотя и созданная по законам математики, является реальностью, отличной от математики, существование которой не могло быть выведено только из математики: отсюда следует, говорю я, что универсальный разум - это на современных языках именно то, что древние называли Богом. Название изменено: что мы знаем об этой штуке?

Давайте теперь проследим эволюцию Божественной идеи.

Однажды установив Верховное Существо посредством первичного мистического суждения, человек немедленно обобщает предмет с помощью другого мистицизма — аналогии. Бог, так сказать, пока что всего лишь точка: непосредственно он наполнит мир.

Как, ощущая свое социальное "я", человек отдает честь своему АВТОРУ, так и, находя доказательства замысла в животных, растениях, источниках, метеоритах и во всей вселенной, он приписывает каждому особому объекту, а затем и всему целому, душу, дух или гения, управляющего им; продолжая этот индуктивный процесс апофеоза от высочайшей вершины Природы, которой является общество, вплоть до самых скромных форм жизни, неодушевленной и неорганической материи. Таким образом, от своего коллективного "я", взятого как высший полюс творения, до последнего атома материи, человек РАСПРОСТРАНЯЕТ идею Бога, то есть идею личности и разума, точно так же, как сам Бог РАСШИРИЛ НЕБЕСА, как сказано в книге Бытия; то есть создал пространство и время, условия существования всех вещей.

Таким образом, без Бога или мастера-строителя вселенная и человек не существовали бы: таково общественное исповедание веры. Но также и без человека Бог не мыслился бы, или —

чтобы прояснить этот интервал — Бог был бы ничем. Если человечеству нужен автор, то Богу и боги в равной степени нужен открыватель; теогония, история рая, ада и их обитателей — этих грез человеческого разума — является аналогом вселенной, которую некоторые философы в свою очередь называли мечтой о Боге. И как великолепно это богословское творение, работа общества! Творение демиурга было уничтожено; то, что мы называем Всемогущим, было побеждено; и на протяжении веков очарованное воображение смертных отвлекалось от зрелища Природы созерцанием олимпийских чудес.

Давайте покинем эту причудливую область: безжалостный разум стучится в дверь; ее ужасные вопросы требуют ответа.

"Что такое Бог?" - спрашивает она. "Где он? каковы его масштабы? каковы его желания? каковы его силы? что он обещает?" — и здесь, в свете анализа, все божества небес, земли и ада сводятся к бестелесному, бесчувственному, неподвижному, непостижимому, неопределимому Я-не-знаю-чему; короче говоря, к отрицанию всех атрибутов существования. Фактически, независимо от того, приписывает ли человек каждому объекту особый дух или гениальность, или представляет себе вселенную управляемой единой силой, он в любом случае лишь ПРЕДПОЛАГАЕТ некую необусловленную, то есть невозможную, сущность, чтобы на ее основе вывести объяснение таких явлений, которые он считает немыслимыми при любой другой гипотезе. Тайна Бога и разума! Чтобы сделать объект своего идолопоклонства все более и более РАЦИОНАЛЬНЫМ, верующий последовательно лишает его всех качеств, которые сделали бы его РЕАЛЬНЫМ; и после чудесных проявлений логики и гениальности обнаруживается, что атрибуты Существа *par excellence* совпадают с атрибутами ничтожества. Эта эволюция неизбежна и фатальна: атеизм лежит в основе всей теодицеи.

Давайте попробуем разобраться в этом прогрессе.

Бог, творец всего сущего, сам становится сотворенным сознанием, — другими словами, как только мы поднимаем Бога от идеи социального я к идее космического я, — так сразу же наша рефлексия начинает разрушать его под предлогом его совершенствования. Усовершенствовать идею Бога, очистить теологическую догму было второй галлюцинацией человеческой расы.

Дух анализа, этот неутомимый сатана, который постоянно подвергает сомнению и отрицает, рано или поздно должен искать доказательства религиозных догм. Теперь, определяет ли философ идею Бога или объявляет ее неопределимой; приближается ли он к ней своим разумом или отступает от нее, — я говорю, что этой идее наносится удар; и поскольку спекуляция не может остановиться, идея Бога должна в конце концов исчезнуть. Тогда атеистическое движение является вторым актом теологической драмы; и этот второй акт вытекает из первого, как следствие из причины. "Небеса возвещают славу Божию", - говорит псалмопевец. Давайте добавим, И их свидетельство низвергает его с престола.

Действительно, по мере того, как человек наблюдает явления, он думает, что видит между Природой и Богом посредников, таких как отношения числа, формы и последовательности; органические законы, эволюции, аналогии, образующие безошибочный ряд проявлений, которые неизменно порождают друг друга. Он даже замечает, что на развитие этого общества, частью которого он является, определенное влияние оказывают частные желания и совместные обсуждения; и он говорит себе, что Великий Дух воздействует на мир не непосредственно и не самостоятельно, не произвольно и не под диктовку капризной воли, а опосредованно, с

помощью воспринимаемых средств или органов и в силу законов. И, прослеживая в своем уме цепочку следствий и причин, он ясно ставит на крайность, в качестве равновесия, Бога.

Один поэт сказал:

Par delà tous les cieux, le Dieu des cieux reside.

Таким образом, на первом этапе теории Верховное Существо сводится к функции движущей силы, главной пружины, краеугольного камня или, если мне будет позволено еще более тривиальное сравнение, конституционного суверена, царствующего, но не управляющего, клянящегося подчиняться закону и назначающего министров для его исполнения. Но под влиянием очаровывающего его миража теист видит в этой нелепой системе лишь новое доказательство возвышенности своего кумира, который, по его мнению, использует своих созданий как инструменты своей власти и заставляет мудрость человеческих существ приумножать его славу.

Вскоре, не довольствуясь ограничением власти Вечного, человек, все более склонный к богоубийству, настаивает на том, чтобы поделиться ею.

Если я дух, разумное "я", выражающее идеи, продолжает теист, следовательно, я часть абсолютного существования; я свободен, созидателен, бессмертен, равен Богу. Cogito, следовательно sum, — Я мыслю, следовательно, я бессмертен, это следствие, перевод Ego sum qui sum: философия согласуется с Библией. Существование Бога и бессмертие души утверждаются совестью в одном и том же суждении: там человек говорит от имени вселенной, в лоно которой он переносит свое "я"; здесь он говорит от своего собственного имени, не осознавая, что в этом уходе и грядущем он только повторяет самого себя.

Бессмертие души, истинное разделение божественности, которое во время своего первого провозглашения, появившегося после долгого перерыва, казалось ересью тем, кто был верен старой догме, тем не менее считалось дополнением божественного величия, обязательно постулируемого вечной добротой и справедливостью. Если душа не бессмертна, Бог непостижим, говорят теисты, напоминая в этом политических теоретиков, которые считают суверенное представительство и бессрочное пребывание на посту необходимыми условиями монархии. Но непоследовательность идей столь же очевидна, сколь и четкость доктрин: следовательно, догма о бессмертии вскоре стала камнем преткновения для теологов-философов, которые со времен Пифагора и Орфея предпринимали тщетные попытки согласовать божественные атрибуты с человеческой свободой, а разум с верой. Предмет торжества для нечестивых! . . . Но иллюзия не могла развеяться так скоро: догма о бессмертии, по той самой причине, что она была ограничением несотворенного Существа, была шагом вперед. Итак, хотя человеческий разум обманывает себя частичным постижением истины, он никогда не отступает, и это упорство в прогрессе является доказательством его непогрешимости. Вскоре мы увидим новые доказательства этого.

Уподобляя себя Богу, человек уподобил бога самому себе: это соотношение, которое на протяжении многих веков отвергалось, было тайной пружинкой, определившей новый миф. Во времена патриархов Бог заключил союз с человеком; теперь, чтобы укрепить этот договор, Бог должен стать человеком. Он примет нашу плоть, наш облик, наши страсти, наши радости и наши печали; родится от женщины и умрет, как и мы. Затем, после этого унижения бесконечного, человек все еще будет притворяться, что он возвысил идеал своего Бога, сделав

путем логического обращения того, кого он всегда называл творцом, спасителем, искупителем. Человечество еще не говорит: "Я - Бог": такая узурпация потрясла бы его благочестие; оно говорит: "Бог во мне, ЭММАНУИЛ, nobiscum Deus". И в тот момент, когда философия с гордостью и вселенская совесть с испугом единодушно воскликнули: "Боги уходят!" excedere deos! начался период восемнадцати столетий пылкого обожания и сверхчеловеческой веры.

Но приближается роковой конец. Королевской власти, которая терпит ограничения, придет конец под властью демагогов; божественность, которая определена, растворяется в аду. Христолатрия - последний термин в этой долгой эволюции человеческой мысли. Ангелы, святые и девственницы царствуют на небесах вместе с Богом, говорится в катехизисе; а демоны и нечестивцы живут в аду вечного наказания. У сверхземного общества есть свои левые и свои правые: пришло время завершить уравнивание; этой мистической иерархии спуститься на землю и предстать в своем реальном облике.

Когда Мильтон изображает первую женщину, любующуюся собой в фонтане и любовно простирающую руки к своему собственному изображению, словно для того, чтобы обнять его, он рисует, черту за чертой, человеческую расу. — Этот Бог, которому ты поклоняешься, о человек! этот Бог, которого вы сделали добрым, справедливым, всемогущим, всеведущим, бессмертным и святым, - это вы сами: этот идеал совершенства - ваш образ, очищенный в сияющем зеркале вашей совести. Бог, Природа и человек - это три аспекта одного и того же существа; человек - это сам Бог, достигающий самосознания через тысячу эволюций. В Иисусе Христе человек осознал себя Богом; и христианство на самом деле является религией Богочеловека. Нет другого Бога, кроме того, кто в начале сказал: Я; нет другого Бога, кроме ТЕБЯ.

Таковы последние выводы философии, которая умирает, раскрывая тайну религии и свою собственную.

II.

Таким образом, кажется, что всему пришел конец; кажется, что с прекращением поклонения и мистификации человечества как такового богословская проблема навсегда отодвинута в сторону. Боги ушли: человеку ничего не осталось, кроме как устать и умереть в своем эгоизме. Какое ужасное одиночество простирается вокруг меня и пробивает себе дорогу до глубины моей души! Мое возвышение похоже на уничтожение; и с тех пор, как я сделал себя Богом, я кажусь всего лишь тенью. Возможно, я все еще остаюсь самым СОБОЙ, но очень трудно считать себя абсолют; а если я не абсолют, то я всего лишь половина идеи.

Какой-то ироничный мыслитель, не знаю кто, сказал: "Немного философии уводит от религии, а много философии возвращает к ней". Это утверждение унизительно верно.

Каждая наука развивается в три последовательных периода, которые можно назвать — сравнивая их с великими периодами цивилизации — религиозным периодом, софистическим периодом, научным периодом.[3] Таким образом, алхимия представляет религиозный период науки, впоследствии названной химией, окончательный план которой еще не открыт; аналогично, астрология была религиозным периодом другой науки, с тех пор основанной, — астрономии.

[3] См., среди прочего, Огюста Конта, "Курс позитивной философии", и П. Ж. Прудона, "Создание порядка в человечестве".

Теперь, после шестидесяти лет насмешек над философским камнем, химики, руководствуясь опытом, больше не осмеливаются отрицать возможность преобразования тел; в то время как астрономы, руководствуясь структурой мира, подозревают также существование мирового организма, то есть чего-то в точности подобного астрологии. Разве мы не вправе сказать, в подражание только что процитированному философу, что если немного химии уводит от философского камня, то большая часть химии ведет обратно к нему; и точно так же, что если немного астрономии заставляет нас смеяться над астрологами, большая часть астрономии заставит нас поверить в них?[4]

[4] Я не имею в виду утверждать здесь позитивным образом трансмутативность тел или указывать на это как на предмет исследования; еще меньше я претендую на то, чтобы сказать, каким должно быть мнение ученых по этому вопросу. Я хочу только привлечь внимание к разновидности скептицизма, порождаемого в каждом неосведомленном уме самыми общими выводами химической философии или, лучше сказать, несовместимыми гипотезами, которые служат основой ее теорий. Химия - это поистине отчаяние разума: со всех сторон она смешивается с причудами; и чем больше мы узнаем о ней из опыта, тем больше она окутывает себя непроницаемыми тайнами. Эта мысль недавно пришла мне в голову при чтении "Писем по химии" М. Либиха (Париж, Масгана, 1845, перевод Бертэ-Дюпини и Дюбрей-Гелиона).

Таким образом, М. Либих, изгнав из науки гипотетические причины и все сущности, признаваемые древними, — такие как творческая сила материи, ужас вакуума, правое чутье и т.д. (стр. 22), - немедленно допускает, как необходимые для понимания химических явлений, ряд сущностей, не менее неясных, — жизненную силу, химическую силу, электрическую силу, силу притяжения и т.д. (стр. 146, 149). Можно было бы назвать это осознанием свойств тел в подражание осознанию психологами способностей души под названиями свободы, воображения, памяти и т.д. Почему бы не придерживаться элементов? Почему, если атомы имеют собственный вес, как, по-видимому, полагает М. Либих, они не могут также обладать электричеством и собственной жизнью? Любопытная вещь! явления материи, как и явления разума, становятся понятными, только если предположить, что они вызваны непонятными силами и управляются противоречивыми законами: таков вывод, который можно сделать из каждой страницы книги М. Либиха.

Материя, согласно М. Либиху, по существу инертна и полностью лишена спонтанной активности (стр. 148): почему же тогда атомы обладают весом? Разве тяжесть, присущая атомам, не является реальным, вечным и спонтанным движением материи? И то, что мы случайно считаем покоем, — не может ли это быть скорее равновесием? Зачем же тогда предполагать теперь инерцию, которой противоречат определения, теперь внешнюю потенциальность, которую ничто не доказывает?

Из того, что атомы имеют ВЕС, М. Либих делает вывод, что они НЕДЕЛИМЫ (стр. 58). Какая логика! Вес — это всего лишь сила, то есть вещь, скрытая от органов чувств, воспринимаемые только явления которой, - вещь, следовательно, к которой неприменима идея разделения и неделимости; и из присутствия этой силы, из гипотезы о неопределенной и нематериальной сущности выводится неделимое материальное существование!

Что касается остального, М. Либих признает, что РАЗУМ не может представить частицы абсолютно неделимыми; далее, он признает, что ФАКТ этой неделимости не доказан; но он добавляет, что наука не может обойтись без этой гипотезы: так что, по признанию своих учителей, химия имеет в качестве отправной точки фикцию, столь же отвратительную для разума, сколь и чуждую опыту. Какая ирония!

Атомы неодинаковы по весу, говорит М. Либих, потому что неодинаковы по объему: тем не менее, невозможно продемонстрировать, что химические эквиваленты выражают относительный вес атомов или, другими словами, что то, что расчет атомных эквивалентов заставляет нас рассматривать как атом, не состоит из нескольких атомов. Это равносильно утверждению, что БОЛЬШЕ МАТЕРИИ весит больше, чем МЕНЬШЕ МАТЕРИИ; и, поскольку вес является сущностью материальности, мы можем логически заключить, что, поскольку вес универсально идентичен самому себе, в материи также есть идентичность; что различия простых тел обусловлены исключительно либо различными методами атомной ассоциации, либо различными степенями молекулярной конденсации, и что в действительности атомы могут преобразовываться, чего М. Либих не признает.

"У нас нет, - говорит он, - никаких оснований полагать, что один элемент преобразуется в другой элемент" (стр. 135). Что вы знаете об этом? Причины для веры в такое обращение вполне могут существовать и в то же время ускользать от вашего внимания; и нет уверенности, что ваш интеллект в этом отношении поднялся до уровня вашего опыта. Но, принимая отрицательный аргумент М. Либиха, что из этого следует? Что, примерно за пятьюдесятью шестью исключениями, которые пока невозможно свести к минимуму, вся материя находится в состоянии постоянных метаморфоз. Итак, законом нашего разума является предположение о единстве вещества в Природе, а также о единстве силы и системы; более того, ряд химических соединений и самих простых веществ неотразимо приводит нас к этому заключению. Почему же тогда мы отказываемся следовать до конца по пути, открытому наукой, и принять гипотезу, которая является неизбежным результатом самого опыта?

М. Либих не только отрицает трансмутативность элементов, но и отвергает самопроизвольное образование зародышей. Теперь, если мы отвергаем самопроизвольное образование зародышей, мы вынуждены признать их вечность; и поскольку, с другой стороны, геология доказывает, что земной шар не всегда был населен, мы должны также признать, что в данный момент вечные зародыши животных и растений родились без отца или матери по всему лицу земли.

Таким образом, отрицание самопроизвольного зарождения возвращает к гипотезе спонтанности: что есть в часто высмеиваемой метафизике более противоречивого?

Однако пусть никто не подумает, что я отрицаю ценность и достоверность химических теорий, или что атомная теория кажется мне абсурдной, или что я разделяю мнение эпикурейцев относительно самопроизвольного зарождения. Еще раз, все, на что я хочу обратить внимание, это то, что с точки зрения принципов химия должна проявлять крайнюю терпимость, поскольку ее собственное существование зависит от определенного количества фикций, противоречащих разуму и опыту и разрушающих друг друга.

У меня, конечно, меньше склонности ко всему чудесному, чем у многих атеистов, но я не могу отделаться от мысли, что истории о чудесах, пророчествах, чарах и т.д. Являются всего лишь

искаженными описаниями экстраординарных эффектов, производимых определенными скрытыми силами, или, как было сказано ранее, оккультными силами. Наша наука все еще так жестока и несправедлива; наши профессора проявляют столько дерзости при столь скудных знаниях; они так нагло отрицают факты, которые ставят их в неловкое положение, чтобы защитить мнения, которые они отстаивают, — что я не доверяю сильным умам наравне с суеверными. Да, я убежден в этом; наш грубый рационализм является началом периода, который благодаря науке станет поистине ПОТРЯСАЮЩИМ; вселенная, на мой взгляд, - всего лишь лаборатория магии, от которой можно ожидать чего угодно. . . . Сказав это, я возвращаюсь к своей теме.

Тогда были бы обмануты те, кто после моего беглого обзора религиозного прогресса вообразил бы, что метафизика произнесла свое последнее слово над двойной загадкой, выраженной в этих четырех словах, — существованием Бога и бессмертием души. Здесь, как и везде, самые передовые и наиболее обоснованные выводы, те, которые, по-видимому, навсегда разрешили теологический вопрос, возвращают нас к первобытному мистицизму и привлекают новые данные неизбежной философии. Критика религиозных мнений заставляет нас сегодня улыбаться как самим себе, так и религиям; и все же резюме этой критики - всего лишь воспроизведение проблемы. Человечество в настоящий момент находится на пороге признания и утверждения чего-то эквивалентного старому представлению о Божественности; и это происходит не спонтанным движением, как раньше, а путем размышления и посредством непреодолимой логики. Я постараюсь в нескольких словах, чтобы меня поняли.

Если и есть пункт, по которому философам вопреки их воле в конце концов удалось прийти к согласию, то это, без сомнения, различие между разумом и необходимостью, субъектом мышления и его объектом, мной и не-мной; говоря обычным языком, духом и материей. Я хорошо знаю, что все эти термины не выражают ничего реального; что каждый из них обозначает только часть абсолюта, которая единственная истинна; и что, взятые по отдельности, они все одинаково заключают в себе противоречие. Но не менее несомненно также, что абсолютен совершенно недоступен для нас; что мы познаем его только по его противоположным крайностям, которые единственно укладываются в пределы нашего опыта; и что, если только единство может завоевывать нашу веру, двойственность является первым условием науки.

Итак, кто мыслит и что такое мысль? Что такое душа? что такое тело? Я бросаю вызов любому, кто пытается избежать этого дуализма. С сущностями дело обстоит так же, как и с идеями: первые рассматриваются разделенными в Природе, а вторые - в рассудке; и точно так же, как идеи Бога и бессмертия, несмотря на их идентичность, последовательно и противоречиво утверждаются в философии, так же, несмотря на их слияние в абсолюте, я и не-я позиционируют себя отдельно и противоречиво в Природе, и у нас есть существа, которые мыслят одновременно с другими, которые не мыслят.

Итак, любой, кто потрудился поразмыслить, знает сегодня, что такое различие, каким бы полностью оно ни было осознанным, является самой непонятной, самой противоречивой, самой абсурдной вещью, с которой только может столкнуться разум. Бытие не более мыслимо без свойств духа, чем без свойств материи: так что, если вы отрицаете дух, потому что, не включенный ни в одну из категорий времени, пространства, движения, плотности и т.д., Он кажется лишенным всех атрибутов, составляющих реальность, я, в свою очередь, буду отрицать

материю, которая, не представляя ничего заметного, кроме своей инертности, ничего умопостигаемого, кроме своих форм, нигде не проявляется как причина (произвольная и свободная) и полностью исчезает из поля зрения как субстанция; и мы приходим к чистому идеализму, то есть к ничтожеству. Но ничтожество несовместимо с существованием живых, рассуждающих — я не знаю, как их назвать, — объединяющих в себе, в состоянии начатого синтеза или неминуемого распада, все антагонистические атрибуты бытия. Таким образом, мы вынуждены прийти к дуализму, термины которого, как мы прекрасно знаем, ложны, но который, являясь для нас условием истины, непреодолимо воздействует на нас; короче говоря, мы вынуждены начать, подобно Декарту и человечеству, с "я", то есть с духа.

Но, поскольку религии и философии, растворенные анализом, исчезли в теории абсолюта, мы знаем не лучше, чем раньше, что такое дух, и в этом отличаемся от древних только богатством языка, которым мы украшаем окутывающую нас тьму. Однако с одним исключением: в то время как для древних порядок раскрывал разум ЗА пределами мира, современным людям кажется, что он раскрывает его скорее ВНУТРИ мира. Теперь, помещаем ли мы это внутрь или вовне, с того момента, как мы утверждаем это на основании порядка, мы должны признавать это везде, где проявляется порядок, или вообще отрицать это. Приписывать разум голове, создавшей "Илиаду", не больше оснований, чем массе материи, кристаллизующейся в октаэдри; и, наоборот, так же абсурдно относить мировую систему к физическим законам, исключая МЕНЯ, посвящающего в сан, как приписывать победу при Маренго стратегическим комбинациям, исключая первого консула. Единственное различие, которое можно провести, состоит в том, что в последнем случае мыслящее "Я" находится в мозгу Бонапарта, в то время как в случае вселенной "Я" не имеет особого местоположения, но простирается повсюду.

Материалисты думают, что они легко отделались от своих оппонентов, сказав, что человек, сравнив вселенную со своим телом, завершает сравнение предположением о существовании во вселенной души, подобной той, которую он считает принципом своей собственной жизни и мышления; что, таким образом, все аргументы в поддержку существования Бога сводятся к аналогии, тем более ложной, что термин сравнения сам по себе гипотетичен.

В мои намерения, конечно, не входит защищать старый силлогизм: каждое устройство подразумевает руководящий разум; в мире царит удивительный порядок; тогда мир - это работа разума. Этот силлогизм, столь широко обсуждаемый со времен Иова и Моисея, очень далек от решения, это всего лишь постановка проблемы, которую он предполагает решить. Мы прекрасно знаем, что такое порядок, но мы абсолютно невежественны в значении слов "Душа", "Дух", "Разум": как же тогда мы можем логически рассуждать о наличии одного из них и о существовании другого? Таким образом, я отвергаю, даже если оно выдвинуто наиболее глубоко информированными людьми, мнимое доказательство существования Бога, основанное на наличии порядка в мире; я вижу в нем самое большее лишь уравнение, предлагаемое философии. Между концепцией порядка и утверждением духа лежит глубокая пропасть метафизики, которую необходимо заполнить; я не желаю, повторяю, рассматривать проблему для демонстрации.

Но это не тот момент, который мы сейчас рассматриваем. Я пытался показать, что человеческий разум был неизбежно и непреодолимо приведен к разделению бытия на "я" и "не-я", дух и материю, душу и тело. Итак, кто же не видит, что возражение материалистов доказывает именно то, что оно призвано отрицать? Человек, различающий в себе духовное начало и

материальное начало, — что это, как не сама Природа, поочередно заявляющая о своей двойной сущности и свидетельствующая о своих собственных законах? И обратите внимание на непоследовательность материализма: он отрицает и вынужден отрицать, что человек свободен; теперь, чем меньше свободы у человека, тем больший вес следует придавать его словам и тем больше их притязаний рассматриваться как выражение истины. Когда я слышу, как эта машина говорит мне: "Я есмь душа и я есмь тело", - хотя такое откровение удивляет и сбивает меня с толку, оно наделяется в моих глазах авторитетом, несравненно большим, чем авторитет материалиста, который, исправляя совесть и Природу, пытается заставить их сказать: "Я материя и только материя, а разум - это всего лишь материальная способность познания".

Что стало бы с этим утверждением, если бы я, в свою очередь, перешел в наступление и продемонстрировал, что вера в существование тел или, другими словами, в реальность чисто материальной природы несостоятельна? Материя, говорят, непроницаема.—Непроницаема для чего? Я спрашиваю. Само по себе, несомненно; ибо они не осмелились бы сказать "дух", поскольку тем самым они признали бы то, что хотели бы отложить в сторону. В связи с чем я поднимаю этот двойной вопрос: что вы знаете об этом и что это означает?

1. Непроницаемость, которая якобы является определением материи, - это всего лишь гипотеза беспечных натуралистов, грубый вывод, выведенный из поверхностного суждения. Опыт показывает, что материя обладает бесконечной делимостью, бесконечной расширяемостью, пористостью без определенных пределов и проницаемостью для тепла, электричества и магнетизма, а также способностью сохранять их бесконечно; сродству, взаимным влияниям и преобразованиям нет числа: все эти качества едва ли совместимы с предположением о непроницаемой жидкости. Эластичность, которая лучше, чем любое другое свойство материи, могла бы привести через идею упругости или сопротивления к идее непроницаемости, подвластна контролю тысячи обстоятельств и полностью зависит от молекулярного притяжения: итак, что более несовместимо с непроницаемостью, чем это притяжение? Наконец, есть наука, которую можно было бы с точностью определить как НАУКУ О ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЕЩЕСТВА: я имею в виду химию. На самом деле, чем то, что называется химическим составом, отличается от проницаемости?[5]... Короче говоря, мы познаем материю только через ее формы; о ее субстанции мы ничего не знаем. Как же тогда возможно утверждать реальность невидимого, неосязаемого, непостижимого существа, вечно меняющегося, вечно исчезающего, непроницаемого для одной только мысли, которому оно являет только свои личины? Материалист! Я разрешаю вам засвидетельствовать реальность ваших ощущений; относительно того, что их вызывает, все, что вы можете сказать, предполагает такую взаимность: нечто (которое вы называете материей) является причиной ощущений, которые ощущает другое нечто (которое я называю духом).

[5] Химики проводят различие между СМЕСЬЮ и СОСТАВОМ, точно так же, как логики проводят различие между ассоциацией идей и их синтезом. Тем не менее верно, что, согласно химикам, композиция, в конце концов, может быть всего лишь смесью или, скорее, агрегацией атомов, уже не случайной, а систематической, атомы образуют различные соединения путем изменения их расположения. Но все же это всего лишь гипотеза, совершенно необоснованная; гипотеза, которая ничего не объясняет и не имеет даже того достоинства, что она логична. Почему чисто числовое или ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ различие в составе и форме атомов приводит к столь разным ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ свойствам? Если атомы неделимы и непроницаемы, почему их

объединение, ограниченное механическими воздействиями, не оставляет их неизменными по сути? Где связь между предполагаемой причиной и полученным следствием?

Мы должны не доверять нашему интеллектуальному видению: это относится как к химическим теориям, так и к психологическим системам. Разум, чтобы объяснить явления, работает с атомами, которых он не видит и никогда не сможет увидеть, как и со МНОЙ, которого он не воспринимает: он применяет свои категории ко всему; то есть он различает, индивидуализирует, конкретизирует, нумерует, сравнивает вещи, которые, материальные или нематериальные, полностью идентичны и неразличимы. Материя, как и дух, играет, на наш взгляд, всевозможные роли; и поскольку в ее метаморфозах нет ничего произвольного, мы строим на них эти психологические и атомистические теории, истинные в той мере, в какой они точно представляют в согласованных терминах ряд явлений, но радикально ложные, как только они претендуют на реализацию своих абстракций и принимаются буквально.

2. Но каков же тогда источник этого предположения о непроницаемости материи, которое внешнее наблюдение не подтверждает и которое неверно; и каков его смысл?

Здесь проявляется торжество дуализма. Материя объявляется непроницаемой не по свидетельству чувств, как воображают материалисты и вульгаристы, а по свидетельству совести. "Я", непостижимая природа, чувствующая себя свободной, отдельной и постоянной и встречающая вне себя другую природу, столь же непостижимую, но также отчетливую и постоянную, несмотря на свои метаморфозы, заявляет, на основании ощущений и идей, которые внушает ей эта сущность, что НЕ-Я протяженно и непроницаемо. Непроницаемость - это фигуральный термин, образ, посредством которого мысль, подразделение абсолюта, рисует себе материальную реальность, другое подразделение абсолюта; но эта непроницаемость, без которой исчезает материя, является, в конечном счете, лишь спонтанным суждением внутреннего ощущения, метафизическим априори, непроверенной гипотезой духа.

Таким образом, независимо от того, одухотворяет ли философия, ниспровергнув теологический догматизм, материализует ли мысль, идеализирует ли бытие или реализует идеи; или же, отождествляя СУБСТАНЦИЮ и ПРИЧИНУ, она повсюду заменяет СИЛУ, фразы, все то, что ничего не объясняет и не означает, — она всегда возвращает нас к этому вечному дуализму и, призывая нас верить в самих себя, заставляет нас верить в Бога, если не в духов. Верно, что, сделав дух частью Природы, в отличие от древних, которые отделяли его, философия пришла к этому знаменитому выводу, который подводит итог почти всем плодам ее исследований: в человеке дух ПОЗНАЕТ СЕБЯ, в то время как повсюду еще он, по—видимому, НЕ ПОЗНАЕТ себя - "То, что бодрствует в человеке, что грезит в животном и спит в камне", - сказал один философ.

Таким образом, философия в свой последний час знает не больше, чем при своем рождении: словно она появилась в мире только для того, чтобы подтвердить слова Сократа, она говорит нам, торжественно окутывая себя своим погребальным покровом: "Я знаю только то, что я ничего не знаю". Что я говорю? Философия сегодня знает, что все ее суждения основаны на двух одинаково ложных, одинаково невозможных и, тем не менее, одинаково необходимых и неизбежных гипотезах — материи и духа. Таким образом, в то время как в прежние времена религиозная нетерпимость и философские споры, распространявшие повсюду тьму, оправдывали сомнение и влекли к либидозному безразличию, торжество отрицания по всем пунктам больше не допускает даже этого сомнения; мысль, свободная от всех барьеров, но покоренная своими собственными успехами, вынуждена утверждать то, что кажется ей явно

противоречивым и абсурдным. Дикари говорят, что мир - это великий фетиш, за которым присматривает великий маниту. На протяжении тридцати веков поэты, законодатели и мудрецы цивилизации, передавая из века в век философский светильник, не написали ничего более возвышенного, чем это исповедание веры. И здесь, в конце этого долгого заговора против Бога, который назвал себя философией, эмансипированный разум приходит к выводу вместе с диким разумом: Вселенная - это НЕ-Я, объективированное МНОЙ.

Таким образом, человечество неизбежно допускает существование Бога: и если в течение длительного периода, который заканчивается с нашим временем, оно верило в реальность своей гипотезы; если оно поклонялось непостижимому объекту; если, будучи воспринято в этом акте веры, оно сознательно, но уже не добровольно, придерживается этого мнения о суверенном существе, которое, как оно знает, является всего лишь персонификацией его собственной мысли; если оно вот—вот снова начнет свои магические заклинания, - мы должны поверить, что столь удивительная галлюцинация скрывает некую тайну, заслуживающую внимания. быть понятым.

Я говорю "галлюцинация и тайна", но не намереваясь тем самым отрицать сверхчеловеческое содержание идеи Бога и не признавая необходимости нового символизма, — я имею в виду новую религию. Ибо если бесспорно, что человечество, утверждая Бога - или все, что включено в слово "я" или "дух", — утверждает только себя, то столь же бесспорно и то, что оно утверждает себя как нечто отличное от своей собственной концепции самого себя, как показывают все мифологии и теологии. И поскольку, кроме того, это утверждение неоспоримо, оно, без сомнения, зависит от скрытых связей, которые следует, по возможности, определить научно.

Другими словами, атеизм, иногда называемый гуманизмом, истинный в своих критических и негативных чертах, был бы таким, если бы он остановился на человеке в его естественном состоянии, если бы он отбросил как ошибочное суждение первое утверждение человечества о том, что оно есть дочь, эманация, образ, отражение или глас Бога, — гуманизм, говорю я, если бы он таким образом отрицал свое прошлое, был бы всего лишь еще одним противоречием. Таким образом, мы вынуждены предпринять критику гуманизма; то есть установить, удовлетворяет ли человечество, рассматриваемое в целом и на протяжении всех периодов его развития, Божественной идее, после устранения из последней преувеличенных и причудливых атрибутов Бога; удовлетворяет ли оно совершенству бытия; удовлетворяет ли оно само себя. Короче говоря, мы вынуждены задаться вопросом, СТРЕМИТСЯ ли человечество К Богу, согласно древней догме, или оно само СТАНОВИТСЯ Богом, как утверждают современные философы. Возможно, в конце концов мы обнаружим, что эти две системы, несмотря на их кажущуюся противоположность, обе истинны и по существу идентичны: в этом случае непогрешимость человеческого разума, как в его коллективных проявлениях, так и в его изученных спекуляциях, была бы окончательно подтверждена.— Одним словом, пока мы не проверим для человека гипотезу о Боге, в атеистическом отрицании нет ничего окончательного.

Таким образом, нам нужна научная, то есть эмпирическая демонстрация идеи Бога: сейчас такая демонстрация никогда не предпринималась. Теология догматизирует, опираясь на авторитет своих мифов, философия спекулирует с помощью категорий, Бог существовал как ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ концепция, непознаваемая разумом, и гипотеза всегда существует.

Я говорю, что существует эта гипотеза, более цепкая, более безжалостная, чем когда-либо. Мы достигли одной из тех пророческих эпох, когда общество, презирающее прошлое и

сомневающееся в будущем, теперь рассеянно цепляется за настоящее, предоставляя нескольким мыслителям-одиночкам устанавливать новую веру; теперь взывает к Богу из глубин своих наслаждений и просит знамения спасения или ищет в зрелище своих революций, как во внутренностях жертвы, тайну своей судьбы.

Почему я должен настаивать дальше? Гипотеза о Боге допустима, поскольку она навязывается каждому человеку вопреки ему самому: следовательно, никто не может возразить против нее. Тот, кто верит, может сделать не что иное, как согласиться со мной в предположении о существовании Бога; тот, кто отрицает, вынужден согласиться и со мной, поскольку он высказал это до меня, причем каждое отрицание подразумевает предыдущее утверждение; что же касается того, кто сомневается, ему достаточно задуматься на мгновение, чтобы понять, что его сомнение обязательно предполагает нечто неизвестное, что рано или поздно он назовет Богом.

Но если я обладаю, благодаря факту моей мысли, правом ПРЕДПОЛАГАТЬ Бога, я должен отказаться от права УТВЕРЖДАТЬ его. Другими словами, если моя гипотеза неопровержима, то на данный момент это все, на что я могу претендовать. Ибо утверждать - значит определять; теперь, каждое определение, чтобы быть истинным, должно быть достигнуто эмпирически. На самом деле, тот, кто говорит о решимости, говорит об отношении, обусловленности, опыте. Поскольку, таким образом, определение идеи Бога должно быть результатом эмпирической демонстрации, мы должны воздерживаться от всего, что в поисках этого великого неизвестного, не будучи установленным опытом, выходит за рамки гипотезы, под страхом возврата к теологическим противоречиям и, следовательно, нового пробуждения атеистического инакомыслия.

III.

Мне остается сказать, почему в работе по политической экономии я счел необходимым начать с фундаментальной гипотезы всей философии.

И во-первых, мне нужна гипотеза о Боге, чтобы утвердить авторитет социальной науки. Когда астроном, чтобы объяснить устройство мира, исходя исключительно из внешнего вида, вульгарно предполагает, что небо изогнуто дугой, земля плоская, солнце, похожее на футбольный мяч, описывает кривую в воздухе с востока на запад, он предполагает непогрешимость органов чувств, оставляя за собой право впоследствии, после дальнейших наблюдений, исправить данные, с которых он обязан начать. Астрономическая философия, по сути, не могла бы априори признать, что чувства обманывают нас и что мы не видим того, что видим на самом деле: признав такой принцип, что стало бы с достоверностью астрономии? Но свидетельства того, что органы чувств способны в определенных случаях исправлять и дополнять себя, авторитет органов чувств остается непоколебимым, и астрономия возможна.

Итак, социальная философия априори не допускает, что человечество может ошибаться или быть обманутым в своих действиях: если бы это произошло, что стало бы с авторитетом человеческого рода, то есть с авторитетом разума, который, по сути, синонимичен суверенитету народа? Но он считает, что человеческие суждения, всегда истинные в момент их произнесения, могут последовательно дополнять друг друга и проливать свет друг на друга, пропорционально приобретению идей, таким образом, чтобы поддерживать постоянную гармонию между универсальным разумом и индивидуальными спекуляциями и неограниченно

расширять сферу достоверности, что всегда является подтверждением авторитета человеческих суждений.

Итак, первое суждение разума, преамбула каждой политической конституции, требующая санкции и принципа, обязательно такова: БОГ ЕСТЬ; это означает, что общество управляется с помощью замысла, преднамеренности, разума. Это суждение, исключающее случайность, является, таким образом, основой возможности социальной науки; и каждое историческое и позитивное изучение социальных фактов, предпринимаемое с целью улучшения положения и прогресса, должно предполагать вместе с людьми существование Бога, оставляя за собой право объяснить это суждение в более поздний период.

Таким образом, история общества является для нас всего лишь длительным определением идеи Бога, постепенным раскрытием предназначения человека. И в то время как древняя мудрость ставила все в зависимость от произвольного и причудливого представления о Божественности, угнетающего разум и совесть и останавливающего прогресс из-за страха перед невидимым хозяином, новая философия, меняющая метод на противоположный, попирающая авторитет Бога так же, как человека, и не принимающая никакого другого ярма, кроме факта и очевидности, заставляет всех склоняться к теологической гипотезе, как к последней из своих проблем.

Следовательно, гуманитарный атеизм является последним шагом в моральном и интеллектуальном освобождении человека, следовательно, последней фазой философии, служащей путем к научной реконструкции и проверке всех разрушенных догм.

Гипотеза о Боге нужна мне не только, как я только что сказал, для придания смысла истории, но и для легитимации реформ, которые должны быть проведены во имя науки в государстве.

Рассматриваем ли мы Божественность вне общества, движениями которого она управляет свыше (совершенно необоснованное и, вероятно, иллюзорное мнение); или считаем ли мы ее имманентной обществу и идентичной тому безличному и бессознательному разуму, который, действуя инстинктивно, способствует развитию цивилизации (хотя безличность и незнание себя противоречат идее разума); или, наконец, все, что совершается в обществе, является результатом взаимосвязи его элементов (система, все достоинство которой состоит в превращении активного в пассивное, в том, что разум становится необходимостью, или, что равносильно то же самое, принимая закон за причину), — из этого всегда следует, что проявления социальной активности, неизбежно предстающие перед нами либо как указания на волю Высшего Существа, либо как своего рода язык, типичный для общего и безличного разума, или, наконец, как ориентиры необходимости, являются для нас абсолютным авторитетом. Будучи связанными как во времени, так и по духу, свершившиеся факты определяют и узаконивают свершающиеся факты; наука и судьба находятся в согласии; все, что происходит, проистекает из разума, и, наоборот, разум судит только о том, что происходит, исходя из опыта, наука имеет право участвовать в управлении, и то, что устанавливает ее компетентность как советника, оправдывает ее вмешательство как суверена.

Наука, выраженная, признанная и одобренная всеобщим голосом как божественная, является царицей мира. Таким образом, благодаря гипотезе о Боге, все консервативные или регрессивные возражения, все медлительные доводы, предлагаемые теологией, традицией или эгоизмом, оказываются безапелляционно и бесповоротно отброшенными в сторону.

Мне нужна гипотеза о Боге, чтобы показать связь, которая объединяет цивилизацию с Природой.

Фактически, эта удивительная гипотеза, согласно которой человек приравнивается к абсолюту, подразумевающая идентичность законов природы и законов разума, позволяет нам видеть в человеческом трудолюбии дополнение творческой деятельности, объединяет человека с земным шаром, который он населяет, и в возделывании области, в которую поместило нас Провидение, что, таким образом, частично становится нашей работой, дает нам представление о принципе и цели всех вещей. Итак, если человечество не является Богом, то оно является продолжением Бога; или, если предпочесть другую фразеологию, то то, что человечество делает сегодня намеренно, - это то же самое, что оно начало инстинктивно и что Природа, по-видимому, совершает по необходимости. Во всех этих случаях, и какое бы мнение мы ни выбрали, одно остается несомненным: единство действий и закона. Разумные существа, действующие лица разумно придуманной басни, мы можем бесстрашно рассуждать от самих себя о вселенной и вечном; и, когда мы завершим организацию труда, можем с гордостью сказать, что творение объяснено.

Таким образом, поле исследования философии определено; традиция является отправной точкой всех спекуляций относительно будущего; утопия навсегда разрушена; изучение "Я", перенесенное с индивидуального сознания на проявления общественной воли, приобретает характер объективности, которого оно было до сих пор лишено; и, поскольку история становится психологией, теология антропологией, естественные науки метафизикой, теория разума выводится больше не из вакуума интеллекта, а из бесчисленных форм Природы, доступных изобилию и непосредственному наблюдению.

Мне нужна гипотеза о Боге, чтобы доказать мою добрую волю по отношению ко множеству сект, мнения которых я не разделяю, но чьей злобы я опасюсь: — теисты; Я знаю одного, кто ради дела Божьего был бы готов обнажить меч и, подобно Робеспьеру, использовать гильотину до тех пор, пока не будет уничтожен последний атеист, не мечтая, что этим атеистом будет он сам; — мистики, чья партия, в основном состоящая из студентов и женщин, марширующих под знаменем ММ. Ламенне, Кине, Леру и другие взяли за девиз "каков хозяин, таков и человек"; каков Бог, таковы и люди; и, чтобы регулировать заработную плату рабочего, начинают с восстановления религии; — спиритуалисты, которые, если бы я пренебрег правами духа, обвинили бы меня в установлении культа материи, против чего я протестую всеми силами своей души; — сенсуалисты и материалисты, для которых божественная догма является символом принуждения и принципом порабощения страстей, вне которых, по их словам, нет ничего, что могло бы привести к смерти. для человека нет ни удовольствия, ни добродетели, ни гениальности; — эклектики и скептики, продавцы и издатели всех старых философий, но не сами философы, объединенные в одно обширное братство с одобрением и привилегиями против любого, кто думает, верит или утверждает без их разрешения; — консерваторы, наконец, ретрограды, эгоисты и лицемеры, проповедующие любовь к Богу ненавистью к ближнему, приписывающие свободе мировые несчастья со времен всемирного потопа и шокирующие разум своей глупостью.

Возможно ли, однако, что они нападут на гипотезу, которая далека от того, чтобы хулить почитаемые призраки веры, стремится лишь выставить их напоказ среди бела дня; которая, вместо того чтобы отвергать традиционные догмы и предрассудки совести, просит лишь

подтвердить их; которая, защищаясь от исключительных мнений, принимает за аксиому непогрешимость разума и, благодаря этому плодотворному принципу, несомненно, никогда не примет решения против какой-либо из антагонистических сект? Возможно ли, что религиозные и политические консерваторы обвинят меня в нарушении общественного порядка, когда я начну с гипотезы о суверенном разуме, источнике любой мысли о порядке; что полухристианские демократы проклянут меня как врага Бога и, следовательно, предателя республики, когда я буду искать смысл и содержание идеи Бога; и что университетские торговцы обвинят меня в нечестии демонстрации бесполезности их философских произведений, когда я особенно настаиваю на том, что философию следует изучать в ее предмете, то есть в том, что философия должна изучаться в ее предмете? в проявлениях общества и Природы?

Мне нужна гипотеза о Боге, чтобы оправдать мой стиль.

В моем незнании всего, что касается Бога, мира, души и судьбы; вынужденный действовать как материалист, то есть путем наблюдения и опыта, — и делать выводы на языке верующего, потому что другого нет; не зная, будут ли мои формулы, теологические вопреки мне, восприняты буквально или фигурально; в этом постоянном созерцании Бога, человека и вещей, вынужденный подчиняться синонимии всех терминов, входящих в три категории мысли, речи и действия, но не желающий ничего утверждать ни с той, ни с другой стороны, — строгая логика требовал, чтобы я предположил, ни больше, ни меньше, это неизвестное, которое называется Богом. Мы полны Божественности, *Jovis omnia plena*; наши памятники, наши традиции, наши законы, наши идеи, наши языки и наши науки - все заражено этим неизгладимым суеверием, вне которого мы не можем ни говорить, ни действовать, и без которого мы даже не мыслим.

Наконец, мне нужна гипотеза о Боге, чтобы объяснить публикацию этих новых мемуаров.

Наше общество ощущает себя переполненным событиями и озабочено будущим: как объяснить эти смутные предчувствия единственной помощью универсального разума, имманентного, если хотите, и постоянного, но безличного и, следовательно, немого, или идеей необходимости, если она подразумевает, что необходимость осознает себя и, следовательно, имеет предчувствия? Таким образом, снова остается агент или кошмар, который давит на общество и дает ему видения.

Теперь, когда общество пророчествует, оно вкладывает вопросы в уста одних и ответы в уста других. И мудр, значит, тот, кто может слушать и понимать; ибо сам Бог изрек, *quia locutus est Deus*.

Академия моральных и политических наук предложила следующий вопрос:—

"Определить общие факты, которые управляют отношениями прибыли к заработной плате, и объяснить их соответствующие колебания".

Несколько лет назад та же Академия задала вопрос: "В чем причины нищеты?" В девятнадцатом веке, по сути, была только одна идея — равенство и реформы. Но ветер дует, куда ему вздумается: многие начали размышлять над этим вопросом, но никто на него не ответил. Таким образом, коллегия аруспиков возобновила свой вопрос, но в более значительных выражениях. Оно желает знать, царит ли порядок в мастерской; справедлива ли заработная плата; справедливо ли компенсируют друг друга свобода и привилегии; достаточно ли точна идея

стоимости, управляющая всеми фактами обмена, в тех формах, в которых ее представили экономисты; защищает ли кредит труд; является ли обращение регулярным; одинаково ли бремя общества ложится на всех и т.д.

И, действительно, поскольку недостаточный доход является непосредственной причиной нищеты, нам следует знать, почему, если отбросить несчастья и недоброжелательство, доход рабочего недостаточен. Это все тот же вопрос о неравенстве состояний, который вызывал такой ажиотаж в течение прошедшего столетия и который по странной случайности постоянно появляется в академических программах, как будто именно в этом кроется настоящая трудность современности.

Итак, равенство — его принцип, его средства, его препятствия, его теория, мотивы его отсрочки, причина социальных и провиденциальных беззаконий — все это мир должен усвоить, несмотря на насмешки скептиков.

Я хорошо знаю, что взгляды Академии не столь глубоки и что она равна Церковному совету в своем ужасе перед новшествами; но чем больше она обращается к прошлому, тем больше отражает будущее, и, следовательно, тем больше мы должны верить в ее вдохновение: ибо истинные пророки — это те, кто не понимает своих высказываний. Слушайте дальше.

"Каковы, — спросили в Академии, — наиболее полезные применения принципа добровольного и частного объединения, которые мы можем сделать для облегчения страданий?"

И снова:—

"Изложить теорию и принципы договора страхования, изложить его историю и вывести из его обоснования и фактов развитие, на которое способен этот договор, а также различные полезные применения, возможные при нынешнем состоянии коммерческого и промышленного прогресса".

Публицисты признают, что страхование, рудиментарная форма коммерческой солидарности, представляет собой объединение вещей, *societas in re*; то есть общество, условия которого, основанные на чисто экономических отношениях, не зависят от произвольного диктата человека. Таким образом, философия страхования или взаимной гарантии безопасности, которая должна быть выведена из общей теории реальных (*in re*) обществ, будет содержать формулу всеобщей ассоциации, в которую не верит ни один член Академии. И когда, объединяя субъект и объект в одной точке зрения, Академия требует, наряду с теорией объединения интересов, теории добровольного объединения, она открывает нам наиболее совершенную форму общества и тем самым подтверждает все, что наиболее расходится с ее убеждениями. Свобода, равенство, солидарность, объединение! По какой немыслимой ошибке столь в высшей степени консервативная организация предложила гражданам эту новую программу прав человека? Именно таким образом Каиафа пророчествовал об искуплении, отрекшись от Иисуса Христа.

По первому из этих вопросов в Академию в течение двух лет было направлено сорок пять мемуаров — доказательство того, что тема удивительно хорошо соответствовала состоянию общественного сознания. Но среди стольких участников ни один не был признан достойным приза, и Академия сняла вопрос; сославшись в качестве причины на неспособность участников, но на самом деле потому, что провал конкурса был единственной целью, которую

имела в виду Академия, она обязана была без дальнейшего промедления заявить, что надежды друзей ассоциации были беспочвенными.

Итак, джентльмены из Академии дезавуируют в своем зале заседаний свои заявления с трибуны! В таком противоречии нет ничего удивительного для меня, и да сохранит меня Бог от того, чтобы назвать это преступлением! Древние верили, что революции возвещают о своем приходе ужасными знаменами и что среди прочих чудес заговаривают животные. Это была фигура, описывающая те неожиданные идеи и странные слова, которые внезапно циркулируют в массах в критические моменты и которые, кажется, совершенно не имеют человеческого происхождения, настолько далеки они от сферы обычных суждений. В то время, в которое мы живем, подобное не могло не произойти. После того, как благодаря пророческому инстинкту и механической спонтанности *pecudesque locut* {ae} провозгласили ассоциацию, джентльмены из Академии моральных и политических наук вернулись к своему обычному благоразумию; а вместе с ними обычай победил вдохновение. Давайте же научимся отличать небесный совет от заинтересованного суждения людей и будем уверены, что в рассуждениях мудрецов наиболее достоверно то, чему они уделили меньше всего внимания.

Тем не менее Академия, столь грубо нарушив свою интуицию, похоже, испытывала некоторые угрызения совести. Вместо теории ассоциации, в которую, поразмыслив, она больше не верит, она требует "Критического анализа системы обучения Песталоцци, рассматриваемой главным образом в ее связи с благосостоянием и моралью бедных классов". Кто знает? возможно, соотношение между прибылью и заработной платой, ассоциацией, организацией труда действительно лежит в основе системы обучения. Разве жизнь человека не является постоянным ученичеством? Разве философия и религия не являются образованием человечества? Следовательно, организовать обучение означало бы организовать промышленность и сформулировать теорию общества: Академия в моменты просветления всегда возвращается к этому.

"Какое влияние, - снова спрашивает Академия, - прогресс и стремление к материальному комфорту оказывают на нравственность нации?"

Взятый в самом очевидном смысле, этот новый вопрос Академии является обычным делом и в лучшем случае подходит для тренировки навыков ратора. Но Академия, которая должна до конца оставаться в неведении относительно революционного значения своих оракулов, отдернула занавес в своих комментариях. Что же тогда такого глубокого он обнаружил в этом эпикурейском тезисе?

"Стремление к роскоши и сопутствующим ей удовольствиям, — говорится нам в нем, - особая любовь к ней, испытываемая большинством; склонность сердец и умов заниматься исключительно ею; согласие отдельных людей И ГОСУДАРСТВА в том, чтобы сделать ее мотивом и целью всех своих проектов, всех своих усилий и всех своих жертв, - порождают общие или индивидуальные чувства, которые, благотворные или пагубные, становятся принципами действия, возможно, более могущественными, чем любые, которые до сих пор руководили людьми".

Никогда еще у моралистов не было более благоприятной возможности выступить против сенсуализма века, продажности совести и коррупции, насаждаемой правительством: чем же вместо этого занимается Академия моральных наук? С самым автоматическим спокойствием он

устанавливает ряд, в котором роскошь, столь долго запрещаема стойками и аскетами — этими учителями святости, — должна, в свою очередь, предстать как принцип поведения, столь же законный, столь же чистый и столь же величественный, как все те, на которые раньше ссылались религия и философия. Определите, говорится нам в нем, мотивы действий (несомненно, ныне устаревших и изношенных), исторически провиденциальным преемником которых является РОСКОШЬ, и, исходя из результатов первых, рассчитайте последствия вторых. Короче говоря, докажите, что Аристипп был лишь опережением своего века и что его система морали должна была иметь свое время, так же как система Зенона и кемпийского.

Таким образом, мы имеем дело с обществом, которое больше не желает быть бедным; которое насмехается над всем, что когда-то было для него дорого и священо, — свободой, религией и славой, — пока у него нет богатства; которое, чтобы получить его, подчиняется всем беззакониям и становится соучастником всевозможных трусливых действий; и эта жгучая жажда удовольствий, это непреодолимое желание достичь роскоши, — признак нового периода в цивилизации, - является высшей заповедью, в силу которой мы должны трудиться ради уничтожения бедности: таким образом, так говорит Академия. Что же тогда становится с доктриной искупления и воздержания, с моралью самопожертвования, смирения и счастливой умеренности? Какое недоверие к компенсации, обещанной в другой жизни, и какое противоречие Евангелию! Но, прежде всего, какое оправдание правительства, принявшего в качестве своей системы золотой ключ! Почему религиозные люди, христиане, сенеки, согласованно высказали так много аморальных максим?

Академия, завершая свою мысль, ответит нам:—

"Покажите, как прогресс уголовного правосудия в преследовании и наказании за нападения на людей и собственность следует за эпохой цивилизации от дикого состояния до состояния наций с наилучшим управлением".

Возможно ли, что юристы-криминалисты из Академии моральных наук предвидели вывод из своих посылок? Факт, история которого сейчас подлежит изучению и который Академия описывает словами "прогресс уголовного правосудия", - это просто постепенное смягчение, которое проявляется как в формах уголовных расследований, так и в назначаемых наказаниях по мере того, как цивилизация увеличивается в свободе, свете и богатстве. Таким образом, принцип репрессивных институтов является прямой противоположностью всем тем, от которых зависит благосостояние общества, происходит постоянное устранение всех частей пенитенциарной системы, а также всех судебных принадлежностей, и окончательный вывод из этого движения состоит в том, что гарантия порядка не заключается ни в страхе, ни в наказании; следовательно, ни в аду, ни в религии.

Какое ниспровержение общепринятых идей! Какое отрицание всего того, защищать что входит в обязанности Академии моральных наук! Но если гарантия порядка больше не заключается в страхе перед наказанием, которое предстоит понести ни в этой жизни, ни в другой, где же тогда можно найти гарантии защиты людей и собственности? Или, скорее, что становится с собственностью без репрессивных институтов? А без собственности что становится с семьей?

Академия, которая ничего не знает обо всех этих вещах, отвечает без волнения: —

"Рассмотрим различные этапы организации семьи на территории Франции с древних времен до наших дней".

Что означает: Определять, исходя из предыдущего прогресса семейной организации, условия существования семьи в состоянии равенства состояний, добровольного и свободного объединения, всеобщей солидарности, материального комфорта и роскоши, а также общественного порядка без тюрем, судов, полиции или палачей.

Возможно, вы будете удивлены, обнаружив, что Академия моральных и политических наук, после того как она, подобно самым смелым новаторам, поставила под сомнение все принципы общественного устройства — религию, семью, собственность, справедливость, - не предложила также эту проблему: КАКОВА НАИЛУЧШАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ? Фактически, правительство является для общества источником любой инициативы, каждой гарантии, каждой реформы. В таком случае было бы интересно узнать, адекватно ли правительство, созданное Уставом, практическому решению вопросов Академии.

Но было бы неправильным представлением об оракулах, если бы они полагали, что действуют путем индукции и анализа; и именно потому, что политическая проблема была условием или следствием требуемых демонстраций, Академия не могла предложить ее на конкурс. Такой вывод открыл бы ей глаза, и, не дожидаясь мемуаров конкурентов, она поспешила бы свернуть всю свою программу. Академия подошла к вопросу сверху. В нем было сказано:—

Дела Божьи прекрасны по своей сути, *justificata in semet ipsa*; одним словом, они истинны, потому что принадлежат ему. Мысли человека напоминают густой пар, пронизанный длинными и узкими вспышками. ЧТО ЖЕ ТОГДА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ И КАКОВ ХАРАКТЕР ДОСТОВЕРНОСТИ?

Как если бы Академия сказала нам: вы должны проверить гипотезу вашего существования, гипотезу Академии, которая вас допрашивает, гипотезы времени, пространства, движения, мысли и законов мышления. Тогда вы сможете проверить гипотезу пауперизма, гипотезу неравенства условий, гипотезу всеобщей ассоциации, гипотезу счастья, гипотезы монархии и республиканизма, гипотезу Провидения!

Полная критика Бога и человечества.

Я указываю на программу общества почтенных: не я определил условия своей задачи, а Академия моральных и политических наук. Итак, как я могу удовлетворить этим условиям, если я сам не наделен непогрешимостью; одним словом, если я не Бог или божественное начало? Таким образом, Академия признает, что божественность и человечность идентичны или, по крайней мере, коррелируют; но вопрос теперь в том, в чем заключается это соотношение: таков смысл проблемы достоверности, таков объект социальной философии.

Итак, во имя общества, которое вдохновляет Бог, Академия задает вопросы.

От имени того же общества я являюсь одним из пророков, которые пытаются ответить. Задача огромная, и я не обещаю выполнить ее: я найду так далеко, как Бог даст мне сил. Но, что бы я ни говорил, это исходит не от меня: мысль, вдохновляющая мое перо, не является личной, и ничто из того, что я пишу, не может быть приписано мне. Я изложу факты так, как я их видел; я буду

судить о них по тому, что я скажу; я буду называть все самым убедительным образом, и никто не обидится. Я буду свободно расспрашивать, руководствуясь правилами гадания, которым я научился, о значении божественного замысла, который сейчас выражает себя красноречивыми устами мудрецов и нечленораздельными воплями народа; и, хотя я должен отрицать все прерогативы, гарантированные нашей Конституцией, я не стану фракционером. Я укажу пальцем, куда толкает нас невидимое влияние, и ни мои действия, ни мои слова не будут вызывать раздражения. Я взбудоражу тучу, и, хотя я заставлю ее метнуть молнию, я буду невиновен. В этом торжественном расследовании, на которое меня приглашает Академия, я имею больше, чем право говорить правду, — я имею право говорить то, что я думаю: пусть моя мысль, мои слова и правда будут одним и тем же!

И ты, читатель, — ибо без читателя нет писателя, — ты - половина моей работы. Без вас я всего лишь звучащая медь; с помощью вашего внимания я буду творить чудеса. Видите ли вы этот мимолетный вихрь, называемый ОБЩЕСТВОМ, из которого с поразительной яркостью вырываются молнии, громы и голоса? Я хочу заставить вас приложить палец к скрытым пружинам, которые им движут; но для этого вы должны по моему приказу привести себя в состояние чистого разума. Глаза любви и наслаждения бессильны распознать красоту в скелете, гармонию в обнаженных внутренностях, жизнь в темной и свернувшейся крови: следовательно, тайны общественного организма являются запечатанным письмом для человека, чей мозг затуманен страстями и предрассудками. Такие возвышенности недостижимы иначе, как холодным и безмолвным созерцанием. Итак, позволь мне, прежде чем открыть твоим глазам страницы книги жизни, подготовить твою душу тем скептическим очищением, которого великие учителя народа — Сократ, Иисус Христос, святой Павел, святой Реми, Бэкон, Декарт, Галилей, Кант и др. — всегда требовали от своих учеников.

Кем бы вы ни были, одетыми в лохмотья нищеты или облаченными в роскошные одеяния роскоши, я возвращаю вас в то состояние сияющей наготы, которое не затуманивают ни испарения богатства, ни яды завистливой бедности. Как убедить богатых, что разница в условиях возникает из-за ошибки в счетах; и как бедные, в своем нищенстве, могут представить, что собственник владеет добросовестно? Исследовать страдания труженика - для бездельника самое невыносимое из развлечений; точно так же, как воздавать должное удачливому - для несчастного самое горькое из напитков.

Вы занимаете высокое положение: я лишаю вас его; вот вы и свободны. Под этим официальным костюмом слишком много оптимизма, слишком много подчиненности, слишком много праздности. Наука требует восстания мысли: теперь мысль чиновника - это его зарплата.

Мне хотелось бы верить, что твоей любовницей, красивой, страстной, артистичной, обладаешь только ты. То есть ваша душа, ваш дух, ваша совесть превратились в самый очаровательный предмет роскоши, который природа и искусство создали для вечных мучений очарованных смертных. Я отделяю вас от этой божественной половины вас самих: в наши дни слишком сильно желать справедливости и в то же время любить женщину. Чтобы мыслить величественно и ясно, мужчина должен избавиться от оболочки своей природы и придерживаться своей мужской ипостаси. Кроме того, в том состоянии, в которое я тебя привел, твой возлюбленный больше не узнал бы тебя: вспомни жену Иова.

Какая у вас религия? . . . Забудьте о своей вере и, благодаря мудрости, станьте атеистом.—Что? вы говорите: атеист вопреки нашей гипотезе!— Нет, но благодаря нашей гипотезе. Мысль

человека должна была долгое время возвышаться над божественными вещами, чтобы иметь право предполагать личность за пределами человека, жизнь за пределами этой жизни. В остальном, не бойтесь за свое спасение. Бог не сердится на тех, кого разум побуждает отрицать его, так же как он не беспокоится о тех, кого вера побуждает поклоняться ему; и в состоянии вашей совести самое верное для вас - ничего не думать о нем. Разве вы не видите, что с религией дело обстоит так же, как и с правительствами, самым совершенным из которых было бы отрицание всего? Тогда пусть никакие политические или религиозные пристрастия не держат вашу душу в плену; только так вы теперь сможете не стать ни простофилей, ни ренегатом. "Ах, - говорил я в дни моей восторженной юности, - разве я не услышу звон ко второй вечерне республики и наших священников, одетых в белые туники, поющих на дорический манер возвращающий гимн: "Измени, боже, собор рабства, приди в пустыню под суфле рафрахиссана!" Но я отчаялся в республиканцах и больше не знаю ни религии, ни священников.

Я хотел бы также, чтобы окончательно заручиться вашим мнением, дорогой читатель, сделать вашу душу нечувствительной к жалости, стоящей выше добродетели, равнодушной к счастью. Но этого было бы слишком много ожидать от неофита. Помните только и никогда не забывайте, что жалость, счастье и добродетель, подобно стране, религии и любви, являются масками. . . .

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ НИЩЕТЫ.

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.

% 1.—Противопоставление ФАКТА и ПРАВА в социальной экономике.

Я подтверждаю РЕАЛЬНОСТЬ экономической науки.

Это утверждение, которое сейчас мало кто из экономистов осмеливается подвергать сомнению, является, возможно, самым смелым из всех, которые когда-либо выдвигал философ; и я надеюсь, что последующие исследования докажут, что однажды его демонстрация будет считаться величайшим усилием человеческого разума.

Я утверждаю, с другой стороны, АБСОЛЮТНУЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ, а также ПРОГРЕССИВНЫЙ характер экономической науки, из всех наук, на мой взгляд, наиболее всеобъемлющей, самой чистой, лучше всего подкрепленной фактами: новое положение, которое превращает эту науку в логику или метафизику *in concreto* и радикально меняет основы древней философии. Другими словами, экономическая наука для меня является объективной формой и реализацией метафизики; это метафизика в действии, метафизика, спроецированная на исчезающий план времени; и тот, кто изучает законы труда и обмена, является истинным и особенным метафизиком.

После того, что я сказал во введении, в этом нет ничего такого, что могло бы кого-либо удивить. Труд человека продолжает работу Бога, который, создавая все существа, лишь внешне реализовал вечные законы разума. Таким образом, экономическая наука - это обязательно и одновременно теория идей, естественная теология и психология. Одного этого общего очерка было бы достаточно, чтобы объяснить, почему, занимаясь экономическими вопросами, я был вынужден ранее предполагать существование Бога и под каким названием я, простой экономист, стремлюсь решить проблему достоверности.

Но я спешу сказать, что я не считаю наукой бессвязный набор теорий, которым вот уже почти сто лет официально присваивается название ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ и которые, несмотря на этимологию названия, в конце концов являются всего лишь кодексом или извечной рутиной собственности. Эти теории предлагают нам лишь зачатки, или первый раздел, экономической науки; и вот почему, подобно собственности, все они противоречат друг другу и в половине случаев неприменимы. Доказательство этого утверждения, которое в некотором смысле является отрицанием политической экономии в том виде, в каком она была передана нам Адамом Смитом, Рикардо, Мальтусом и Дж. Б. Сэем, и в том виде, в каком мы знаем ее на протяжении полувека, будет особенно развито в этом трактате.

Неадекватность политической экономии во все времена производила впечатление на вдумчивые умы, которые, слишком увлеченные своими мечтами для практических исследований и ограничиваясь оценкой очевидных результатов, с самого начала составили партию оппозиции существующему положению вещей и посвятили себя упорному и систематическому высмеиванию цивилизации и ее обычаев. Собственность, с другой стороны, основа всех социальных институтов, никогда не испытывала недостатка в ревностных защитниках, которые, гордясь тем, что их называют ПРАКТИЧНЫМИ, обменивались ударом на удар с клеветниками от политической экономии и мужественно и часто искусно трудились над укреплением здания, воздвигнутого общими предрассудками и индивидуальной свободой в согласии.

Все еще продолжающийся спор между консерваторами и реформаторами находит свое отражение в истории философии в споре между реалистами и номиналистами; почти бесполезно добавлять, что с обеих сторон правильное и неправильное равны и что соперничество, узость и нетерпимость мнений были единственной причиной недоразумений.

Таким образом, две державы борются за правление миром и проклинают друг друга с пылом двух враждебных религий: политической экономии, или традиции, и социализма, или утопии.

Что же такое, в более четких терминах, политическая экономия? Что такое социализм?

Политическая экономия представляет собой совокупность наблюдений, сделанных к настоящему времени в отношении явлений производства и распределения богатства, то есть в отношении наиболее распространенных, наиболее спонтанных и, следовательно, наиболее подлинных форм труда и обмена.

Экономисты классифицировали эти наблюдения, насколько это было возможно; они описали явления и установили их случайности и взаимосвязи; они наблюдали в них во многих случаях качество необходимости, которое дало им название ЗАКОНОВ; и эта совокупность информации, почерпнутой из простейших проявлений общества, составляет политическую экономию.

Таким образом, политическая экономия - это естественная история наиболее очевидных и наиболее общепризнанных обычаев, традиций, практики и методов человечества во всем, что касается производства и распределения богатства. Пользуясь этим названием, политическая экономия считает себя легитимной ФАКТИЧЕСКИ и по ПРАВУ: фактически, потому что явления, которые она изучает, постоянны, спонтанны и универсальны; по праву, потому что эти явления опираются на авторитет рода человеческого, самый сильный авторитет из всех возможных.

Следовательно, политическая экономия называет себя НАУКОЙ, то есть рациональным и систематическим знанием регулярных и необходимых фактов.

Социализм, который, подобно богу Вишну, вечно умирающему и вечно возвращающемуся к жизни, пережил в течение двадцати лет свое десяти тысячное воплощение в лицах пяти или шести носителей откровения, — социализм утверждает неправильность нынешнего устройства общества и, следовательно, всех его предыдущих форм. Она утверждает и доказывает, что порядок цивилизации искусственен, противоречив, неадекватен; что она порождает угнетение, нищету и преступность; она осуждает, чтобы не сказать клеветает, все прошлое социальной жизни и изо всех сил стремится к реформированию морали и институтов.

В заключение социализм объявляет политическую экономию ложной и софистической гипотезой, разработанной для того, чтобы позволить немногим эксплуатировать многих; и, применяя максимум плодоносящего познания, он завершает демонстрацию бессилия и пустоты политической экономии перечнем человеческих бедствий, ответственность за которые она возлагает на нее.

Но если политическая экономия ложна, то юриспруденция, которая во всех странах является наукой о праве и обычаях, также ложна; поскольку, основанная на различии "твое" и "мое", она предполагает законность фактов, описываемых и классифицируемых политической экономией. Теории публичного и международного права со всеми разновидностями представительного правления также ложны, поскольку они основаны на принципе индивидуального присвоения и абсолютного суверенитета воли.

Все эти последствия социализм принимает. Для него политическая экономия, рассматриваемая многими как физиология богатства, есть не что иное, как организация грабежа и бедности; точно так же, как юриспруденция, которую легисты именуют письменным разумом, является в его глазах всего лишь компиляцией рубрик юридического и официального грабежа — одним словом, собственности. Рассматриваемые в их соотношении, эти две мнимые науки, политическая экономия и юриспруденция, образуют, по мнению социализма, законченную теорию беззакония и раздора. Переходя затем от отрицания к утверждению, социализм противопоставляет принцип собственности принципу ассоциации и прилагает энергичные усилия для реконструкции социальной экономики сверху донизу; то есть для установления нового кодекса, новой политической системы с институтами и моралью, диаметрально противоположными старым формам.

Таким образом, демаркационная линия между социализмом и политической экономией установлена, а враждебность вопиющая.

Политическая экономия стремится к прославлению эгоизма; социализм способствует возвеличиванию коммунизма.

Экономисты, за исключением нескольких нарушений своих принципов, за которые они считают своим долгом обвинять правительства, оптимисты в отношении свершившихся фактов; социалисты - в отношении фактов, которые должны свершиться.

Первые утверждают, что то, что должно быть, ЕСТЬ; вторые - что того, что должно быть, НЕТ. Следовательно, в то время как первые являются защитниками религии, авторитета и других принципов, современных собственности и консервативных по отношению к ней, — хотя их

критика, основанная исключительно на разуме, часто наносит удары по их собственным предрассудкам, — вторые отвергают авторитет и веру и апеллируют исключительно к науке, — хотя определенная религиозность, совершенно нелиберальная, и ненаучное презрение к фактам всегда являются наиболее очевидными характеристиками их доктрин.

В остальном ни одна из сторон не перестает обвинять другую в недееспособности и бесплодии.

Социалисты требуют от своих оппонентов объяснения неравенства условий, тех коммерческих дебошей, при которых монополия и конкуренция в чудовищном союзе постоянно порождают роскошь и нищету; они упрекают экономические теории, всегда созданные по образцу прошлого, в том, что они оставляют будущее безнадежным; короче говоря, они указывают на режим собственности как на ужасную галлюцинацию, против которой человечество протестовало и боролось четыре тысячи лет.

Экономисты, со своей стороны, бросают вызов социалистам в попытке создать систему, в которой можно обойтись без собственности, конкуренции и политической организации; они доказывают, имея в руках документы, что все реформаторские проекты всегда были не чем иным, как пересказом фрагментов, заимствованных из той самой системы, над которой насмехается социализм, — плагиатами, одним словом, из политической экономии, вне которой социализм неспособен постичь и сформулировать идею.

С каждым днем доказательства по этому серьезному делу накапливаются, и вопрос становится запутанным.

В то время как общество путешествовало и спотыкалось, страдало и процветало, следуя экономической рутине, социалисты, начиная с Пифагора, Орфея и непостижимого Гермеса, трудились над утверждением своей догмы в противовес политической экономии. Кое-где даже предпринималось несколько попыток объединения в соответствии с их взглядами, но пока эти исключительные начинания, затерянные в океане собственности, были безрезультатными; и, как будто судьба решила исчерпать экономическую гипотезу, прежде чем нападать на социалистическую утопию, реформаторская партия вынуждена довольствоваться тем, что забирает сарказмы своих противников в карман, ожидая своей собственной очереди.

Итак, таково положение дел: социализм непрестанно разоблачает преступления цивилизации, ежедневно убеждается в бессилии политической экономии удовлетворить гармоничные влечения человека и представляет петицию за петицией; политическая экономия заполняет свой отчет социалистическими системами, все из которых одна за другой исчезают, презируемые здравым смыслом. Упорство зла питает жалобы одного, в то время как постоянная череда исправительных проверок питает злобную иронию другого. Когда будет вынесен приговор? Трибунал опустел; тем временем политическая экономия расширяет свои возможности и, не внося залога, продолжает господствовать над миром; возможно, что возможно.

Если мы спустимся из сферы идей к реальностям мира, антагонизм покажется еще более серьезным и угрожающим.

Когда в эти последние годы социализм, спровоцированный длительными конвульсиями, фантастически проявился среди нас, люди, которых все споры до тех пор казались безразличными и вялыми, в страхе вернулись к монархическим и религиозным идеям;

демократия, которой было поручено развиваться наконец до предела, была проклята и отброшена назад. Это обвинение консерваторов в адрес демократов было клеветой. Демократия по своей природе столь же враждебна социалистической идее, сколь и неспособна заменить королевскую власть, против которой ей суждено бесконечно устраивать заговоры. Вскоре это стало очевидным, и мы ежедневно являемся свидетелями этого в исповедании христианской и собственнической веры демократическими публицистами, от которых люди начали отказываться в тот момент.

С другой стороны, философия оказывается не менее отличной от социализма, не менее враждебной ему, чем политика и религия.

Ибо точно так же, как в политике принципом демократии является верховенство чисел, а принципом монархии — верховенство государя; точно так же и в делах совести религия есть не что иное, как подчинение мистическому существу, называемому Богом, и священникам, которые его представляют; точно так же, наконец, в экономическом мире собственность, то есть исключительный контроль индивида над орудиями труда, является отправной точкой любой теории, — так и философия, основываясь на априорных посылах разума, неизбежно приводит к тому, что она приписывает только МНЕ порождение идей и автократию их, и отрицает право собственности на них. метафизическая ценность опыта; то есть универсальная замена объективного закона абсолютизмом, деспотизмом.

Итак, доктрина, которая, внезапно возникнув в сердце общества, без предшествий и без предков, отвергла во всех сферах сознания и общества принцип произвола, чтобы заменить единственной истиной соотношение фактов; которая порвала с традицией и согласилась использовать прошлое только как точку, с которой можно двинуться в будущее, — такая доктрина не могла не настроить против себя установленные ВЛАСТИ; и сегодня мы можем видеть, как, несмотря на свои внутренние разногласия, упомянутые ВЛАСТИ, которые являются всего лишь одним целым, объединяются для борьбы с чудовищем, которое является готов проглотить их.

Рабочим, которые жалуются на недостаточную заработную плату и неопределенность труда, политическая экономия противопоставляет свободу торговли; гражданам, которые ищут условий свободы и порядка, идеологи отвечают репрезентативными системами; нежным душам, которые, утратив свою древнюю веру, задаются вопросом о причине и конце своего существования, религия предлагает непостижимые тайны Провидения, а философия хранит сомнения в запасе. Всегда уловки; законченные идеи, в которых сердце и разум находят покой, — никогда! Социализм кричит, что пора отплывать на материк и заходить в порт: но, говорят антисоциалисты, порта нет; человечество плывет вперед на попечении Бога, под командованием священников, философов, ораторов, экономистов, и наше кругосветное плавание вечно.

Таким образом, общество оказывается с самого начала разделенным на две большие партии: одну традиционную и по существу иерархическую, которая, в зависимости от рассматриваемого объекта, называет себя поочередно королевской властью или демократией, философией или религией, короче говоря, собственностью; другую социализмом, который, оживая при каждом кризисе цивилизации, провозглашает себя преимущественно АНАРХИЧЕСКИМ и АТЕИСТИЧЕСКИМ, то есть бунтующим против любой власти, человеческой и божественной.

Современная цивилизация продемонстрировала, что в конфликте такого рода истина заключается не в исключении одной из противоположностей, а целиком и исключительно в примирении двух; я утверждаю, что это научный факт, что любой антагонизм, будь то в Природе или в идеях, разрешим в более общем факте или в сложной формуле, которая гармонизирует противоположные факторы, поглощая их, так сказать, друг в друге. Не можем ли мы, люди здравого смысла, в ожидании решения, которое, несомненно, принесет будущее, подготовиться к этому великому переходу путем анализа борющихся сил, а также их положительных и отрицательных качеств? Такая работа, выполненная с точностью и добросовестностью, даже если она и не должна привести нас непосредственно к решению, имела бы, по крайней мере, неоценимое преимущество, заключающееся в том, что она раскрывает нам условия проблемы и тем самым заставляет нас остерегаться любой формы утопии.

Что же тогда в политической экономии является необходимым и истинным; к чему она стремится; каковы ее силы; каковы ее желания? Именно это я предлагаю определить в этой работе. В чем ценность социализма? То же исследование даст ответ и на этот вопрос.

Поскольку, в конце концов, социализм и политическая экономия преследуют одну и ту же цель, а именно свободу, порядок и благосостояние людей, очевидно, что условия, которые должны быть выполнены — другими словами, трудности, которые необходимо преодолеть, — для достижения этой цели, также одинаковы для обоих, и что остается только изучить методы, которые были предприняты или предложены любой из сторон. Но поскольку, более того, до сих пор только политической экономии было дано претворять свои идеи в действия, в то время как социализм едва ли сделал больше, чем предавался постоянной сатире, не менее ясно, что, оценивая работы экономистов по их достоинству, мы в то же время снизим до их справедливой ценности оскорбления социалистов: так что наша критика, хотя и кажущаяся специальной, приведет к абсолютным и окончательным выводам.

Это необходимо прояснить на нескольких примерах, прежде чем полностью переходить к изучению политической экономии.

% 2. Неадекватность теорий и критических замечаний.

Сначала мы запишем важное наблюдение: соперничающие стороны соглашаются признать общий авторитет, на поддержку которого претендует каждая, — НАУКУ.

Платон, утопист, организовал свою идеальную республику во имя науки, которую из скромности и эвфемизма он называл философией. Практичный человек Аристотель опроверг платоновскую утопию во имя той же философии. Таким образом, социальная война продолжается со времен Платона и Аристотеля. Современные социалисты относят все к науке единой и неделимой, но не в силах прийти к согласию ни относительно ее содержания, ни относительно ее пределов, ни относительно ее метода; экономисты, со своей стороны, утверждают, что социальная наука ничем не отличается от политической экономии.

Итак, наша первая задача - выяснить, какой должна быть наука об обществе.

Наука, в общем, - это логически организованное и систематическое знание о том, что есть.

Применяя эту идею к обществу, мы скажем: социальная наука - это логически организованное и систематическое знание не о том, каким **БЫЛО** общество, и не о том, каким оно **БУДЕТ**, но о том, чем оно **ЯВЛЯЕТСЯ** во всей своей жизни; то есть в совокупности его последовательных проявлений: ибо только там оно может иметь разум и систему. Социальная наука должна включать человеческий порядок не только в тот или иной период продолжительности или в несколько его элементов; но во всех его принципах и во всей полноте его существования: как если бы социальная эволюция, распространенная во времени и пространстве, оказалась внезапно собранной и зафиксированной в картине, которая, демонстрируя череду эпох и последовательность явлений, обнаруживала их связь и единство. Такова должна быть наука о каждой живой и прогрессивной реальности; таковой, бесспорно, является социальная наука.

Таким образом, возможно, что политическая экономия, несмотря на ее индивидуалистическую тенденцию и исключительные утверждения, является составной частью социальной науки, в которой явления, которые она описывает, являются как бы отправными точками обширной триангуляции и элементами органичного и сложного целого. С этой точки зрения прогресс человечества, идущий от простого к сложному, был бы полностью в гармонии с прогрессом науки; и противоречивые и так часто обескураживающие факты, которые сегодня являются основой и объектом политической экономии, должны были бы рассматриваться нами как множество специальных гипотез, последовательно реализуемых человечеством в свете высшей гипотезы, реализация которой разрешила бы все трудности и удовлетворила бы социализм, не разрушая политическую экономию. Ибо, как я сказал в своем введении, мы ни в коем случае не можем признать, что человечество, как бы оно себя ни выражало, заблуждается.

Давайте теперь проясним это с помощью фактов.

Вопрос, который в настоящее время является наиболее спорным, несомненно, касается **ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА**.

Как Иоанн Креститель проповедовал в пустыне "**ПОКАЙТЕСЬ**", так и социалисты повсюду провозглашают это старое как мир новшество - **ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА**, хотя никогда не могут сказать, какой, по их мнению, должна быть эта организация. Как бы то ни было, экономисты видели, что этот социалистический шум наносил ущерб их теориям: это был, по сути, упрек им за игнорирование того, что они должны были признать в первую очередь, — труда. Таким образом, они ответили на нападки своих противников, во-первых, утверждением, что труд организован, что нет никакой другой организации труда, кроме свободы производить и обменивать либо за свой личный счет, либо совместно с другими, — и в этом случае курс, которого следует придерживаться, был предписан гражданским и коммерческим кодексами. Затем, поскольку этот аргумент служил только для того, чтобы выставить их на посмешище своих противников, они перешли в наступление; и, показав, что социалисты сами ничего не понимают в этой организации, которую они выставляли пугалом, они закончили тем, что сказали, что это всего лишь новая социалистическая химера, слово, лишенное смысла, — абсурд. Последние труды экономистов полны таких безжалостных выводов.

Тем не менее, несомненно, что фраза "организация труда" содержит такой же ясный и рациональный смысл, как и следующие: организация мастерской, организация армии, организация полиции, организация благотворительности, организация войны. В этом отношении аргументы экономистов прискорбно иррациональны. Не менее несомненно и то, что

организация труда не может быть утопией и химерой; ибо в тот момент, когда труд, высшее условие цивилизации, начинает существовать, из этого следует, что он уже подчинен организации, такой, какая она есть, которая удовлетворяет экономистов, но которую социалисты считают отвратительной.

Таким образом, по отношению к предложению организовать труд, сформулированному социализмом, остается возражение, что труд организован. Это совершенно несостоятельно, поскольку общеизвестно, что в сфере труда, спроса, предложения, разделения, количества, пропорции, цены и безопасности ничто, абсолютно ничто не регулируется; напротив, все отдано на волю свободной воли, то есть на волю случая.

Что касается нас, то, руководствуясь идеей, которую мы сформировали в социальной науке, мы будем утверждать вопреки социалистам и экономистам не то, что труд ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРГАНИЗОВАН, и не то, что он ОРГАНИЗОВАН, а то, что он ОРГАНИЗУЕТСЯ.

Мы говорим, что труд организуется, то есть процесс организации продолжался с самого начала существования мира и будет продолжаться до конца. Политическая экономия учит нас основным элементам этой организации; но социализм прав, утверждая, что в своей нынешней форме организация неадекватна и преходяща; и вся миссия науки состоит в том, чтобы постоянно выяснять, с учетом полученных результатов и явлений в процессе развития, какие инновации могут быть немедленно внедрены.

Таким образом, социализм и политическая экономия, ведя пародийную войну, на самом деле преследуют одну и ту же идею — организацию труда.

Но оба виновны в нелояльности к науке и взаимной клевете, когда, с одной стороны, политическая экономия, ошибочно принимая за науку ее обрывки теории, отрицает возможность дальнейшего прогресса; и когда социализм, отказываясь от традиции, стремится восстановить общество на неизученных основах.

Таким образом, социализм - это не что иное, как глубокая критика и непрерывное развитие политической экономии; и, применяя здесь знаменитый афоризм школы "Ничто в интеллекте, право на будущее в смысле", в социалистических гипотезах нет ничего, что не повторялось бы в экономической практике. С другой стороны, политическая экономия - всего лишь дерзкая рапсодия, пока она подтверждает как абсолютно достоверные факты, собранные Адамом Смитом и Дж. Б. Сэем.

Другой вопрос, не менее спорный, чем предыдущий, - это вопрос о ростовщичестве, или ссуде под проценты.

Ростовщичество, или, другими словами, цена использования, - это вознаграждение любого характера, которое собственник получает от сдачи в аренду своей собственности. *Quidquid sorti accrescit usura est*, говорят теологи. Ростовщичество, основа кредита, было одним из первых средств, которые социальная спонтанность использовала в своей организационной работе и анализ которых раскрывает глубокие законы цивилизации. Древние философы и Отцы Церкви, которых следует рассматривать здесь как представителей социализма в первые века христианской эры, в силу странной ошибки, возникшей, однако, из-за скудости экономических знаний того времени, допускали арендную плату с фермы и осуждали проценты на деньги, потому что, как они считали, деньги непродуктивны. Следовательно, они проводили различие

между предоставлением займы вещей, которые потребляются в процессе использования, к которым они относили деньги, и предоставлением займы вещей, которые, не будучи потребленными, дают потребителю продукт.

Экономистам не составило труда показать, обобщив идею ренты, что в экономике общества действие капитала или его производительность одинаковы независимо от того, расходуется ли он на заработную плату или сохраняет характер орудия труда; что, следовательно, необходимо либо запретить земельную ренту, либо разрешить процент на деньги, поскольку и то, и другое по одному и тому же праву является платой за привилегии, компенсацией за ссуду.

Потребовалось более пятнадцати столетий, чтобы эта идея была принята и успокоила совесть, напуганную анафемами, произнесенными католицизмом против ростовщичества. Но в конце концов весомость доказательств и общее желание оказались на стороне ростовщиков: они выиграли битву с социализмом; и от этой легитимации ростовщичества общество получило некоторые огромные и неоспоримые преимущества. В этих обстоятельствах социализм, который пытался обобщить закон, принятый Моисеем только для израильтян, *Non foeneraberis proximo tuo, sed alieno*, потерпел поражение от идеи, которую он воспринял из экономической рутины, а именно от фермерской ренты, возведенной в теорию производительности капитала.

Но экономистам, в свою очередь, повезло меньше, когда впоследствии им пришлось обосновывать сельскохозяйственную ренту саму по себе и устанавливать эту теорию продукта капитала. Можно сказать, что в этом пункте они утратили все преимущества, которые поначалу получили перед социализмом.

Несомненно — и я первый, кто это признал, — земельная рента, подобно ренте денег и всей личной и недвижимой собственности, является стихийным и универсальным фактом, который имеет свой источник в глубинах нашей природы и который вскоре, благодаря своему естественному развитию, становится одним из самых мощных средств организации. Я докажу даже, что проценты с капитала — это всего лишь материализация афоризма **"ВСЕ ТРУД ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ИЗБЫТОК"**. Но перед лицом этой теории или, скорее, этой фикции производительности капитала возникает другой тезис, не менее несомненный, который в наши последние дни поразил самых способных экономистов: он заключается в том, что вся стоимость порождается трудом и состоит главным образом из заработной платы; другими словами, что никакое богатство не возникает из привилегий и не приобретает никакой ценности иначе, как благодаря труду; и что, следовательно, только труд является источником дохода людей. Как же тогда согласовать теорию фермерской ренты или производительности капитала — теорию, подтвержденную всеобщим обычаем, которую консервативная политическая экономия вынуждена принять, но не может оправдать, — с этой другой теорией, которая показывает, что стоимость обычно складывается из заработной платы и которая неизбежно заканчивается, как мы покажем, равенством в обществе между чистым продуктом и сырым продуктом?

Социалисты не упустили эту возможность. Начав с принципа, согласно которому труд является источником всех доходов, они начали призывать владельцев капитала к ответу за их фермерскую ренту и вознаграждения; и, как экономисты одержали первую победу, обобщив под общим термином фермерскую ренту и ростовщичество, так и социалисты взяли реванш, заставив сеньориальные права капитала исчезнуть перед еще более общим принципом труда. Собственность была уничтожена сверху донизу: экономистам оставалось только молчать; но, бессильный остановить себя в этом новом падении, социализм соскользнул к самым дальним

границам коммунистической утопии, и из-за отсутствия практического решения общество низведено до положения, когда оно не может ни оправдать свои традиции, ни посвятить себя экспериментам, в которых малейшая ошибка отбросила бы его назад на несколько тысяч лет.

В такой ситуации каков мандат науки?

Конечно, не останавливаться на произвольной, непостижимой и невозможной справедливости; это значит продолжать обобщать и открывать третий принцип, факт, высший закон, который объяснит фикцию капитала и миф о собственности и примирит их с теорией, согласно которой источником всего богатства является труд. Это то, что социализм, если он хочет идти логически, должен предпринять. На самом деле, теория реальной производительности труда и теория фиктивной производительности капитала по сути своей экономичны: социализм стремился только показать противоречие между ними, не обращая внимания на опыт или логику; поскольку он, по-видимому, так же лишен и того, и другого. Теперь, по закону, сторона в судебном процессе, которая признает право собственности в одном конкретном случае, должна принять его во всех; недопустимо разделять документы и доказательства. Имел ли социализм право отвергать авторитет политической экономии в отношении ростовщичества, когда он обращался за поддержкой к этому же авторитету в отношении анализа стоимости? Ни в коем случае. Все, что социализм мог потребовать в таком случае, - это либо направить политическую экономию на согласование своих теорий, либо поручить ей самой эту трудную задачу.

Чем внимательнее мы изучаем эти торжественные дискуссии, тем яснее видим, что вся проблема заключается в том, что одна из сторон не желает видеть, в то время как другая отказывается продвигаться вперед.

Принципом нашего законодательства является то, что никто не может быть лишен своей собственности иначе, как ради общей пользы и с учетом справедливого возмещения, выплачиваемого заранее.

Этот принцип в высшей степени экономический, поскольку, с одной стороны, он предполагает право экспроприируемого гражданина на выдающееся владение, согласие которого, согласно демократическому духу общественного договора, обязательно предполагается. С другой стороны, возмещение ущерба, или цена принятого товара, устанавливается не внутренней стоимостью товара, а общим законом торговли - спросом и предложением; одним словом, мнением. Экспроприацию во имя общества можно уподобить контракту по расчету, согласованному каждым со всеми; в этом случае должна быть уплачена не только цена, но и удобство: и именно так, в действительности, оценивается возмещение ущерба. Если бы римские легисты увидели эту аналогию, они, несомненно, меньше колебались бы в вопросе экспроприации ради общественной пользы.

Таким образом, такова санкция социального права экспроприации: возмещение ущерба.

Теперь, практически, принцип возмещения ущерба не только не применяется во всех случаях, когда это должно быть, но и невозможно, чтобы он применялся таким образом. Таким образом, закон, учредивший железные дороги, предусматривал компенсацию за земли, которые будут заняты рельсами; он ничего не сделал для множества отраслей промышленности, зависевших от предыдущего метода транспортировки, убытки которых намного превышали стоимость земель, владельцы которых получали компенсацию. Точно так же, когда рассматривался

вопрос о возмещении ущерба производителям свекловичного сахара, никому не пришло в голову, что государство должно также возместить ущерб большому количеству рабочих и служащих, которые зарабатывали себе на жизнь в свекловичной промышленности и которые, возможно, будут доведены до нищеты.

Тем не менее, несомненно, согласно идее капитала и теории производства, что как землевладелец, у которого железная дорога отнимает средства труда, имеет право на компенсацию, так и фабрикант, чей капитал становится непроизводительным из-за той же железной дороги, имеет право на компенсацию. Почему же тогда он не возмещен? Увы! потому что возместить его невозможно. При такой системе правосудия и беспристрастности общество, как правило, было бы неспособно действовать и вернулось бы к неизменности римского правосудия. Должны быть жертвы. Следовательно, принцип возмещения ущерба отменяется; для одного или нескольких классов граждан государство неизбежно становится банкротом.

В этот момент появляются социалисты. Они утверждают, что единственная цель политической экономии - пожертвовать интересами масс и создать привилегии; затем, обнаружив в законе экспроприации зачатки аграрного закона, они внезапно выступают за всеобщую экспроприацию, то есть за совместное производство и потребление.

Но здесь социализм переходит от критики к утопии, и его несостоятельность вновь становится очевидной в его противоречиях. Если принцип экспроприации ради общественной пользы, доведенный до своего логического завершения, ведет к полной реорганизации общества, то прежде чем приступить к работе, необходимо понять характер этой новой организации; так вот, я повторяю, что у социализма нет науки, кроме нескольких кусочков физиологии и политической экономии. Далее, необходимо в соответствии с принципом возмещения ущерба если не возместить ущерб гражданам, то, по крайней мере, гарантировать им ценности, с которыми они расстаются; короче говоря, необходимо застраховать их от потери. Итак, вне общественного состояния, управления которым он требует, где социализм найдет гарантии для этого самого состояния?

С точки зрения здоровой и честной логики невозможно вырваться из этого круга. Следовательно, коммунисты, более открытые в своих отношениях, чем некоторые другие сектанты с плавными и миролюбивыми идеями, решают проблему; и обещают, как только власть окажется в их руках, экспроприировать всех, не возмещая ущерба и не гарантируя ничего. По сути, это не было бы ни несправедливым, ни нелояльным. К сожалению, сгореть - не значит ответить, как сказал Робеспьеру интересный Демулен; и такая дискуссия всегда заканчивается пожаром и гильотиной. Здесь, как и везде, два одинаково священных права соседствуют друг с другом, право гражданина и право государства; достаточно сказать, что существует превосходная формула, которая примиряет социалистические утопии и искаженные теории политической экономии, и что проблема состоит в том, чтобы найти ее. Что делают в этой чрезвычайной ситуации противоборствующие стороны? Ничего. Скорее мы могли бы сказать, что они поднимают вопросы только для того, чтобы получить возможность возместить ущерб. Что я могу сказать? Эти вопросы даже не поняты ими; и, в то время как публика размышляет о возвышенных проблемах общества и человеческой судьбы, профессора социальных наук, ортодоксы и еретики, не согласны в принципах. Взгляните на вопрос, который вызвал эти распри и который его авторы, безусловно, понимают не лучше, чем его принижающие, — **СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.**

Что! академия экономистов предложила на конкурс вопрос, терминов которого она не понимает! Как же тогда ему могла прийти в голову эта идея?

Что ж! Я знаю, что мое заявление поразительно и невероятно, но это правда. Подобно теологам, которые отвечают на метафизические проблемы только мифами и аллегориями, которые всегда воспроизводят проблемы, но никогда не решают их, экономисты отвечают на вопросы, которые они задают, только рассказывая, как они были вынуждены задать их: если бы они поняли, что можно пойти дальше, они перестали бы быть экономистами.

Например, что такое прибыль? То, что остается менеджеру после того, как он оплатил все расходы. Итак, расходы состоят из выполненного труда и потребленных материалов; или, точнее, из заработной платы. Какова же тогда заработная плата рабочего? Самое меньшее, что можно ему дать; то есть мы не знаем. Какой должна быть цена товара, выставленного менеджером на рынок? Самое высшее, чего он может достичь; то есть, опять же, мы не знаем. Политическая экономия запрещает предположение, что цены на товары и рабочую силу могут быть ФИКСИРОВАННЫМИ, хотя и допускает, что их можно ОЦЕНИТЬ; и именно по этой причине, говорят экономисты, эта оценка по существу является произвольной операцией, которая никогда не может привести к надежным выводам. Как же тогда нам найти соотношение между двумя неизвестными, которые, согласно политической экономии, не могут быть определены? Таким образом, политическая экономия выдвигает неразрешимые проблемы; и все же мы скоро увидим, что она должна их выдвигать и что наше столетие должно их разрешить. Вот почему я сказал, что Академия моральных наук, предлагая на конкурс вопрос о соотношении прибыли и заработной платы, высказалась бессознательно, высказалась пророчески.

Но вам скажут, разве это не правда, что если на рабочую силу большой спрос, а рабочих мало, заработная плата вырастет, в то время как прибыль, с другой стороны, уменьшится; что если под давлением конкуренции возникнет переизбыток продукции, произойдет остановка и принудительные продажи, следовательно, никакой прибыли для менеджера и опасность безделья для рабочего; что тогда последний будет предлагать свой труд по сниженной цене; что, если будет изобретена машина, она сначала погасит огонь своих конкурентов; затем установится монополия, и рабочий поставленный в зависимость от работодателя, прибыль и заработная плата будут обратно пропорциональны? Нельзя ли изучить, установить, уравновесить все эти и другие причины и т.д.?

О, монографии, истории! — мы были насыщены ими со времен Адама Смита и Дж. Б. Сэя, и они едва ли являются чем-то большим, чем вариациями слов этих авторов. Но этот вопрос следует понимать не так, хотя Академия не придавала ему никакого другого значения. СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ следует рассматривать в абсолютном смысле, а не с неубедительной точки зрения случайностей торговли и разделения интересов : двух вещей, которые в конечном счете должны получить свое толкование. Позвольте мне объяснить.

Рассматривая производителя и потребителя как единого индивида, вознаграждение которого, естественно, равно его продукту; затем разделяя этот продукт на две части: одну, которая вознаграждает производителя за его затраты, другую, представляющую его прибыль, в соответствии с аксиомой, что всякий труд должен оставлять избыток, — мы должны определить отношение одной из этих частей к другой. Сделав это, будет легко вывести соотношение состояний этих двух классов людей, работодателей и наемных рабочих, а также учесть все коммерческие колебания. Это будет серия выводов, которые мы добавим к демонстрации.

Теперь, чтобы такое соотношение могло существовать и быть оценено, необходимо существование закона, внутреннего или внешнего, который управляет заработной платой и ценами; и поскольку при нынешнем положении вещей заработная плата и цены изменяются и колеблются непрерывно, мы должны спросить, каковы общие факты, причины, которые заставляют стоимость изменяться и колебаться, и в каких пределах это колебание имеет место.

Но сам этот вопрос противоречит общепринятым принципам; ибо тот, кто говорит О КОЛЕБАНИЯХ, обязательно предполагает среднее направление, к которому постоянно стремится центр тяжести стоимости; и когда Академия просит нас ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛЕБАНИЯ ПРИБЫЛИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, она тем самым требует, чтобы мы ОПРЕДЕЛИЛИ СТОИМОСТЬ. Это именно то, что отрицают джентльмены из Академии: они не желают признать, что если ценность изменчива, то именно по этой причине она поддается определению; что изменчивость является признаком и условием определмости. Они притворяются, что ценность, постоянно меняющаяся, никогда не может быть определена. Это все равно что утверждать, что, учитывая количество колебаний маятника в секунду, их амплитуду, а также широту и высоту места, где проводится эксперимент, длину маятника определить невозможно, поскольку маятник находится в движении. Таков первый символ веры политической экономии.

Что касается социализма, то он, по-видимому, не понял этого вопроса и не был обеспокоен им. Среди его многочисленных органов одни просто—напросто устраняют проблему, заменяя распределение разделением, то есть изгоняя число и меру из социального организма; другие избавляют себя от затруднения, применяя всеобщее избирательное право к вопросу заработной платы. Излишне говорить, что эти банальности находят обманутых тысячами и сотнями тысяч.

Осуждение политической экономии было сформулировано Мальтусом в этом знаменитом отрывке:

Человек, который рождается в мире, уже занятом, его семья не в состоянии его прокормить, а общество не нуждается в его труде, — такой человек, говорю я, не имеет ни малейшего права претендовать на какое бы то ни было питание: его действительно слишком много на земле. На великом пиршестве Природы для него не накрыто ни одного блюда. Природа приказывает ему удалиться, и она не замедлит привести свой приказ в исполнение.[6]

[6 Цитируемый отрывок, возможно, не передан точными словами, использованными Мальтусом, поскольку он приобрел свою нынешнюю форму благодаря французскому переводчику.

Итак, это необходимый, фатальный вывод политической экономии, вывод, который я продемонстрирую с помощью доказательств, доселе неизвестных в этой области исследования, — Смерть тому, кто не обладает!

Чтобы лучше понять мысль Мальтуса, давайте переведем ее в философские положения, сняв с нее риторический лоск:—

"Свобода личности и собственность, которая является ее выражением, являются экономическими данными; равенство и солидарность - нет.

"При этой системе каждый сам по себе, каждый за себя: труд, как и любой товар, подвержен колебаниям: отсюда риски пролетариата.

"Тот, у кого нет ни дохода, ни заработной платы, не имеет права требовать чего-либо от других: его несчастье падает на его собственную голову; в игре фортуны удача была против него".

С точки зрения политической экономии эти положения неопровержимы; и Мальтус, сформулировавший их с такой пугающей точностью, застрахован от всяких упреков. С точки зрения условий социальной науки, те же самые утверждения радикально ложны и даже противоречивы.

Ошибка Мальтуса, или, скорее, политической экономии, состоит не в утверждении, что человек, которому нечего есть, должен умереть; или в утверждении, что при системе индивидуального присвоения для того, у кого нет ни труда, ни дохода, нет иного пути, кроме ухода из жизни путем самоубийства, если только он не предпочитает, чтобы его изгнал голод: таков, с одной стороны, закон нашего существования; таково, с другой стороны, следствие собственности; и г-н Росси приложил слишком много усилий, чтобы оправдать здравый смысл Мальтуса по этому вопросу. Я подозреваю, что мсье Росси, произнося столь пространную и любовную апологию Мальтуса, намеревался рекомендовать политическую экономию таким же образом, как его соотечественник Макиавель в своей книге, озаглавленной "Принц", к восхищению всего мира рекомендовал деспотизм. Указывая на нищету как на необходимое условие промышленного и коммерческого абсолютизма, М. Росси как бы говорит нам: вот ваш закон, ваша справедливость, ваша политическая экономия; вот собственность.

Но галльская простота не понимает искусственности; и было бы лучше сказать Франции ее безупречным языком: ошибка Мальтуса, радикальный порок политической экономии, состоит в общих чертах в утверждении в качестве окончательного состояния переходного состояния, а именно разделения общества на патрициев и пролетариев; и, в частности, в утверждении, что в организованном и, следовательно, солидарном обществе могут быть одни, которые владеют, трудятся и потребляют, в то время как другие не имеют ни собственности, ни труда, ни хлеба. Наконец, Мальтус, или политическая экономия, ошибочно рассуждает, видя в способности к неограниченному воспроизводству, которой человеческий род обладает ни в большей, ни в меньшей степени, чем все виды животных и растений, постоянную опасность голода; тогда как необходимо только показать необходимость и, следовательно, существование закона равновесия между населением и производством.

Короче говоря, теория Мальтуса — и в этом заключается великая заслуга этого автора, заслуга, которую никому из его коллег и в голову не приходило приписывать ему, — является доведением до абсурда всей политической экономии.

Что касается социализма, то Платон и Томас Мор давным-давно определили его одним словом - УТОПИЯ, то есть НЕБЫТИЕ, химера.

Тем не менее, к чести человеческого разума и для того, чтобы справедливость восторжествовала по отношению ко всем, необходимо сказать следующее: экономическая и законодательная наука не могли иметь иного начала, чем они имели, и общество не может оставаться в этом первоначальном положении.

Каждая наука должна сначала определить свою область, произвести и собрать свои материалы: перед системой - факты; перед веком искусства - век обучения. Экономическая наука, как и любая другая, подчиняющаяся закону времени и условиям опыта, прежде чем пытаться установить, как все ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ в обществе, должна была рассказать нам, как все ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ; и все эти процессы, о которых авторы так напыщенно говорят в своих книгах как о ЗАКОНАХ, ПРИНЦИПАХ и ТЕОРИЯХ, несмотря на их непоследовательность, должны были быть собраны со скрупулезным усердием и описаны со строгой беспристрастностью. Выполнение этой задачи требовало, возможно, большего гения и уж точно большего самопожертвования, чем того потребует будущий прогресс науки.

Таким образом, если социальная экономика все еще является скорее устремлением в будущее, чем знанием реальности, то следует признать, что все элементы этого исследования включены в политическую экономию; и я полагаю, что выражаю общее мнение, говоря, что это мнение стало мнением подавляющего большинства умов. Настоящее находит мало защитников, это правда; но отвращение к утопии не менее универсально: и все понимают, что истина заключается в формуле, которая примирит эти два термина: СОХРАНЕНИЕ и ДВИЖЕНИЕ.

Таким образом, благодаря Адаму Смиту, Дж. Б. Сэю, Рикардо и Мальтусу, а также их опрометчивым оппонентам, тайны фортуны, *atria Ditis*, раскрыты; власть капитала, угнетение рабочего, махинации монополии, освещенные со всех сторон, избегают общественного взгляда. Относительно фактов, наблюдаемых и описываемых экономистами, мы рассуждаем и строим догадки: оскорбительные законы, незаконные обычаи, соблюдавшиеся до тех пор, пока сохранялась темнота, поддерживавшая их жизнь, с трудом вытаскиваемые на свет божий, исчезают под всеобщим осуждением; есть подозрение, что управлению обществом следует учиться больше не на пустой идеологии в духе *Contrat social*, но, как предвидел Монтескье, на СООТНОШЕНИИ ВЕЩЕЙ; и уже появились левые с в высшей степени социалистическими тенденциями, состоящие из ученых, магистратов, легистов, профессоров и даже капиталистов. и промышленники — все прирожденные представители и защитники привилегий — и миллион адептов формируются в нации вне парламентских мнений и стремятся путем анализа экономических фактов постичь секреты жизни обществ.

Представим тогда политическую экономию в виде огромной равнины, усеянной материалами, подготовленными для строительства. Рабочие ждут сигнала, полные рвения и желания приступить к работе, но архитектор исчез, не оставив плана.

Экономисты сохранили в своей памяти многое: к сожалению, у них нет и тени оценки. Они знают происхождение и историю каждого изделия; сколько стоило его изготовление; из какого дерева получаются лучшие балки, а из какой глины - лучшие кирпичи; сколько было потрачено на инструменты и тележки; сколько заработали плотники и сколько камнерезы: они не знают назначения и места чего бы то ни было. Экономисты не могут отрицать, что перед ними фрагменты, разбросанные вперемешку, шедевры *disjecti membra poetae*; но пока им не удалось восстановить общий замысел, и всякий раз, когда они пытались провести какие-либо сравнения, они сталкивались лишь с непоследовательностью. Доведенные, наконец, до отчаяния своими бесплодными комбинациями, они возвели в качестве догмы архитектурную неуместность науки, или, как они говорят, НЕУДОБСТВА ее принципов; одним словом, они отрицали науку.[7]

[7] "Принцип, который управляет жизнью наций, не является чистой наукой: это совокупность сложных данных, которые зависят от уровня просвещения, от потребностей и интересов". Так выразился в декабре 1844 года один из самых ясных умов Франции, г-н Леон Фоше. Объясните, если можете, как человека такого склада экономические убеждения побудили заявить, что СЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ об обществе противоречат ЧИСТОЙ НАУКЕ.

Таким образом, разделение труда, без которого производство было бы почти ничем, сопряжено с тысячей неудобств, наихудшим из которых является деморализация рабочего; машины вызывают не только дешевизну, но и затруднение рынка и остановку бизнеса; конкуренция заканчивается угнетением; налогообложение, материальная скрепа общества, обычно является бичом, которого боятся наравне с огнем и градом; кредит неизбежно сопровождается банкротством; собственность представляет собой скопище злоупотреблений; торговля вырождается в азартную игру, в которой иногда позволительно даже жульничать: короче говоря, беспорядок, существующий повсюду в неограниченной степени. в равной степени с порядком, и никто не знает, как последнему избавиться от первого, таксис атаксен диокеан, экономисты решили, что все к лучшему, и рассматривают каждое реформаторское предложение как враждебное политической экономии.

Итак, общественное здание было заброшено; толпа ворвалась на склад дров; колонны, капители и постаменты - дерево, камень и металл - были распределены по частям и разыграны по жребию; и из всего этого материала, собранного для великолепного храма, собственность, невежественная и варварская, построила хижины. Таким образом, перед нами стоит задача не только восстановить план здания, но и вытеснить жителей, которые утверждают, что их город великолепен, и при одном упоминании о реставрации появляются в боевом порядке у своих ворот. Такого замешательства в Вавилоне не было в старину: к счастью, мы говорим по-французски и более отважны, чем спутники Нимрода.

Но хватит аллегорий: исторический и описательный метод, успешно применявшийся до тех пор, пока работа сводилась только к анализу, отныне бесполезен: после тысяч монографий и таблиц мы продвинулись не дальше, чем в эпоху Ксенофонта и Гесиода. Финикийцы, греки, итальянцы в свое время трудились так же, как и мы в наше время: они вкладывали свои деньги, платили своим работникам, расширяли свои владения, совершали экспедиции и находки, вели бухгалтерские книги, спекулировали, скупали акции и разорялись по всем правилам экономического искусства, не хуже нас зная, как завоевать монополии и обобрать потребителя и рабочего. Всего этого слишком много; и, хотя мы должны бы вечно повторять нашу статистику и наши цифры, у нас всегда должен быть перед глазами только хаос, хаос постоянный и однородный.

Действительно, считается, что с эпохи мифологии до нынешнего 57-го года нашей великой революции общее благосостояние улучшилось: христианство долгое время считалось главной причиной этого улучшения, но теперь экономисты претендуют на всю честь своих собственных принципов. Ибо, в конце концов, говорят они, каково было влияние христианства на общество? Насквозь утопическая при своем рождении, она смогла сохраниться и расшириться только путем постепенного усвоения всех экономических категорий — труда, капитала, сельскохозяйственной ренты, ростовщичества, торговли, собственности; короче говоря, путем освящения римского права, высшего выражения политической экономии.

Христианство, чуждое в своем богословском аспекте теориям производства и потребления, было для европейской цивилизации тем, чем профсоюзы и масоны не так давно были для странствующих рабочих, — своего рода страховой компанией и обществом взаимопомощи; в этом отношении оно ничем не обязано политической экономии, и то добро, которое оно сделало, не может быть использовано последней в свою поддержку. Последствия благотворительности и самопожертвования находятся вне сферы экономики, которая должна обеспечить социальное счастье через справедливость и организацию труда. Что касается остального, я готов признать благотворное воздействие системы собственности; но я замечая, что эти эффекты полностью уравниваются страданиями, которые порождает природа этой системы; так что, как недавно признался известный министр в английском парламенте, и как мы вскоре покажем, рост нищеты в современном состоянии общества параллелен и равен росту богатства, что полностью сводит на нет достоинство политической экономии.

Таким образом, политическая экономия не оправдывается ни ее максимами, ни ее работами; а что касается социализма, то вся его ценность состоит в установлении этого факта. Таким образом, мы вынуждены возобновить изучение политической экономии, поскольку только она содержит, по крайней мере частично, материалы социальной науки, и выяснить, не скрывают ли ее теории какой-либо ошибки, исправление которой привело бы к примирению факта и справедливости, выявило бы органический закон человечества и дало бы позитивную концепцию порядка.

ГЛАВА II.

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ.

% 1. Противопоставление ценности в ИСПОЛЬЗОВАНИИ и ценности в ОБМЕНЕ.

Ценность - это краеугольный камень экономического здания. Божественный художник, доверивший нам продолжение своей работы, никому ничего не объяснял по этому поводу; но несколько приведенных указаний могут служить основой для догадок. Ценность, по сути, представляет собой две грани: одну, которую экономисты называют ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ, или внутренней ценностью; другую - меновой, или ценностью мнения. Эффекты, которые производит ценность в этом двойном аспекте и которые весьма нерегулярны до тех пор, пока она не установлена, — или, используя более философское выражение, до тех пор, пока она не конституирована, — полностью изменяются этой конституцией.

Итак, в чем состоит соотношение между ПОЛЕЗНОЙ стоимостью и стоимостью ОБМЕНА? Что подразумевается под КОНСТИТУИРОВАННОЙ стоимостью и каким внезапным изменением осуществляется эта структура? Ответить на эти вопросы - цель политической экономии. Я прошу читателя обратить все свое внимание на то, что последует дальше, поскольку эта глава - единственная во всей работе, которая заставит его проявить терпение. Со своей стороны, я буду стараться быть все более и более простым и ясным.

Все, что может быть мне как-либо полезно, имеет для меня ценность, и чем больше полезных вещей, тем я богаче: пока что никаких трудностей нет. Молоко и мясо, фрукты и злаки, шерсть, сахар, хлопок, вино, металлы, мрамор; фактически, земля, вода, воздух, огонь и солнечный свет — это, относительно меня, ценности использования, ценности по природе и назначению. Если бы все вещи, которые служат для поддержания моей жизни, были в таком изобилии, как некоторые из них, например свет, — другими словами, если бы количество каждой ценной вещи

было неисчерпаемым, — мое благополучие было бы обеспечено навсегда: мне не пришлось бы трудиться; я бы даже не думал. В таком состоянии вещи всегда были бы ПОЛЕЗНЫ, но было бы неверно говорить, что они ЦЕННЫ; ибо ценность, как мы вскоре увидим, указывает на по существу социальное отношение; и только через обмен, как бы возвращающийся от общества к Природе, мы приобрели идею полезности. Таким образом, все развитие цивилизации берет свое начало в необходимости, с которой сталкивается человечество, постоянно создавать новые ценности; точно так же, как зло общества в первую очередь вызвано постоянной борьбой, которую мы ведем с нашей собственной инертностью. Отнимите у человека это желание, которое побуждает его думать и подготавливает его к созерцательной жизни, и владыка творения встанет на один уровень с высшим из зверей.

Но как ценность в использовании превращается в ценность в обмене? Ибо следует заметить, что два вида стоимости, хотя и сосуществуют в мышлении (поскольку первый становится очевидным только при наличии второго), тем не менее сохраняют отношение преемственности: меновая стоимость является своего рода отражением полезной ценности; точно так же теологи учат, что в Троице Отец, созерцающий себя всю вечность, порождает Сына. Это порождение идеи ценности не было отмечено экономистами с достаточной тщательностью: важно, чтобы мы задержались на нем.

Поскольку, таким образом, из предметов, в которых я нуждаюсь, очень большое количество существует в Природе лишь в умеренных количествах или даже не существует вовсе, я вынужден помогать в производстве того, чего мне не хватает; и, поскольку я не могу приложить свои руки к столь многим вещам, я предлагаю другим людям, моим сотрудникам по различным функциям, предоставить мне часть своих продуктов в обмен на мои. Тогда у меня всегда будет в распоряжении больше моего собственного специального продукта, чем я потребляю; точно так же, как мои собратья всегда будут иметь в своем распоряжении больше своих соответствующих продуктов, чем они используют. Это молчаливое соглашение выполняется ТОРГОВЛЕЙ. Здесь мы можем заметить, что логическая последовательность двух видов стоимости даже более очевидна в истории, чем в теории, поскольку люди потратили тысячи лет на споры из-за природных богатств (это то, что называется ПЕРВОБЫТНЫМ КОММУНИЗМОМ), прежде чем их промышленность предоставила возможность обмена.

Итак, способность, которой обладают все продукты, будь то природные или являющиеся результатом труда, служить для поддержания жизни человека, называется определенно потребительной стоимостью; их способность приобретать друг друга - меновой стоимостью. По сути, это одно и то же, поскольку второй случай лишь дополняет первый идеей подмены, которая может показаться пустой тонкостью; на практике последствия неожиданны и поочередно благотворны или фатальны.

Следовательно, установленное ценностное различие основано на фактах и вовсе не произвольно: человек, подчиняясь этому закону, должен использовать его для увеличения своего благосостояния и свободы. Труд, как прекрасно выразил это автор (М. Вальрас), - это война, объявленная против бережливости Природы; с его помощью одновременно создаются богатство и общество. Труд не только производит несравненно больше богатств, чем дает нам Природа, — например, было замечено, что одни сапожники во Франции производят в десять раз больше, чем рудники Перу, Бразилии и Мексики, вместе взятые, — но, поскольку труд бесконечно расширяет и умножает свои права за счет изменений, которые он производит в

природных ценностях, постепенно приходит к тому, что все богатство, пройдя через перчатку труда, полностью попадает в руки того, кто его создает, и что ничего или почти ничего не остается владельцу исходного материала.

Таким образом, таков путь экономического прогресса: сначала присвоение земли и природных ценностей; затем объединение и распределение с помощью труда до достижения полного равенства. Пропасти разбросаны вдоль нашего пути, меч занесен над нашими головами; но, чтобы предотвратить все опасности, у нас есть разум, а разум - это всемогущество.

Из отношения полезной ценности к меновой следует, что если бы случайно или по злому умыслу обмен был запрещен одному производителю или если бы полезность его продукта внезапно прекратилась, хотя бы его склады были полны, он бы ничем не владел. Чем больше жертв он принес и чем больше мужества проявил, тем больше будет его страдание. Если бы полезность продукта, вместо того чтобы полностью исчезнуть, только уменьшилась, — что может произойти сотней способов, — рабочий, вместо того чтобы быть пораженным и разоренным внезапной катастрофой, был бы только разорен; вынужденный отдавать большое количество своей собственной стоимости за небольшое количество ценностей других, его жизненные средства сократились бы на сумму, равную дефициту при его продаже, что постепенно привело бы от состоятельности к нужде. Если, наконец, полезность продукта возрастет или же если его производство станет менее затратным, баланс обмена изменится в пользу производителя, чье положение, таким образом, повысится от утомительной посредственности до праздного богатства. Этот феномен обесценивания и обогащения проявляется в тысяче форм и в тысяче комбинаций; в нем заключается суть страстной и интригующей игры коммерции и промышленности. И это лотерея, полная ловушек, которая, по мнению экономистов, должна длиться вечно и отказа от которой невольно требует Академия моральных и политических наук, когда под именем прибыли и заработной платы она просит нас согласовать потребительную ценность и меновую ценность; то есть найти метод, позволяющий сделать все полезные ценности одинаково обменными и, наоборот, все меновые ценности одинаково полезными.

Экономисты очень ясно показали двойной характер ценности, но чего они не сделали столь же очевидным, так это ее противоречивой природы. Здесь начинается наша критика.

Полезность - необходимое условие обмена; но уберите обмен, и полезность исчезнет: эти две вещи неразрывно связаны. В чем же тогда заключается противоречие?

Поскольку все мы живем только трудом и обменом и становимся богаче по мере увеличения производства и обмена, каждый из нас производит как можно больше полезной ценности, чтобы на эту сумму увеличить свой обмен и, следовательно, свои удовольствия. Что ж, первый эффект, неизбежный эффект увеличения стоимости, заключается в ее СНИЖЕНИИ: чем более распространен товар, тем больше он теряет в обмене и обесценивается с коммерческой точки зрения. Разве не верно, что существует противоречие между необходимостью труда и его результатами?

Я умоляю читателя, прежде чем перейти к объяснениям, обратить его внимание на этот факт.

Крестьянин, собравший двадцать мешков пшеницы, которые он со своей семьей намеревается употребить в пищу, считает себя вдвое богаче, как если бы он собрал всего десять; точно так же домохозяйка, которая сплела пятьдесят ярдов полотна, считает, что она вдвое богаче, как если бы она сплела всего двадцать пять. Относительно домашнего хозяйства оба правы; если

посмотреть на их внешние отношения, они могут глубоко ошибаться. Если урожай пшеницы удвоится по всей стране, двадцать мешков будут проданы дешевле, чем за десять, если бы он был вдвое меньше; так, при сходных обстоятельствах пятьдесят ярдов холста будут стоить меньше двадцати пяти; таким образом, эта стоимость уменьшается по мере увеличения полезности производства, и производитель может прийти к бедности, постоянно обогащаясь. И это кажется неизменным, поскольку выхода нет, разве что все продукты промышленности станут бесконечными в количестве, как воздух и свет, что абсурдно. Боже моего разума! Жан-Жак сказал бы: иррациональны не экономисты, а сама политическая экономия неверна в своих определениях. *Mentita est iniquitas sibi.*

В предыдущих примерах полезная стоимость превышает обменную стоимость: в других случаях она меньше. Затем происходит то же самое явление, но в противоположном направлении: баланс оказывается в пользу производителя, в то время как потребитель страдает. Особенно это актуально в периоды дефицита, когда высокие цены на провизию всегда более или менее надуманны. Есть также профессии, все искусство которых состоит в том, чтобы придать предмету второстепенной полезности, без которого можно было бы легко обойтись, преувеличенную ценность мнения: таково, в общем, искусство роскоши. Человек, в силу своей эстетической страсти, жаждет мелочей, обладание которыми в высшей степени удовлетворило бы его тщеславие, его врожденную тягу к роскоши и его более благородную и респектабельную любовь к прекрасному: на этом спекулируют торговцы предметами этого класса. Обложение налогом фантазии и элегантности не менее отвратительно или абсурдно, чем обложение налогом оборота: но такой налог взимают несколько модных торговцев, которых защищает всеобщее увлечение и вся заслуга которых обычно заключается в извращении вкуса и порождении непостоянства. Поэтому никто не жалуется, и все осуждения общественного мнения относятся к монополистам, которым благодаря гениальности удается поднять на несколько центов цены на белье и хлеб.

Вряд ли стоит указывать на этот поразительный контраст между полезной и меновой стоимостью, который экономисты привыкли считать очень простым: необходимо показать, что за этой мнимой простотой скрывается глубокая тайна, постичь которую - наш долг.

Поэтому я призываю каждого серьезного экономиста ответить мне иначе, чем путем преобразования или повторения вопроса, по какой причине стоимость уменьшается пропорционально увеличению производства и, соответственно, что заставляет ту же самую стоимость увеличиваться пропорционально уменьшению производства. С технической точки зрения полезная ценность и меновая ценность, необходимые друг другу, обратно пропорциональны друг другу; тогда я спрашиваю, почему дефицит, а не полезность, является синонимом дороговизны. Ибо — запомните это хорошенько — цена товара не зависит от количества труда, затраченного на производство; и его большая или меньшая стоимость вовсе не служит объяснением колебаний его цены. Ценность непостоянна, как свобода: она не учитывает ни полезности, ни труда; напротив, кажется, что при обычном ходе дел, если не считать исключительных отклонений, наиболее полезными объектами являются те, которые продаются по самой низкой цене; другими словами, справедливо, что люди, выполняющие наиболее привлекательный труд, должны получать наибольшее вознаграждение, в то время как тем, чьи задачи требуют наибольшего напряжения, платят меньше всего. Таким образом, следуя принципу до его конечных следствий, мы приходим к наиболее логичному выводу: вещи, использование которых необходимо, а количество бесконечно, должны быть безвозмездными,

в то время как те, которые бесполезны и чрезвычайно редки, должны иметь неоценимую цену. Но, в довершение всего, эти крайности не встречаются на практике: с одной стороны, ни один человеческий продукт никогда не может стать бесконечным в количестве; с другой стороны, самые редкие вещи должны быть в какой-то степени полезными, иначе они не представляли бы ценности. Полезная ценность и меновая ценность остаются, таким образом, в неизбежной взаимосвязи, хотя по своей природе они постоянно стремятся к взаимному исключению.

Я не буду утомлять читателя опровержением логомахий, которые могли бы быть предложены для объяснения этого предмета: противоречию, присущему идее ценности, нет ни видимой причины, ни возможного объяснения. Факт, о котором я говорю, относится к тем, которые называются примитивными, то есть к тем, которые могут служить для объяснения других, но которые сами по себе, подобно телам, называемым простыми, необъяснимы. Таков дуализм духа и материи. Дух и материя - это два термина, каждый из которых, взятый отдельно, указывает на особый аспект духа, но не соответствует реальности. Итак, учитывая потребности человека в большом разнообразии продуктов вместе с обязательством добывать их своим трудом, необходимо вытекает противопоставление полезной стоимости меновой стоимости; и из этого противопоставления вытекает противоречие на самом пороге политической экономии. Никакой разум, никакая воля, божественная или человеческая, не могут предотвратить этого.

Поэтому, вместо того чтобы искать химерическое объяснение, давайте удовлетворимся установлением необходимости противоречия. Каким бы ни было изобилие созданных ценностей и пропорция, в которой они обмениваются друг на друга, для того чтобы мы могли обмениваться нашими продуктами, мои должны устраивать вас, когда вы являетесь ПОКУПАТЕЛЕМ, а я должен быть удовлетворен вашими, когда вы являетесь ПРОДАВЦОМ. Ибо никто не имеет права навязывать свой товар другому: единственным судьей полезности, или, другими словами, потребности, является покупатель. Следовательно, в первом случае у вас есть решающая сила; во втором - она есть у меня. Отнимите взаимную свободу, и обмен перестанет быть выражением промышленной солидарности: это грабеж. Коммунизм, между прочим, никогда не преодолет эту трудность.

Но там, где существует свобода, производство неизбежно неопределимо ни в количестве, ни в качестве; так что с точки зрения экономического прогресса, как и с точки зрения отношений потребителей, оценка всегда является произвольным вопросом, и цена товара всегда будет колебаться. Предположим на мгновение, что все производители должны продавать по фиксированной цене: некоторые из них, производя продукцию с меньшими затратами и лучшего качества, получили бы много, в то время как другие не получили бы ничего. Равновесие было бы нарушено во всех отношениях. Хотите ли вы, чтобы предотвратить стагнацию бизнеса, строго ограничить производство необходимым объемом?

Это было бы нарушением свободы, ибо, лишая меня права выбора, вы обрекаете меня платить самую высокую цену; вы уничтожаете конкуренцию, единственную гарантию дешевизны, и поощряете контрабанду. Таким образом, чтобы избежать коммерческого абсолютизма, вы бросились бы в административный абсолютизм; чтобы создать равенство, вы уничтожили бы свободу, которая означает отрицание самого равенства. Объединили бы вы производителей в единую мастерскую (предположим, вы владеете этим секретом)? Этого опять недостаточно: было бы необходимо также объединить потребителей в общее домашнее хозяйство, в

результате чего вы отказались бы от этого вопроса. Мы должны не упразднить идею ценности, что так же невозможно, как упразднить труд, но определить ее; мы должны не убивать индивидуальную свободу, а обобществлять ее. Итак, доказано, что именно свободная воля человека порождает противоположность между потребительной ценностью и меновой ценностью: как примирить эту противоположность, пока существует свободная воля? И как пожертвовать последним, не принося в жертву человека?

Затем, исходя из самого факта, что я, как свободный покупатель, могу судить о своих собственных потребностях, о пригодности объекта, о цене, которую я желаю заплатить, и что вы, с другой стороны, как свободный производитель, контролируете средства производства и, следовательно, имеете право сокращать свои расходы, абсолютизм выдвигает себя вперед как элемент стоимости и заставляет его колебаться между полезностью и мнением.

Но это колебание, на которое ясно указывают экономисты, является всего лишь следствием противоречия, которое, повторяясь в огромных масштабах, порождает самые неожиданные явления. Три года плодородия в некоторых губерниях России являются общественным бедствием, точно так же, как на наших виноградниках три года изобилия являются бедствием для винодела. Я хорошо знаю, что экономисты объясняют это бедствие отсутствием рынков сбыта; поэтому вопрос о рынках является для них важным. К сожалению, теория рынков, как и теория эмиграции, с помощью которой они пытались встретиться с Мальтусом, вызывает сомнение. Государства, обладающие крупнейшим рынком сбыта, так же подвержены перепроизводству, как и самые изолированные страны: где лучше известны высокие и низкие цены, как не на фондовых биржах Парижа и Лондона?

Исходя из колебаний стоимости и вытекающих из них неправильных эффектов, социалисты и экономисты, каждый по-своему, пришли к противоположным, но одинаково ложным выводам: первые сделали из этого текст для очернения политической экономии и исключения ее из социальной науки; вторые - для отрицания всякой возможности примирения и утверждения несоизмеримости ценностей и, следовательно, неравенства состояний как абсолютного закона торговли.

Я утверждаю, что обе стороны в равной степени заблуждаются.

1. Противоречивая идея ценности, столь ясно проявляющаяся в неизбежном различии между полезной ценностью и меновой стоимостью, возникает не из ложного ментального восприятия, или из порочной терминологии, или из какой-либо практической ошибки; она лежит глубоко в природе вещей и навязывается разуму как общая форма мышления, то есть как категория. Итак, поскольку идея ценности является отправной точкой политической экономии, из этого следует, что все элементы науки — я использую слово "наука" в качестве предвосхищения — противоречивы сами по себе и противостоят друг другу: это настолько верно, что по каждому вопросу экономист постоянно оказывается между одинаково неопровержимым утверждением и отрицанием. АНТИНОМИЯ, в конечном счете, если использовать слово, санкционированное современной философией, является существенной характеристикой политической экономии; иными словами, это одновременно и ее смертный приговор, и ее оправдание.

АНТИНОМИЯ, буквально КОНТРЗАКОН, означает принципиальную оппозицию или антагонизм в отношениях, точно так же, как противоречие или АНТИЛОГИЯ указывает на оппозицию или расхождение в речи. Антиномия, — прошу прощения за то, что вдаюсь в эти схоластические

подробности, сравнительно незнакомые еще большинству экономистов, — антиномия - это концепция закона с двумя гранями, одной положительной, другой отрицательной. Таков, например, закон, называемый ПРИТЯЖЕНИЕМ, по которому планеты вращаются вокруг Солнца и который математики разделили на центростремительную и центробежную силы. Такова также проблема бесконечной делимости материи, которая, как показал Кант, может быть последовательно опровергнута и подтверждена аргументами, одинаково правдоподобными и неопровержимыми.

Антиномия просто выражает факт и императивно навязывает себя разуму; противоречие, собственно говоря, - это абсурд. Это различие между антиномией (*contra-lex*) и противоречием (*contra-dictio*) показывает, в каком смысле можно сказать, что в определенном классе идей и фактов аргумент противоречия не имеет такой ценности, как в математике.

В математике существует правило, согласно которому, если доказана ложность утверждения, его противоположность истинна, и наоборот. Фактически, это основной метод математической демонстрации. В социальной экономике это не то же самое: так, например, мы видим, что, поскольку своими результатами собственность доказана как ложная, противоположная формула, коммунизм, не является более истинной в этом отношении, но может быть опровергнута в то же время и под тем же названием, что и собственность. Следует ли из этого, как было сказано с таким нелепым подчеркиванием, что каждая истина, каждая идея проистекают из противоречия, то есть из чего—то, что утверждается и отрицается в один и тот же момент и с одной и той же точки зрения, и что, возможно, необходимо полностью отказаться от старомодной логики, которая рассматривает противоречие как безошибочный признак ошибки? Эта болтовня достойна софистов, которые, лишённые веры и честности, пытаются увековечить скептицизм, чтобы подтвердить свою дерзкую бесполезность. Поскольку антиномия, сразу же после ее неправильного понимания, неизбежно приводит к противоречию, их ошибочно принимают друг за друга, особенно среди французов, которые любят судить обо всем по его последствиям. Но ни противоречие, ни антиномия, которые анализ обнаруживает в основе каждой простой идеи, не являются принципом истины. Противоречие всегда является синонимом ничтожества; что касается антиномии, иногда называемой тем же именем, то она действительно является предшественницей истины, материал для которой, так сказать, она поставляет; но это не истина, и, рассматриваемая сама по себе, она является действенной причиной беспорядка, характерной формой заблуждения и зла.

Антиномия состоит из двух терминов, необходимых друг другу, но всегда противоположных и стремящихся к взаимному уничтожению. Я едва ли осмелюсь добавить, поскольку должен, что первый из этих терминов получил название тезис, позиция, а второй - антитезис, контрпозиция. Этот метод мышления сейчас настолько хорошо известен, что, я надеюсь, вскоре он войдет в учебники начальных школ. Мы непосредственно увидим, как из сочетания этих двух нулей возникает единство, или идея, которая рассеивает антиномию.

Таким образом, в ценности нет ничего полезного, что нельзя было бы обменять, ничего, что можно было бы обменять, если бы оно не было полезным: ценность в использовании и ценность в обмене неразделимы. Но в то время как благодаря промышленному прогрессу спрос изменяется и множится в бесконечной степени, и в то время как мануфактуры стремятся вследствие этого увеличить естественную полезность вещей и, в конце концов, преобразовать всю полезную стоимость в меновую, производство, с другой стороны, постоянно увеличивая

мощность своих орудий и всегда снижая свои издержки, стремится вернуть продажной ценности вещей их первоначальную полезность: так что потребительная ценность и меновая ценность находятся в постоянной борьбе.

Последствия этой борьбы хорошо известны: торговые войны и за рынок; препятствия для бизнеса; застой; сухой закон; уничтожение конкуренции; монополия; снижение заработной платы; законы, устанавливающие максимальные цены; сокрушительное неравенство состояний; нищета — все это является результатом антиномии ценности. Я, возможно, не стану приводить здесь доказательства этого, поскольку они естественным образом появятся в последующих главах.

Социалисты, справедливо требуя положить конец этому антагонизму, допустили ошибку, неверно истолковав его источник и усмотрев в нем лишь умственную оплошность, которую можно исправить юридическим декретом. Отсюда эта прискорбная вспышка сентиментализма, которая сделала социализм таким безвкусным для позитивных умов и которая, распространяя абсурднейшие заблуждения, каждый день вводит в заблуждение так много новых людей. Моя жалоба на социализм заключается не в том, что он появился среди нас без причины, а в том, что он так долго и упрямо цеплялся за свою глупость.

2. Но экономисты совершили не менее серьезную ошибку, отвергнув априори, и именно из-за противоречивой или, скорее, антиномичной природы ценности, каждую идею и надежду на реформу, никогда не желая понять, что именно по той причине, что общество достигло высшей точки антагонизма, примирение и гармония близки. Это, тем не менее, то, что внимательное изучение политической экономии показало бы ее адептам, если бы они уделяли больше внимания светилам современной метафизики. Это действительно продемонстрировано самыми позитивными доказательствами, известными человеческому разуму, что везде, где появляется антиномия, есть обещание разрешения ее условий и, следовательно, объявление о грядущих изменениях. Итак, идея ценности, разработанная Дж. Б. Сэем среди прочих, удовлетворяет именно этим условиям. Но экономисты, которые по большей части по непостижимой случайности оставались в неведении о движении философии, остерегались предположения, что противоречивый по сути своей или, как они говорят, изменчивый характер стоимости может быть в то же время подлинным признаком ее конституционности, то есть ее в высшей степени гармоничной и поддающейся определению природы. Каким бы бесчестным это ни было для экономистов различных школ, несомненно, что их неприятие социализма проистекает исключительно из этого ложного представления об их собственных принципах; одного доказательства, взятого из тысячи, будет достаточно.

Академия наук (не моральных наук, а других), однажды выехав за пределы своей области, заслушала доклад, в котором предлагалось рассчитать таблицы стоимости всех видов товаров на основе среднего продукта на человека и на день труда в каждой отрасли промышленности. "Журнал экономистов" (август 1845 г.) немедленно сделал это сообщение, по его мнению, навязчивым, текстом протеста против тарифного плана, который был его целью, и поводом для восстановления того, что он называл истинными принципами:

"Не существует меры стоимости, нет стандарта ценности", - говорилось в его выводах.

"Экономическая наука говорит нам об этом точно так же, как математическая наука говорит нам, что не существует вечного двигателя или квадратуры окружности, и что они никогда не будут найдены. Итак, если нет стандарта ценности, если мера ценности не является даже

метафизической иллюзией, то каков же тогда закон, управляющий обменами? Как мы уже говорили ранее, это, в общем, СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ: это последнее слово науки ".

Итак, как "Журнал экономистов" доказал, что меры ценности не существует? Я использую освященное выражение: хотя я прямо покажу, что это словосочетание "МЕРА ЦЕННОСТИ" несколько двусмысленно и не передает точного значения, которое оно предназначено и которое оно должно выражать.

Этот журнал повторил, с сопутствующими примерами, только что приведенное нами изложение изменчивости стоимости, но не пришел, как это сделали мы, к противоречию. Теперь, если бы уважаемый редактор, один из самых выдающихся экономистов школы Сэя, обладал более строгими логическими привычками; если бы он долгое время привык не только наблюдать факты, но и искать их объяснение в идеях, которые их порождают, — я не сомневаюсь, что он выразался бы более осторожно и что вместо того, чтобы видеть в изменчивости стоимости ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАУКИ, он бы без посторонней помощи признал, что это первое. Видя, что изменчивость стоимости проистекает не из вещей, а из разума, он сказал бы, что, поскольку свобода человека имеет свой закон, ценность должна иметь свой закон; следовательно, гипотеза о мере стоимости, поскольку это общепринятое выражение, вовсе не иррациональна; совсем наоборот, именно отрицание этой меры нелогично, несостоятельно.

И в самом деле, что ненаучного есть в идее измерения и, следовательно, установления ценности? Все люди верят в это; все желают этого, ищут этого, предполагают это: каждое предложение о продаже или покупке, в сущности, является лишь сравнением двух ценностей, то есть определением, более или менее точным, если хотите, но тем не менее эффективным. Можно сказать, что мнение человечества о существующей разнице между реальной стоимостью и рыночной ценой единодушно. Именно по этой причине так много видов товаров продаются по фиксированной цене; действительно, есть некоторые, которые, даже в своих вариациях, всегда остаются фиксированными, — например, хлеб. Никто не будет отрицать, что, если два производителя могут поставлять друг другу по текущему счету и по установленной цене определенное количество своей соответствующей продукции, десять, сто, тысяча производителей могут делать то же самое. Так вот, это было бы решением проблемы меры ценности. Я допускаю, что о цене всего можно было бы дискутировать, потому что дебаты по-прежнему являются нашим единственным методом установления цен; но все же, поскольку весь свет является результатом конфликта, дебаты, хотя они и могут быть доказательством неопределенности, имеют своей целью, если отбросить большую или меньшую долю добросовестности, которая присутствует в них, открытие отношения ценностей друг к другу, то есть их измерение, их закон.

Рикардо в своей теории ренты привел великолепный пример соизмеримости ценностей. Он показал, что пахотные земли относятся друг к другу как урожай, который они дают при одинаковых затратах; и здесь универсальная практика находится в гармонии с теорией. Теперь кто скажет, что этот позитивный и надежный метод оценки стоимости земли и вообще всего задействованного капитала не может быть применен и к продуктам?

Они говорят: политическая экономия не подвержена влиянию априорных аргументов; она опирается только на факты. Итак, факты и опыт учат нас, что меры ценности нет и быть не может, и доказывают, что, хотя зачатие такой идеи было необходимо по природе вещей, ее реализация совершенно химерична. Спрос и предложение — это единственный закон обмена.

Я не буду повторять, что опыт доказывает прямо противоположное; что все в экономическом прогрессе общества указывает на тенденцию к образованию и установлению ценности; что это кульминационный пункт политической экономии— которая благодаря этому устройству трансформируется, и высший признак порядка в обществе: этот общий план, повторяемый без доказательств, стал бы утомительным. Я ограничиваю себя на данный момент рамками обсуждения и говорю, что СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ, рассматриваемые как единственные регуляторы ценности, являются не более чем двумя церемониальными формами, служащими для того, чтобы столкнуть полезную ценность и меновую ценность лицом к лицу и спровоцировать их примирение. Это два электрических полюса, соединение которых должно привести к экономичному явлению сродства, называемому ОБМЕНОМ. Подобно полюсам аккумуляторной батареи, спрос и предложение диаметрально противоположны друг другу и постоянно стремятся к взаимному уничтожению; именно из-за их антагонизма цена вещей либо повышается, либо сводится к нулю: тогда мы хотим знать, если это невозможно, то в каждом случае так уравновесить или гармонизировать эти две силы, чтобы цена вещей всегда могла быть выражением их истинной ценности, выражением справедливости. Утверждать после этого, что спрос и предложение - это закон обмена, значит утверждать, что спрос и предложение - это закон спроса и предложения; это не объяснение общей практики, а декларация ее абсурдности; и я отрицаю, что общая практика абсурдна.

Я только что процитировал Рикардо, который в частном случае дал положительное правило для сравнения ценностей: у экономистов дела идут еще лучше. Каждый год они собирают из статистических таблиц средние цены на различные зерновые. Итак, что означает среднее значение? Каждый может видеть, что в одной операции, взятой наугад из миллиона, нет способа узнать, что преобладало: предложение, то есть полезная стоимость, или меновая стоимость, то есть спрос. Но поскольку за каждым повышением цен на товары рано или поздно следует пропорциональное снижение; поскольку, другими словами, в обществе прибыль от спекуляции равна убыткам, — мы можем с полным основанием рассматривать среднее значение цен за полный период как показатель реальной и законной стоимости продуктов. Это среднее значение, правда, устанавливается слишком поздно: но кто знает, что мы не могли обнаружить его заранее? Найдется ли экономист, который осмелится это отрицать?

Таким образом, волей-неволей необходимо искать меру ценности: этого требует логика, и ее выводы противоречат как экономистам, так и социалистам. Мнение, отрицающее существование этой меры, является иррациональным, необоснованным. Говорите сколько угодно, с одной стороны, что политическая экономия — это наука о фактах и что факты противоречат гипотезе определения ценности, или, с другой стороны, что этот трудный вопрос не встал бы в системе всеобщей ассоциации, которая поглотила бы всякий антагонизм, — я все равно отвечу направо и налево:

1. Поскольку не возникает факта, не имеющего своей причины, то не существует и такого, у которого не было бы своего закона; и что, если закон обмена не открыт, вина лежит не на фактах, а на ученых.
2. Что до тех пор, пока человек будет трудиться, чтобы жить, и будет трудиться свободно, справедливость будет условием братства и основой ассоциации; теперь же, без определения ценности, справедливость несовершенна, невозможна.

% 2.Определение ценности; определение богатства.

Мы знаем ценность в ее двух противоположных аспектах; мы не знаем ее во ВСЕЙ ЕЕ ПОЛНОТЕ. Если мы сможем усвоить эту новую идею, у нас будет абсолютная ценность; и таблица ценностей, подобная той, к которой призывали в мемуарах, прочитанных в Академии наук, станет возможной.

Давайте представим богатство как массу, удерживаемую химической силой в постоянном состоянии состава, в котором постоянно появляются новые элементы, которые соединяются в различных пропорциях, но в соответствии с определенным законом: ценность - это пропорциональное отношение (мера), в котором каждый из этих элементов образует часть целого.

Из этого вытекают две вещи: во-первых, экономисты были совершенно введены в заблуждение, когда искали общую меру стоимости в пшенице, звонкой монете, ренте и т. Д., А также когда, продемонстрировав, что эта мера не была ни здесь, ни там, они заключили, что стоимость не имеет ни закона, ни меры; во-вторых, что соотношение ценностей может постоянно изменяться, не переставая по этой причине подчиняться закону, определение которого является именно искомым решением.

Эта идея стоимости удовлетворяет, как мы увидим, всем условиям: ибо она включает в себя одновременно и положительный и постоянный элемент полезной стоимости, и переменный элемент меновой стоимости; во-вторых, она устраняет противоречие, которое казалось непреодолимым препятствием на пути определения стоимости; далее, мы покажем, что ценность, понимаемая таким образом, полностью отличается от простого сопоставления двух идей полезной и меновой стоимости и что она наделена новыми свойствами.

Пропорциональность продуктов - это не откровение, которое мы претендуем предложить миру, и не новшество, которое мы привносим в науку, так же как разделение труда не было чем-то неслыханным, когда Адам Смит объяснял его чудеса. Пропорциональность продуктов - это, как мы могли бы легко доказать с помощью бесчисленных цитат, общая идея, проходящая через все труды по политической экономии, но которой еще никто и не думал приписывать ее законное значение: и это задача, за которую мы беремся сегодня. В остальном мы считаем своим долгом сделать это заявление, чтобы успокоить читателя относительно наших претензий на оригинальность и удовлетворить те умы, чья робость заставляет их не слишком благосклонно относиться к новым идеям.

Экономисты, по-видимому, всегда понимали под мерой стоимости только стандарт, своего рода первоначальную единицу, существующую саму по себе и применимую ко всем видам товаров, подобно тому как ярд применим ко всем длинам. Следовательно, многие думали, что такой стандарт обеспечивается драгоценными металлами. Но теория денег доказала, что деньги далеки от того, чтобы быть мерой ценностей, они являются лишь их арифметикой, и притом обычной арифметикой. Золото и серебро должны цениться так же, как термометр должен нагреваться. Термометр с его произвольно отмеренной шкалой ясно показывает, когда происходит потеря или увеличение тепла; но каковы законы теплового равновесия; какова его пропорция в различных телах; какая величина необходима, чтобы вызвать повышение температуры термометра на десять, пятнадцать или двадцать градусов, — термометр нам не говорит; нет уверенности даже в том, что равные друг другу градусы шкалы соответствуют равному притоку тепла.

Таким образом, идея меры стоимости, которой придерживались до сих пор, неточна; объектом нашего исследования является не стандарт стоимости, как говорилось так часто и так глупо, а закон, регулирующий пропорции различных продуктов к общественному богатству; ибо от знания этого закона зависит рост и падение цен в той мере, в какой это нормально и законно. Одним словом, как под мерой небесных тел мы понимаем отношение, возникающее в результате сравнения этих тел друг с другом, так и под мерой ценностей мы должны понимать отношение, возникающее в результате их сравнения.

Итак, я говорю, что у этого отношения есть свой закон, а у этого сравнения - свой принцип.

Тогда я предполагаю силу, которая объединяет в определенных пропорциях элементы богатства и делает из них однородное целое: если составляющие элементы не существуют в желаемой пропорции, комбинация тем не менее состоится; но вместо того, чтобы поглотить весь материал, она отвергнет часть как бесполезную. Внутреннее движение, посредством которого производится комбинация и которое определяется сродством различных субстанций, — это движение в обществе есть обмен; обмен, рассматриваемый уже не просто в его элементарной форме и между людьми, но обмен, рассматриваемый как слияние всех ценностей, произведенных частной промышленностью, в одной и той же массе общественного богатства. Наконец, пропорция, в которой каждый элемент входит в соединение, - это то, что мы называем ценностью; избыток, остающийся после соединения, НЕ имеет ЦЕННОСТИ до тех пор, пока добавление определенного количества других элементов не вызовет дальнейшее сочетание и обмен.

Позже мы объясним функцию денег.

Таким образом, можно предположить, что в данный момент пропорции ценностей, составляющих богатство страны, могут быть определены или, по крайней мере, эмпирически приближены с помощью статистических данных и инвентаризаций почти таким же образом, как химики обнаружили опытным путем с помощью анализа пропорции водорода и кислорода, необходимые для образования воды. В этом методе определения ценностей нет ничего предвзятого; в конце концов, это всего лишь вопрос счетов. Но такая работа, какой бы интересной она ни была, не научит нас ничему особенно полезному. С одной стороны, действительно, мы знаем, что пропорция постоянно меняется; с другой стороны, ясно, что из отчета об общественном богатстве, дающего пропорции ценностей только для времени и места, когда и где следует собирать статистические данные, мы не могли бы вывести закон пропорциональности богатства. Для этого одной операции такого рода было бы недостаточно; потребовались бы тысячи и миллионы подобных операций, даже если признать, что метод заслуживает доверия.

Итак, здесь есть разница между экономической наукой и химией. Химики, которые на собственном опыте открыли такие прекрасные пропорции, знают о том, как и почему они создаются, не больше, чем о силе, которая ими управляет. Напротив, социальная экономика, которой никакое апостериорное исследование не могло бы непосредственно раскрыть закон пропорциональности ценностей, может постичь его в той самой силе, которая его производит и о которой пришло время заявить.

Эта сила, которую так красноречиво прославил Адам Смит и которую его преемники неправильно поняли (приравняв привилегии к ней), — эта сила есть ТРУД. Труд различается по

количеству и качеству в зависимости от производителя; в этом отношении он подобен всем великим принципам Природы и самым общим законам, простым в своем действии и формуле, но бесконечно модифицируемым множеством особых причин и проявляющимся в неисчислимом разнообразии форм. Именно труд, только труд, производит все элементы богатства и объединяет их до последней молекулы в соответствии с законом переменной, но определенной пропорциональности. В конце концов, именно труд, как принцип жизни, перемешивает (*mens agitat*) материал (*molem*) богатства и соразмеряет его.

Общество, или коллективный человек, производит бесконечное множество объектов, наслаждение которыми составляет его БЛАГОПОЛУЧИЕ. Это благополучие развивается не только в соотношении КОЛИЧЕСТВА продуктов, но и в соотношении их РАЗНООБРАЗИЯ (качества) и ПРОПОРЦИИ. Из этого фундаментального факта следует, что общество всегда, в каждый момент своей жизни, должно стремиться к такой пропорции в своих продуктах, которая обеспечит наибольший уровень благосостояния, учитывая мощность и средства производства. Изобилие, разнообразие и пропорциональность продуктов - вот три фактора, составляющие БОГАТСТВО: богатство, объект социальной экономики, подчиняется тем же условиям существования, что и красота, объект искусства; добродетель, объект морали; и истина, объект метафизики.

Но как установить эту удивительную пропорцию, настолько важную, что без нее теряется часть человеческого труда, то есть бесполезную, негармоничную, ложную и, следовательно, синонимичную бедности и уничтожению?

Прометей, согласно басне, является символом человеческой деятельности. Прометей крадет небесный огонь и изобретает древние искусства; Прометей предвидит будущее и стремится к равенству с Юпитером; Прометей - Бог. Тогда давайте назовем общество "Прометей".

Прометей посвящает в среднем десять часов в день труду, семь - отдыху и семь - удовольствиям. Чтобы извлечь из своего тяжелого труда наиболее полезные плоды, Прометей отмечает время и хлопоты, которых стоит ему каждый предмет его потребления. Только опыт может научить его этому, и этот опыт длится всю его жизнь. Таким образом, трудясь и производя, Прометей подвержен бесконечному количеству разочарований. Но, как конечный результат, чем больше он трудится, тем выше его благосостояние и тем более идеализируется его роскошь; чем дальше он расширяет свои завоевания над Природой, тем сильнее он укрепляет в себе принцип жизни и разума, в осуществлении которого он один находит счастье; пока, наконец, раннее образование Работника не будет завершено и в его занятиях не будет наведен порядок, работать с ним — значит больше не страдать, а жить, наслаждаться. Но привлекательность труда не отменяет этого правила, поскольку, напротив, оно является его плодом; и те, кто под предлогом того, что труд должен быть привлекательным, аргументируют отрицание справедливости и коммунизма, похожи на детей, которые, сорвав несколько цветов в саду, должны устроить клумбу на лестнице.

Таким образом, в обществе справедливость - это просто соразмерность ценностей; ее гарантией и санкционированием является ответственность производителя.

Прометей знает, что такой-то продукт стоит часа труда, такой-то - дня, недели, года; в то же время он знает, что все эти продукты, распределенные в соответствии с их стоимостью, формируют прогрессию его богатства. Таким образом, сначала он обеспечит свое

существование, обеспечив себя наименее дорогостоящими и, следовательно, наиболее необходимыми вещами; затем, как только его положение станет прочным, он будет стремиться к предметам роскоши, всегда поступая, если он благоразумен, в соответствии с естественным положением каждого предмета в шкале цен. Иногда Прометей ошибается в своих расчетах, или же, увлеченный страстью, он жертвует сиюминутным благом ради преждевременного наслаждения и, после тяжелого труда, умирает с голоду. Таким образом, закон влечет за собой свою собственную санкцию; его нарушение неизбежно сопровождается немедленным наказанием нарушителя.

Таким образом, Сэй был прав, говоря: "Счастье этого класса (потребителей), состоящего из всех остальных, составляет общее благосостояние, состояние процветания страны". Только ему следовало бы добавить, что счастье класса производителей, который также состоит из всех остальных, в равной степени составляет общее благосостояние, состояние процветания страны. Поэтому, когда он говорит: "Состояние каждого потребителя постоянно находится в состоянии войны со всем, что он покупает", ему следовало бы еще раз добавить: "Состояние каждого производителя постоянно подвергается нападкам со стороны всего, что он продает". В отсутствие четкого выражения этой взаимности большинство экономических явлений становятся непонятными; и вскоре я покажу, как вследствие этого серьезного упущения большинство экономистов при написании своих книг разглагольствовали о торговом балансе.

Я только что сказал, что общество производит в первую очередь **НАИМЕНЕЕ ДОРОГОСТОЯЩИЕ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ**. Итак, верно ли, что дешевизна продуктов всегда коррелирует с их необходимостью, и наоборот; так что эти два слова, **НЕОБХОДИМОСТЬ** и **ДЕШЕВИЗНА**, как и следующие, **ДОРОГОВИЗНА** и **ИЗБЫТОЧНОСТЬ**, являются синонимами?

Если бы каждого продукта труда, взятого в отдельности, было достаточно для существования человека, рассматриваемая синонимия не вызывала бы сомнений; из всех продуктов, обладающих одинаковыми качествами, производились бы те, которые наиболее выгодны и, следовательно, наиболее необходимы и стоят наименьших затрат. Но параллель между полезностью и ценой продуктов не характеризуется такой теоретической точностью: либо благодаря предвидению Природы, либо по какой—либо другой причине баланс между потребностями и производительной силой является чем-то большим, чем теория, - это факт, о котором свидетельствует повседневная практика, а также социальный прогресс.

Представьте, что мы живем на следующий день после рождения человека, на заре цивилизации: разве не правда, что изначально самыми простыми отраслями промышленности, требующими наименьшей подготовки и затрат, были следующие: **СОБИРАТЕЛЬСТВО**, **ВЫПАС СКОТА**, **ОХОТА** и **РЫБОЛОВСТВО**, за которыми много лет спустя последовало сельское хозяйство? С тех пор эти четыре примитивные отрасли были усовершенствованы и, более того, присвоены: двойное обстоятельство, которое не меняет значения фактов, а, наоборот, делает его более очевидным. Фактически, собственность всегда отдавала предпочтение объектам наиболее непосредственной полезности, **СОЗДАННЫМ ЦЕННОСТЯМ**, если можно так выразиться; так что шкала ценностей может быть установлена прогрессом присвоения.

В своей работе о "Свободе труда" г—н Дюнуайе положительно воспринял этот принцип, выделив четыре больших класса промышленности, которые он расположил в соответствии с порядком их развития, то есть от наименьших затрат труда к наибольшим.

Это ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, включая все упомянутые выше полуварварские функции, КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. И именно по глубокой причине ученый автор поместил сельское хозяйство последним в списке. Ибо, несмотря на свою великую древность, несомненно, что эта отрасль не поспевала за другими, и последовательность человеческих дел определяется не их происхождением, а всем их развитием. Возможно, сельскохозяйственная промышленность зародилась раньше других, и, возможно, все они были современниками; но это будет считаться последней датой, которая будет доведена до совершенства последней.

Таким образом, сама природа вещей, а также его собственные потребности указывают рабочему порядок, в котором он должен осуществлять производство ценностей, составляющих его благосостояние. Таким образом, наш закон пропорциональности является одновременно физическим и логическим, объективным и субъективным; он обладает высочайшей степенью достоверности. Давайте продолжим применение.

Из всех продуктов труда ни один, пожалуй, не стоил более длительных и терпеливых усилий, чем календарь. Тем не менее, нет такого, пользование которым теперь можно было бы приобрести дешевле и которое, следовательно, по нашим собственным определениям, стало более необходимым. Как же тогда нам объяснить это изменение? Почему календарь, столь бесполезный для ранних орд, которым нужна была только смена дня и ночи, как зимы и лета, стал, наконец, таким необходимым, таким не требующим затрат, таким совершенным? Ибо по удивительной гармонии в социальной экономике все эти прилагательные взаимопревращаемы. Короче говоря, как объяснить с помощью нашего закона пропорции изменчивость ценности календаря?

Для того чтобы работа, необходимая для создания календаря, могла быть выполнена, могла быть возможной, человек должен был найти способы выиграть время от своих ранних занятий и от тех, которые непосредственно следовали за ними. Другими словами, эти отрасли должны были стать более производительными или менее дорогостоящими, чем они были вначале: что равносильно утверждению, что сначала необходимо было решить проблему производства календаря в самих добывающих отраслях.

Предположим, тогда, что внезапно, благодаря удачному сочетанию усилий, разделению труда, использованию какой-нибудь машины, лучшему управлению природными ресурсами, — короче говоря, благодаря своему трудолюбию, — Прометей находит способ производить за один день столько же определенного предмета, сколько раньше он производил за десять: что последует? Продукт изменит свое положение в таблице элементов богатства; поскольку его сила сродства с другими продуктами, так сказать, возрастет, его относительная стоимость пропорционально уменьшится, и, вместо того чтобы котироваться на уровне ста, он впоследствии будет котироваться только на уровне десяти. Но, тем не менее, эта ценность будет все еще и всегда определяться с меньшей точностью, и по-прежнему только труд будет определять степень ее важности. Таким образом, стоимость меняется, а закон стоимости неизменен: далее, если стоимость подвержена изменениям, то это потому, что ею управляет закон, принцип которого по существу непостоянен, а именно труд, измеряемый временем.

К созданию календаря применимы те же рассуждения, что и к созданию всех возможных значений. Мне не нужно объяснять, как — цивилизация (то есть социальный факт увеличения продолжительности жизни) умножает наши задачи, делает наши моменты все более и более

драгоценными и обязывает нас вести постоянный и подробный учет всей нашей жизни — календарь стал для всех одной из самых необходимых вещей. Более того, мы знаем, что это замечательное открытие дало начало, как его естественное дополнение, одной из наших самых ценных отраслей промышленности - производству часов.

Здесь вполне естественно возникает возражение, единственное, которое можно выдвинуть против теории пропорциональности ценностей.

Сэй и сменившие его экономисты заметили, что, поскольку труд сам по себе является объектом оценки, таким же видом товара, как и любой другой, считать его главной и действенной причиной стоимости - значит блуждать по порочному кругу. Следовательно, заключают они, необходимо опираться на дефицит и общественное мнение.

Эти экономисты, если они позволят мне так выразиться, показали себя здесь удивительно беспечными. Говорят, ЧТО труд ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ не как товар сам по себе, а с учетом ценностей, которые, как предполагается, потенциально в нем содержатся. ЦЕННОСТЬ ТРУДА - это образное выражение, предвосхищение следствия из причины.

Это фикция под тем же названием, что и "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА". Труд производит, капитал имеет стоимость: и когда мы, используя своего рода многоточие, говорим о стоимости труда, мы делаем дополнение, которое вовсе не противоречит правилам языка, но которое теоретики должны остерегаться принимать за реальность. Труд, подобно свободе, любви, честлюбию, гению, является вещью смутной и неопределенной по своей природе, но качественно определяемой своим объектом, то есть он становится реальностью через свой продукт. Поэтому, когда мы говорим: труд этого человека стоит пять франков в день, это все равно, как если бы мы сказали: ежедневный продукт труда этого человека стоит пять франков.

Итак, результатом труда является постоянное устранение дефицита и общественного мнения как конституирующих элементов ценности и, как необходимое следствие, преобразование естественных или неопределенных полезностей (присвоенных или нет) в измеримые или общественные полезности: отсюда следует, что труд одновременно является войной, объявленной бережливости Природы, и постоянным заговором против собственности.

Согласно этому анализу, стоимость, рассматриваемая с точки зрения ассоциации, которую производители естественным образом образуют между собой путем разделения труда и обмена, представляет собой ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРОДУКТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БОГАТСТВО, а то, что мы называем стоимостью любого особого продукта, представляет собой формулу, выражающую в денежном выражении долю этого продукта в общем богатстве. Полезность является основой стоимости; труд устанавливает отношение; цена является выражением, которое, за исключением колебаний, которые нам предстоит рассмотреть, указывает на это отношение.

Таков центр, вокруг которого колеблются полезная и меновая стоимость, точка, где они в конце концов поглощаются и исчезают: таков абсолютный, неизменный закон, который регулирует экономические беспорядки и причуды промышленности и торговли и управляет прогрессом. Каждое усилие мыслящего и трудящегося человечества, каждая индивидуальная и социальная спекуляция, как неотъемлемая часть коллективного богатства, подчиняется этому закону. Судьбой политической экономии было сделать этот закон известным путем последовательного установления всех ее противоречивых терминов; целью социальной экономии, которую я прошу

разрешения на мгновение отличить от политической экономии, хотя в сущности между ними нет разницы, будет распространение и применение ее повсеместно.

Следует отметить, что теория меры или пропорциональности ценностей - это сама теория равенства. Действительно, точно так же, как в обществе, где, как мы видели, существует полное тождество производителя и потребителя, доход, выплачиваемый бездельнику, подобен ценности, брошенной в пламя Этно, так и рабочий, получающий чрезмерную заработную плату, подобен сборщику урожая, которому следует дать буханку хлеба за то, что он собрал колосок зерна: и все, что экономисты квалифицировали как НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, на самом деле является просто нарушением закона пропорциональности.

Мы увидим в следующей последовательности, как из этих простых данных социальный гений постепенно выводит все еще неясную систему организации труда, распределения заработной платы, оценки продуктов и всеобщей солидарности. Ибо общественный порядок устанавливается на основе неумолимой справедливости, а вовсе не на райских чувствах братства, самопожертвования и любви, к проявлению которых так много благородных социалистов пытаются сейчас побудить людей. Напрасно, следуя за Иисусом Христом, они проповедуют необходимость самопожертвования и подают пример; эгоизм сильнее, и только закон суровости, экономический фатализм, способен победить его. Гуманитарный энтузиазм может вызвать потрясения, благоприятные для прогресса цивилизации; но эти кризисы чувств, как и колебания ценностей, всегда должны приводить только к более твердому и абсолютному установлению справедливости. Природе, или Божественности, мы не доверяем в глубине души: она никогда не верила в любовь человека к ближнему; и все, что наука открывает нам о путях Провидения в развитии общества — я говорю это к стыду человеческой совести, но наше лицемерие должно быть осознано — свидетельствует о глубокой человеконенавистничестве со стороны Бога. Бог помогает нам не из добрых побуждений, а потому, что порядок является его сущностью; Бог способствует благополучию мира не потому, что он считает это достойным, а потому, что религия его высшего разума возлагает на него обязательства: и хотя вульгарные люди называют его сладким именем Отец, историк, ни политический экономист не могут поверить, что он любит или уважает нас.

Давайте подражать этому возвышенному безразличию, этой стоической атараксии Бога; и поскольку заповедь милосердия всегда оказывалась неспособной способствовать социальному благополучию, давайте обратимся к чистому разуму в поисках условий гармонии и добродетели.

Ценность, понимаемая как соразмерность продуктов, иначе называемая КОНСТИТУИРОВАННОЙ СТОИМОСТЬЮ, обязательно подразумевает в равной степени ПОЛЕЗНОСТЬ и ПРОДАЖНОСТЬ, нераздельно и гармонично соединенные. Это подразумевает полезность, поскольку без этого условия продукт был бы лишен того сродства, которое делает его обмениваемым и, следовательно, делает его элементом богатства; это подразумевает продажность, поскольку, если бы продукт не был принят на рынке в любое время и по известной цене, он был бы всего лишь неценностью, он был бы ничем.

Но в конституированной ценности все эти свойства приобретают более широкое, более регулярное, более истинное значение, чем раньше. Таким образом, полезность - это больше не та, так сказать, инертная способность, которой обладают вещи, служить для нашего удовольствия и в наших исследованиях; продажность - это больше не преувеличение слепой

фантазии или беспринципного мнения; наконец, изменчивость перестала объясняться неискренним обсуждением спроса и предложения: все это исчезло, уступив место позитивной, нормальной и, при всех возможных обстоятельствах, определяемой идее.

Благодаря системе ценностей каждый продукт, если позволительно провести такую аналогию, становится подобен пище, которая, обнаруженная пищевым инстинктом, затем приготовленная органами пищеварения, поступает в общий кровоток, где превращается в соответствии с определенными пропорциями в мясо, кости, жидкость и т.д. И придает телу жизнь, силу и красоту.

Итак, какое изменение претерпевает идея ценности, когда мы поднимаемся от противоречивых понятий полезной ценности и меновой ценности к понятиям конституированной ценности или абсолютной ценности? Происходит, так сказать, соединение, взаимное проникновение, при котором два элементарных понятия, цепляясь друг за друга подобно сцепленным атомам Эпикура, поглощают друг друга и исчезают, оставляя на своем месте соединение, обладающее, но в высшей степени, всеми их положительными свойствами и лишенное всех их отрицательных свойств. Ценность, действительно подобная деньгам, первоклассным деловым бумагам, государственным аннуитетами, долям в хорошо зарекомендовавшем себя предприятии, не может быть ни увеличена без причины, ни потеряна в обмене: она регулируется только естественным законом добавления специальных отраслей и увеличения объема продукции. Далее, такая ценность не является результатом компромисса, то есть эклектики, справедливости или смешения; это продукт полного слияния, продукт совершенно новый и отличный от своих компонентов, точно так же, как вода, продукт сочетания водорода и кислорода, является отдельным телом, полностью отличным от своих элементов.

Разрешение двух противоположных идей в третьей более высокого порядка - это то, что школа называет СИНТЕЗОМ. Только оно дает положительную и законченную идею, которая получается, как мы видели, путем последовательного утверждения или отрицания — ибо и то, и другое означает одно и то же — двух диаметрально противоположных концепций. Отсюда мы выводим следующее следствие, имеющее первостепенное значение как на практике, так и в теории: везде, где в сферах морали, истории или политической экономии анализ установил антиномию идеи, мы можем утверждать на априорных основаниях, что за этой антиномией скрывается более высокая идея, которая рано или поздно проявится.

Мне жаль, что приходится так долго настаивать на идеях, знакомых всем молодым выпускникам колледжей: но этими подробностями я обязан некоторым экономистам, которые по поводу моей критики собственности нагромождали дилемму за дилеммой, чтобы доказать, что если я не был собственником, то обязательно должен быть коммунистом; и все потому, что они не понимали ТЕЗИСА, АНТИТЕЗИСА и СИНТЕЗА.

Синтетическая идея стоимости как фундаментального условия общественного порядка и прогресса была смутно видна Адаму Смиту, когда, используя слова М. Бланки, "он показал, что труд является универсальным и неизменным мерилем ценностей, и доказал, что все имеет свою естественную цену, к которой оно постоянно стремится в условиях колебаний рынка, вызванных СЛУЧАЙНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, чуждыми продажной ценности вещи".

Но эта идея ценности была полностью интуитивной у Адама Смита, а общество не меняет своих привычек на основе интуиции; оно принимает решения только на основании авторитета фактов.

Антиномия должна была быть выражена более простым и ясным образом: Дж. Б. Сэй был ее главным интерпретатором. Но, несмотря на усилия воображения и пугающую утонченность этого экономиста, определение Смита управляет им без его ведома и проявляется во всех его аргументах.

"Придавать ценность предмету, — говорит Сэй, — значит ЗАЯВЛЯТЬ, что его следует оценивать одинаково с каким-либо другим обозначенным предметом Ценность всего неопределенна и произвольна ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНА НЕ БУДЕТ ПРИЗНАНА"

Следовательно, существует метод признания ценности вещей, то есть ее определения; и, поскольку это признание или определение является результатом сравнения вещей друг с другом, существует, далее, общая черта, принцип, посредством которого мы можем ОБЪЯВИТЬ, что одна вещь стоит больше или меньше, чем другая, или как примерно так же, как и другой.

Сэй первым сказал: "Мерой ценности является стоимость другого продукта". Впоследствии, убедившись, что эта фраза была всего лишь тавтологией, он изменил ее таким образом: "Мерой стоимости является КОЛИЧЕСТВО другого продукта", что столь же непонятно. Более того, этот писатель, обычно такой ясный и решительный, смущает себя тщетными различиями: "Мы можем ОЦЕНИТЬ ценность вещей; мы не можем ИЗМЕРИТЬ ее, то есть СРАВНИТЬ с неизменным и известным стандартом, поскольку такого стандарта не существует. Мы ничего не можем сделать, кроме как ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ вещей, сравнивая их". В других случаях он проводит различие между РЕАЛЬНЫМИ и ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ценностями: "Первые — это те, стоимость которых изменяется вместе с издержками производства; вторые — это те, стоимость которых изменяется относительно стоимости других видов товаров".

Странное предубеждение гениального человека, который не видит, что СРАВНИВАТЬ, ОЦЕНИВАТЬ, ЦЕНИТЬ — значит ИЗМЕРЯТЬ; что каждая мера, будучи всего лишь сравнением, указывает именно по этой причине на истинное отношение, при условии, что сравнение точное; что, следовательно, ценность, или реальная мера, и ценность, или относительная мера, совершенно идентичны; и что трудность сводится не к нахождению стандарта измерения, поскольку все величины могут служить друг другу в этом качестве, а к определению точки сравнения. В геометрии точкой сравнения является протяженность, а единицей измерения является то деление окружности на триста шестьдесят частей, то длина окружности земного шара, то средний размер человеческой руки, ладони, большого пальца или ступни. В экономической науке, как мы сказали вслед за Адамом Смитом, точкой зрения, с которой сравниваются все ценности, является труд; что касается единицы измерения, принятой во Франции, то это франк. Невероятно, что так много здравомыслящих людей в течение сорока лет боролись против такой простой идеи. Но нет: СРАВНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ТОЧКИ СРАВНЕНИЯ Между НИМИ И БЕЗ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, — таково положение, которое экономисты девятнадцатого века, вместо того чтобы принять революционную идею равенства, решили отстаивать против всех желающих. Что скажут потомки?

Сейчас я покажу на ярких примерах, что идея меры или пропорции ценностей, теоретически необходимая, постоянно реализуется в повседневной жизни.

% 3.—Применение закона пропорциональности ценностей.

Каждый продукт является представителем труда.

Следовательно, каждый продукт может быть обменян на какой-либо другой, как доказывает всеобщая практика.

Но упраздните труд, и вы оставите только предметы большей или меньшей полезности, которые, не имея ни экономического характера, ни человеческой печати, не имеют общей меры, то есть логически неизменяемы.

Золото и серебро, как и другие товары, являются представителями стоимости; следовательно, они могли служить обычными мерами и средствами обмена. Но особая функция, которую обычай возложил на драгоценные металлы, — служить коммерческим агентом, — является чисто условной, и любой другой товар, возможно, менее удобный, но столь же достоверный, мог бы играть эту роль: экономисты признают это, и можно привести не один пример этого. В чем же тогда причина такого предпочтения, обычно отдаваемого металлам в качестве денег, и как нам объяснить эту особенность функции, не имеющую аналогов в политической экономии, которой обладают деньги? Ибо каждая уникальная вещь, ни с чем не сравнимая по своему характеру, неизбежно очень трудна для понимания, а часто даже и вовсе не поддается ему. Итак, возможно ли реконструировать ряд, из которого, по-видимому, были выделены деньги, и, следовательно, восстановить последний в его истинном принципе?

При решении этого вопроса экономисты, следуя своим обычным курсом, вышли за пределы своей науки; они обратились к физике, механике, истории и т. Д.; Они говорили обо всем, но не дали ответа. Драгоценные металлы, по их словам, благодаря своей редкости, плотности и неподкупности пригодны для использования в качестве денег в степени, недоступной другим видам товаров. Короче говоря, экономисты, вместо того чтобы ответить на поставленный перед ними экономический вопрос, взялись за изучение вопроса искусства. Они придавали большое значение механическому использованию золота и серебра в качестве денег; но ни один из них не видел и не понимал экономической причины, которая дала драгоценным металлам привилегию, которой они сейчас пользуются.

Итак, момент, которого никто не заметил, заключается в том, что из всех различных товаров первыми была определена стоимость золота и серебра. В патриархальный период золото и серебро все еще покупались и продавались в слитках, но уже с заметной тенденцией к превосходству и с заметным предпочтением. Постепенно монархи завладели ими и скрепили их своей печатью; и из этого королевского посвящения родились деньги, то есть товар по преимуществу; то, что, несмотря на все коммерческие потрясения, сохраняет определенную пропорциональную стоимость и принимается в оплату за все вещи.

На самом деле, монету отличает не прочность металла, которая меньше, чем у стали, и не ее полезность, которая намного ниже, чем у пшеницы, железа, угля и множества других веществ, считающихся почти ничтожными по сравнению с золотом; и не ее редкость или плотность, поскольку в обоих этих отношениях ее можно было бы заменить либо трудом, затраченным на другие материалы, либо, как в настоящее время, банкнотами, представляющими огромное количество железа или меди. Я повторяю, отличительной чертой золота и серебра является тот факт, что из-за их металлических свойств, трудностей их производства и, прежде всего, вмешательства государственных властей их ценность как товара была установлена и подтверждена на раннем этапе.

Итак, я говорю, что стоимость золота и серебра, особенно той части, которая превращается в деньги, хотя, возможно, она еще не была точно рассчитана, больше не является произвольной; я добавляю, что она больше не подвержена обесцениванию, как другие ценности, хотя, тем не менее, она может постоянно меняться. Вся логика и эрудиция, которые были затрачены, чтобы доказать на примере золота и серебра, что ценность по существу неопределима, представляют собой массу паралогизмов, возникающих из ложного представления о вопросе, *ab ignorantia elenchi*.

Филипп I, король Франции, смешал с турнским ливром Карла Великого одну треть сплава, воображая, что, поскольку он обладает монополией на чеканку денег, он может делать то, что делает каждый торговец, владеющий монополией на товар. Что же на самом деле представляла собой эта фальсификация денег, в которой Филипп и его преемники так сурово обвиняются? Очень здравый аргумент с точки зрения коммерческой практики, но совершенно ложный с точки зрения экономической науки, а именно, что, поскольку спрос и предложение являются регуляторами стоимости, мы можем, либо создавая искусственный дефицит, либо монополизировав производство, повысить оценку и, следовательно, стоимость вещей, и что это так же верно для золота и серебра, как и для пшеницы, вина, масла, табака. Тем не менее, как только возникли подозрения в мошенничестве Филиппа, его деньги были обесценены до их истинной стоимости, и он сам потерял все, что ожидал получить от своих подданных. То же самое произошло после всех подобных попыток. В чем была причина этого разочарования?

Поскольку, говорят экономисты, количество золота и серебра в действительности не уменьшалось и не увеличивалось фальшивой чеканкой монет, соотношение этих металлов к другим товарам не менялось, и, следовательно, не во власти суверена было превратить то, что стоило всего два, в четыре. По той же причине, если бы вместо обесценивания монеты король мог удвоить ее массу, меновая стоимость золота и серебра немедленно уменьшилась бы наполовину, всегда благодаря этой пропорциональности и равновесию. Фальсификация монеты была, таким образом, со стороны короля вынужденным займом, или, скорее, банкротством, мошенничеством.

Чудесно! экономисты очень ясно объясняют, когда они выбирают, теорию меры стоимости; чтобы они могли это сделать, необходимо только начать с вопроса о деньгах. Почему же тогда они не видят, что деньги - это писанный закон торговли, тип обмена, первое звено в этой длинной цепи творений, все из которых, как товары, должны получить санкцию общества и стать, если не фактически, то, по крайней мере, по праву, приемлемыми в качестве денег для расчетов по всем видам сделок?

"Деньги, - совершенно верно говорит М. Ожье, - могут служить либо средством подтверждения подлинности уже заключенных контрактов, либо хорошим средством обмена только в той мере, в какой их стоимость приближается к идеалу постоянства; ибо во всех случаях они обменивают или покупают только ту ценность, которой обладают".[8]

[8] "История государственного кредита".

Давайте превратим это в высшей степени разумное наблюдение в общую формулу.

Труд становится гарантией благополучия и равенства только в той мере, в какой продукт каждого индивида пропорционален массе; ибо во всех случаях он обменивает или покупает стоимость, равную только его собственной.

Разве не странно, что за защиту спекулятивной и мошеннической торговли берутся смело, в то время как попытка королевского фальшивомонетчика, который, в конце концов, всего лишь применил к золоту и серебру фундаментальный принцип политической экономии, произвольную неустойчивость ценностей, осуждается неодобрительно? Если бы администрация осмелилась давать двенадцать унций табака за фунт, экономисты назвали бы это грабежом; но если бы та же администрация, используя свои привилегии, повысила цену на несколько центов за фунт, они сочли бы это дороговизной, но не обнаружили бы нарушения принципов. Что за путаница в политической экономии!

[9] Во Франции продажа табака является государственной монополией.— Переводчик.

Таким образом, в монетизации золота и серебра есть нечто такое, чему экономисты не придали никакого значения, а именно освящение закона пропорциональности, первого акта в установлении ценностей. Человечество делает все вещи в бесконечно малой степени: после осознания того факта, что все продукты труда должны быть подчинены пропорциональной мере, которая делает их все равно обмениваемыми, оно начинает с придания этого атрибута абсолютной обмениваемости особому продукту, который должен стать прообразом и моделью всех остальных. Точно так же, чтобы поднять своих членов к свободе и равенству, она начинает с создания королей. Люди имеют смутное представление об этом провиденциальном прогрессе, когда в своих мечтах о богатстве и в своих легендах они постоянно говорят о золоте и королевской власти; а философы воздают должное универсальному разуму только тогда, когда в своих так называемых моральных проповедях и социалистических утопиях они с одинаковой яростью выступают против золота и тирании. *Auri sacra fames!* Проклятое золото! Смехотворно кричит какой-то коммунист. С таким же успехом можно сказать о проклятой пшенице, проклятых виноградных лозах, проклятых овцах; ибо, подобно золоту и серебру, каждая коммерческая ценность должна быть точно определена. Работа была начата давно; сегодня в ней наблюдается заметный прогресс.

Перейдем к другим соображениям.

Это аксиома, общепринятая экономистами, что **ВЕСЬ ТРУД ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ИЗБЫТОК.**

Я рассматриваю это положение как универсально и абсолютно верное; оно является следствием закона пропорциональности, который можно рассматривать как воплощение всей экономической науки. Но — прошу прощения у экономистов — принцип, согласно которому **ВЕСЬ ТРУД ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ИЗБЫТОК**, не имеет смысла в их теории и не подлежит демонстрации. Если только спрос и предложение определяют ценность, как мы можем определить, что является избытком, а что — **ДОСТАТОЧНОСТЬЮ**? Если ни издержки, ни рыночная цена, ни заработная плата не могут быть определены математически, то как возможно представить себе излишек, прибыль? Коммерческая рутина дала нам не только слово, но и представление о прибыли; и, поскольку мы политически равны, мы приходим к выводу, что каждый гражданин имеет равное право получать прибыль в своей личной отрасли. Но коммерческие операции по существу нерегулярны, и было неопровержимо доказано, что прибыль от торговли — это всего лишь произвольная скидка, навязываемая потребителю производителем, — короче говоря, вытеснение, если не сказать больше. В этом мы вскоре убедились бы, если бы можно было сравнить общую сумму ежегодных убытков с суммой

прибыли. С точки зрения политической экономии, принцип, согласно которому ВЕСЬ ТРУД ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ИЗБЫТОК, является просто освящением конституционного права, которое все мы завоевали в результате революции, — права грабить ближнего.

Только закон пропорциональности ценностей может решить эту проблему. Я подойду к этому вопросу немного позже: его серьезность требует от меня отнестись к нему с тем вниманием, которого он заслуживает.

Большинство философов, как и большинство филологов, видят в обществе только порождение разума, или, скорее, абстрактное название, служащее для обозначения совокупности людей. Это предубеждение, которое все мы получили в младенчестве на первых уроках грамматики, состоит в том, что собирательные существительные, названия родов и видов, не обозначают реальность. В этой главе можно многое сказать, но я ограничиваюсь своей темой. Для истинного экономиста общество - это живое существо, наделенное разумом и собственной активностью, управляемое особыми законами, которые можно обнаружить только наблюдением, и существование которого проявляется не в материальном аспекте, а в тесном взаимодействии и взаимозависимости всех его членов. Поэтому, когда несколькими страницами ранее, приняв аллегорический метод, мы использовали сказочного бога как символ общества, наш язык на самом деле ни в малейшей степени не был метафоричным: мы всего лишь дали имя социальному существу, органической и синтетической единице. В глазах любого, кто размышлял о законах труда и обмена (я игнорирую все остальные соображения), реальность, я чуть было не сказал "личность" коллективного человека так же несомненна, как реальность и личность отдельного человека. Единственное отличие состоит в том, что последнее воспринимается органами чувств как организм, части которого находятся в состоянии материальной согласованности, чего нельзя сказать об обществе. Но разум, спонтанность, развитие, жизнь - все, что в высшей степени составляет реальность бытия, столь же существенно для общества, как и для человека: и отсюда следует, что управление обществами является НАУКОЙ, то есть изучением естественных отношений, — а не ИСКУССТВОМ, то есть получением удовольствия и абсолютизмом. Следовательно, в конечном счете, каждое общество приходит в упадок в тот момент, когда оно попадает в руки идеологов.

Принцип, согласно которому ЛЮБОЙ ТРУД ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ИЗБЫТОК, недоказуемый политической экономией, то есть рутиной собственника, — один из тех, которые сильнее всего свидетельствуют о реальности коллективной личности: ибо, как мы увидим, этот принцип верен для индивидов только потому, что он исходит от общества, которое, таким образом, предоставляет им преимущества своих собственных законов.

Давайте обратимся к фактам. Было замечено, что железнодорожные предприятия являются источником богатства для тех, кто их контролирует, в гораздо меньшей степени, чем для государства. Это верное наблюдение; и можно было бы добавить, что оно применимо не только к железным дорогам, но и ко всем отраслям промышленности. Но это явление, которое по существу является результатом закона пропорциональности ценностей и абсолютного тождества производства и потребления, расходится с обычным представлением о полезной стоимости и меновой стоимости.

Средняя цена, взимаемая за перевозку товаров старым методом, составляет восемнадцать сантимов за тонну и километр, при этом товары принимаются и доставляются на склады. Было подсчитано, что при такой цене обычная железнодорожная корпорация получила бы чистую

прибыль в размере не более десяти процентов, что почти равно прибыли, полученной старым методом. Но давайте признаем, что скорость перевозки по железной дороге равна скорости перевозки на колесах, при всех допущениях, как четыре к одному: в обществе время само по себе является ценностью, при той же цене железная дорога имела бы преимущество перед почтовым дилижансом в четыреста процентов. "Тем не менее, это огромное преимущество, очень реальное для общества, ни в коем случае не реализуется в такой же пропорции перевозчиком, который, хотя и прибавляет четыреста процентов, к социальной ценности лично относится менее десяти процентов. Предположим, в самом деле, чтобы внести еще большую ясность, что железная дорога повысила бы свою цену до двадцати пяти сантимов, тогда как ставка по старому методу оставалась бы на уровне восемнадцати; она немедленно потеряла бы все свои грузы; грузоотправители, грузополучатели, все вернулись бы в почтовый вагон, если бы это было необходимо. Локомотив был бы брошен; социальное преимущество в четыреста процентов. было бы принесено в жертву частным потерям в тридцать три процента.

Причину этого легко увидеть. Преимущество, проистекающее из быстроты железной дороги, является полностью социальным, и каждый индивид участвует в нем лишь в очень незначительной степени (не забывайте, что сейчас мы говорим только о перевозке товаров); в то время как убытки ложатся непосредственно и лично на потребителя. Особая прибыль в размере четырехсот процентов. в обществе, состоящем, скажем, из миллиона человек, составляет четыре десятитысячных на каждого человека; в то время как убыток для потребителя составляет тридцать три процента. это означает социальный дефицит в тридцать три миллиона. Частный интерес и коллективный интерес, кажущиеся на первый взгляд столь противоречивыми, следовательно, совершенно идентичны и равноправны: и этот пример, возможно, уже показывает, как экономическая наука примиряет все интересы.

Следовательно, для того, чтобы общество могло получить сверхприбыль, абсолютно необходимо, чтобы цены на железной дороге не превышали или превысили, но очень незначительно, цены на железнодорожные вагоны.

Но для того, чтобы это условие могло быть выполнено, — другими словами, чтобы железная дорога могла стать коммерчески возможной, — количество перевозимого материала должно быть достаточно большим, чтобы покрыть, по крайней мере, проценты на вложенный капитал и эксплуатационные расходы дороги. Тогда первым условием существования железной дороги является большое тиражирование, что подразумевает еще большее производство и огромное количество обменов.

Но производство, обращение и обмен не являются самосозидающими явлениями; опять же, различные виды труда не развиваются изолированно и независимо друг от друга: их прогресс обязательно связан, солидарен, пропорционален. Между производителями может существовать антагонизм, но, несмотря на него, социальное действие едино, конвергентно, гармонично — одним словом, личностно. Далее, есть день, назначенный для создания великих орудий труда: это день, когда общее потребление будет в состоянии поддерживать их занятость, то есть, поскольку все эти положения взаимопревращаемы, день, когда окружающий труд сможет питать новые машины. Предвосхищать час, назначенный ходом труда, значило бы подражать глупцу, который, отправляясь из Лиона в Марсель, зафрахтовал пароход только для себя.

Прояснив эти моменты, нет ничего проще, чем объяснить, почему рабочая сила должна оставлять избыток для каждого производителя.

И первое, что касается общества: Прометей, выходящий из лона Природы, пробуждается к жизни в состоянии инертности, которое очень очаровательно, но которое вскоре превратилось бы в страдание и пытку, если бы он не поспешил отказаться от него ради труда. В этой изначальной праздности, продуктом которой Прометей является ничем, его благополучие такое же, как и у животного, и может быть представлено нулем.

Прометей начинает работать: и с первого дня его труда, первого из второго творения, продукт Прометея — то есть его богатство, его благополучие - равен десяти.

На второй день Прометей делит свой труд, и его продукт увеличивается до ста.

На третий и каждый следующий день Прометей изобретает механизмы, открывает новое применение вещам, новые силы в Природе; сфера его существования простирается от сферы чувств до сферы морали и разума, и с каждым шагом, который предпринимает его промышленность, количество его продукта увеличивается и обеспечивает ему дополнительное счастье. И поскольку, наконец, для него потреблять - значит производить, ясно, что ежедневное потребление, при котором расходуется только продукт предыдущего дня, оставляет прибавочный продукт на следующий день.

Но заметьте также — и обратите особое внимание на этот чрезвычайно важный факт, - что благосостояние человека прямо пропорционально интенсивности труда и разнообразию отраслей промышленности: так что увеличение богатства и увеличение рабочей силы взаимосвязаны и параллельны.

Утверждать сейчас, что каждый индивид участвует в этих общих условиях коллективного развития, значило бы утверждать истину, которая в силу имеющихся доказательств в ее поддержку показалась бы глупой. Давайте лучше укажем на две основные формы потребления в обществе.

Общество, как и индивид, сначала имеет свои предметы личного потребления, предметы, потребность в которых постепенно возникает у него со временем и которые его таинственные инстинкты повелевают ему создавать.

Таким образом, в средние века в большом количестве городов наступил решающий момент, когда строительство городских ратуш и соборов превратилось в неистовую страсть, которую нужно было удовлетворить любой ценой; от этого зависела жизнь общества. Безопасность и сила, общественный порядок, централизация, национальность, страна, независимость - вот элементы, составляющие жизнь общества, совокупность его умственных способностей; это чувства, которые должны найти выражение и репрезентацию. Таков некогда был объект Иерусалимского храма, настоящего палладиума еврейской нации; таков был храм Юпитера Капитолийского в Риме. Позже, вслед за муниципальным дворцом и храмом, — органами, так сказать, централизации и прогресса, — появились другие объекты общественного назначения: мосты, театры, школы, больницы, дороги и т.д.

Памятники общественного назначения используются по существу совместно и, следовательно, безвозмездно, общество вознаграждается за свои достижения политическими и моральными

преимуществами, получаемыми в результате этих великих работ, которые, обеспечивая безопасность труда и идеал для ума, дают новый импульс промышленности и искусству.

Но иное дело предметы внутреннего потребления, которые единственные подпадают под категорию обмена. Они могут быть произведены только на условиях взаимности, которые делают возможным потребление, то есть при немедленной оплате с выгодой для производителей. Эти условия мы достаточно развили в теории пропорциональности ценностей, которую мы могли бы также назвать теорией постепенного снижения издержек.

Я теоретически и на фактах продемонстрировал принцип, согласно которому ПРИ ЛЮБОМ ТРУДЕ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ИЗБЫТОК; но этот принцип, столь же несомненный, как любое арифметическое утверждение, очень далек от всеобщей реализации. В то время как благодаря прогрессу коллективного производства каждый отдельный день труда дает все больший и больший продукт, и в то время как вследствие необходимого следствия рабочий, получая ту же заработную плату, должен становиться все богаче, в обществе существуют классы, которые ПРОЦВЕТАЮТ, и классы, которые ПОГИБАЮТ; рабочим платят вдвое, втрое, стократно больше, а у рабочих постоянно нет денег; наконец, повсюду есть люди, которые наслаждаются, и люди, которые страдают, и, в результате чудовищного разделения средств производства, люди, которые потребляют, а не производят. Распределение благосостояния следует за всеми движениями стоимости и воспроизводит их в виде нищеты и роскоши в ужасающих масштабах и со страшной энергией. Но и повсюду рост благосостояния, то есть пропорциональность ценностей, является господствующим законом; и когда экономисты опровергают жалобы социалистов прогрессивным увеличением общественного богатства и облегчением положения даже самых обездоленных классов, они, сами того не подозревая, провозглашают истину, которая является осуждением их теорий.

Ибо я умоляю экономистов спросить себя на минуту в тишине своих сердец, вдали от беспокоящих их предрассудков и независимо от занятий, которыми они занимаются или которых они ждут, от интересов, которым они служат, от голосов, которых они жаждут, от различий, которые щекочат их тщеславие: пусть они скажут мне, рассматривали ли они до сих пор принцип, согласно которому всякий труд должен оставлять избыток, в связи с этим рядом предпосылок и выводов, которые мы разработали, и понимали ли они когда-либо, что эти слова означают что—то большее, чем право спекулировать ценностями. манипулируя спросом и предложением; разве не верно, что они одновременно подтверждают, с одной стороны, рост богатства и состоятельности и, следовательно, меру ценностей, а с другой - произвольность коммерческих сделок и несоизмеримость ценностей, что является полнейшим из противоречий? Не из-за этого ли противоречия мы постоянно слышим повторение в лекциях и читаем в трудах по политической экономии этой абсурдной гипотезы: если бы ЦЕНА ВСЕХ ВЕЩЕЙ БЫЛА УДВОЕНА ... ? Как будто цена всех вещей не зависит от пропорции вещей, и как будто мы можем удвоить пропорцию, соотношение, закон! Наконец, не из-за собственного и ненормального распорядка, поддерживаемого политической экономией, каждый человек в торговле, промышленности, искусстве и государстве на мнимой основе услуг, оказываемых обществу, стремится постоянно преувеличивать свою значимость и требует вознаграждений, субсидий, больших пенсий, непомерных гонораров: как будто вознаграждение за каждую услугу не определяется обязательно суммой ее затрат? Почему экономисты, если они верят, как это кажется, что труд каждого должен оставлять избыток, не используют все свое влияние для распространения этой истины, такой простой и такой ясной:

на труд каждого человека можно купить только ту стоимость, которая в нем содержится, и эта стоимость пропорциональна услугам всех других работников?

Но здесь возникает последнее соображение, которое я объясню в нескольких словах.

Дж. Б. Сэй, который из всех экономистов наиболее настойчиво настаивал на абсолютной неопределенности стоимости, также приложил больше всего усилий, чтобы опровергнуть эту идею. Он, если я не ошибаюсь, является автором формулы: КАЖДЫЙ ПРОДУКТ СТОИТ ТОГО, ЧЕГО ОН СТОИТ; или, что то же самое: ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТСЯ ЗА ПРОДУКТЫ. Этот афоризм, который ведет прямо к равенству, с тех пор оспаривался другими экономистами; мы рассмотрим по очереди утвердительный и отрицательный варианты.

Когда я говорю, что каждый продукт стоит того, чего он стоил, я имею в виду, что каждый продукт является коллективной единицей, которая в новой форме объединяет определенное количество других продуктов, потребляемых в различных количествах. Отсюда следует, что продукты человеческого труда являются по отношению друг к другу родами и видами и что они образуют ряд от простого к сложному, в соответствии с количеством и соотношением эквивалентных друг другу элементов, составляющих каждый продукт. В настоящее время не имеет большого значения, что этот ряд, равно как и эквивалентность его элементов, на практике более или менее точно выражается равновесием заработной платы и состояния; наше первое дело касается соотношения вещей, экономического закона. Ибо здесь, как всегда, идея первой и спонтанно порождает факт, который, будучи затем осознан породившей его мыслью, постепенно исправляется и соответствует своему принципу. Торговля, свободная и конкурентная, - это всего лишь длительная операция по возмещению ущерба, целью которой является все более четкое определение соразмерности ценностей, пока гражданское право не признает ее в качестве руководства в вопросах, касающихся положения людей. Итак, я утверждаю, что принцип Сэя "КАЖДЫЙ ПРОДУКТ СТОИТ ТОГО, ЧЕГО ОН СТОИТ" указывает на ряд в человеческом производстве, аналогичный животному и растительному ряду, в котором элементарные единицы (дневные работы) считаются равными. Таким образом, политическая экономия при своем рождении утверждает, но противоречащим образом, то, что ни Платон, ни Руссо, ни какой-либо другой публицист древности или современности не считал возможным, - равенство условий и состояний.

Прометей по очереди является земледельцем, виноградарем, пекарем, ткачом. В какой бы профессии он ни работал, работая только на себя, он покупает то, что потребляет (свои продукты), за одни и те же деньги (свои продукты), единицей измерения которых обязательно является его дневной труд. Верно, что сам труд подвержен изменениям; Прометей не всегда находится в одном и том же состоянии, и от момента к моменту его энтузиазм, его плодотворность то повышаются, то спадают. Но, как и все, что подвержено изменениям, труд имеет свое среднее значение, что дает нам право сказать, что в целом дневная работа оплачивает дневную работу, ни больше, ни меньше. Совершенно верно, что если мы сравним продукты определенного периода общественной жизни с продуктами другого, то стомиллионный рабочий день человеческой расы покажет результат, несравненно превосходящий результат первого; но следует помнить также, что жизнь коллективного существа может быть разделена не больше, чем жизнь отдельного человека; что, хотя дни могут не походить друг на друга, они неразрывно связаны, и что в общей сумме существования боль и

удовольствие для них общие. Таким образом, если портной для получения стоимости дневного труда потребляет в десять раз больше продукта дневного труда ткача, это все равно, как если бы ткач отдал десять дней своей жизни за один день портного. Именно это и происходит, когда крестьянин платит двенадцать франков адвокату за документ, на подготовку которого у него уходит час; и это неравенство, эта несправедливость в обмене является самой могущественной причиной нищеты, которую вскрыли социалисты, — в чем экономисты признаются втайне, ожидая знака от хозяина, который позволит им признать это открыто.

Каждая ошибка в коммутативном правосудии - это принесение в жертву работника, переливание крови одного человека в тело другого Пусть никто не пугается; У меня нет намерения обрушивать на собственность раздражающую филиппику; тем более что я думаю, что, согласно моим принципам, человечество никогда не ошибается; что, утвердившись сначала на праве собственности, оно лишь заложило один из принципов своей будущей организации; и что после уничтожения преобладания собственности остается только свести эту знаменитую противоположность к единству. . Со всеми возражениями, которые могут быть выдвинуты в пользу собственности, я знаком так же хорошо, как и любой из моих критиков, которых я прошу об одолжении отвести душу, когда логика подводит их. Как может быть ЦЕННЫМ богатство, которое не измеряется трудом? И если именно труд создает богатство и узаконивает собственность, как объяснить потребление бездельника? Где честность в системе распределения, при которой продукт стоит, по мнению человека, то больше, то меньше, чем он стоит.

Идеи Сэя привели к принятию аграрного закона; поэтому консервативная партия поспешила выразить против них протест. "Первоначальный источник богатства, - сказал М. Росси, - это труд. Провозглашая этот великий принцип, промышленная школа выдвинула на первый план не только экономический принцип, но и тот социальный факт, который в руках опытного историка становится самым надежным ориентиром в следовании за человеческой расой в ее походах и остановках на лице земли ".

Почему, произнеся эти глубокие слова в своих лекциях, М. Росси счел своим долгом впоследствии отказаться от них в рецензии и необоснованно скомпрометировать свое достоинство философа и экономиста?

"Говорите, что богатство является результатом только труда; утверждайте, что труд всегда является мерой стоимости, регулятором цен; и все же, чтобы так или иначе избежать возражений, которые эти доктрины вызывают у всех, одни неполные, другие абсолютные, вам придется обобщить идею труда и заменить анализ совершенно ошибочным синтезом".

Я сожалею, что такой человек, как мсье Росси, натолкнул меня на столь печальную мысль; но, читая отрывок, который я только что процитировал, я не мог удержаться от того, чтобы не сказать: наука и истина утратили свое влияние: нынешний объект поклонения - магазин, а вслед за магазином - отчаянный конституционализм, который его олицетворяет. К кому же тогда обращается М. Росси? Выступает ли он за труд или за что-то другое; за анализ или синтез? Выступает ли он за все эти вещи сразу? Пусть он выбирает, ибо вывод неизбежно будет против него.

Если труд является источником всех богатств, если он является самым надежным ориентиром в отслеживании истории человеческих институтов на лице земли, почему равенство распределения, измеряемое трудом, не должно быть законом?

Если, напротив, существует богатство, которое не является продуктом труда, почему обладание им является привилегией? Где законность монополии? Объясните же раз навсегда эту теорию права на непроизводительное потребление; эту юриспруденцию каприза, эту религию праздности, священную прерогативу касты избранных.

В чем же теперь смысл этого обращения от АНАЛИЗА к ложным суждениям синтеза? Эти метафизические термины бесполезны, разве что для внушения идей простакам, которые не подозревают, что одно и то же утверждение может быть истолковано безразлично и по своему желанию аналитически или синтетически. ТРУД - ЭТО ПРИНЦИП ЦЕННОСТИ И ИСТОЧНИК БОГАТСТВА: аналитическое утверждение, подобное тому, которое нравится М. Росси, поскольку оно представляет собой краткое изложение анализа, в котором демонстрируется, что первоначальное понятие труда идентично последующим понятиям продукта, стоимости, капитала, богатства и т.д. Тем не менее, мы видим, что М. Росси отвергает доктрину, вытекающую из этого анализа. ТРУД, КАПИТАЛ И ЗЕМЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ БОГАТСТВА: синтетическое утверждение, именно такое, которое не нравится М. Росси. Действительно, богатство рассматривается здесь как общее понятие, создаваемое тремя различными, но не идентичными способами. И все же М. Росси предпочитает сформулированную таким образом доктрину. Теперь, не угодно ли господину Росси, чтобы мы изложили его теорию монополии аналитически, а нашу теорию труда синтетически? Я могу доставить ему удовольствие. . . . Но мне, как столь серьезному человеку, следовало бы покраснеть, продолжая подобную травлю. М. Росси лучше, чем кто-либо другой, знает, что анализ и синтез сами по себе абсолютно ничего не доказывают и что важная работа, как сказал Бэкон, заключается в проведении точных сравнений и полных перечислений.

Поскольку мсье Росси был склонен к абстракциям, почему он не сказал фаланге экономистов, которые с таким уважением прислушиваются к малейшему слову, срывающемуся с его губ:

"Капитал - это МАТЕРИАЛ богатства, как золото и серебро - материал денег, как пшеница - материал хлеба, и, прослеживая ряд до конца, как земля, вода, огонь и воздух - материал всех наших продуктов. Но именно труд, только труд, последовательно создает каждую полезность, придаваемую этим МАТЕРИАЛАМ, и, следовательно, превращает их в капитал и богатство. Капитал — это результат труда, то есть реализованный интеллект и жизнь, подобно тому как животные и растения являются воплощением души вселенной, а шедевры Гомера, Рафаэля и Россини являются выражением их идей и чувств. Ценность - это пропорция, в которой все реализации человеческой души должны уравнивать друг друга, чтобы создать гармоничное целое, которое, будучи богатством, дает нам благополучие, или, скорее, является признаком, а не целью нашего счастья.

"Утверждение "НЕТ МЕРЫ ЦЕННОСТИ" нелогично и противоречиво, как показывают сами аргументы, которые были предложены в его поддержку.

"Положение о ТОМ, ЧТО ТРУД - ЭТО ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ЦЕННОСТЕЙ, не только верно, поскольку оно вытекает из неопровержимого анализа, но и является объектом прогресса, условием и формой социального благополучия, началом и концом политической

экономии. Из этого утверждения и вытекающих из него выводов следует догма равенства условий: КАЖДЫЙ ПРОДУКТ СТОИТ ТОГО, ЧЕГО ОН СТОИТ, и ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТСЯ ЗА продукты.

"Идея стоимости социально устроен, или пропорциональности значений, служит для того, чтобы объяснить далее: (а) как механическим изобретением, несмотря на привилегии, которые она создает временные и волнения, которые она раз, всегда производят в конце общего улучшения; (б) как значение экономичный процесс для своего первооткрывателя никогда не может быть равна прибыли, которые он реализует в обществе; (с) как, череда колебаний между спросом и предложением, ценность каждого продукта постоянно стремимся к уровню затрат и потребности, на потребление, и поэтому стремится утвердить себя в фиксированном и позитивной манере; (d) каким образом, коллективное производство, постоянно увеличивая количество потребляемых вещей, а днем работать постоянно получать высшее и среднее оплаты труда должны покинуть избытком для каждого производителя; (е) как объем работы предстоит сделать, вместо того, чтобы уменьшились на промышленный прогресс, всегда увеличивается в количестве и качестве—то есть, по интенсивности и сложности во всех отраслях промышленности; (F) как социальной ценности постоянно устраняет фиктивные ценности,—иными словами, как промышленность эффекты социализации капитала и имущества; (Г) наконец, как распределение продуктов, растущих в закономерность с силой поручительства, вытекающие из Конституции стоимости, толкает общество вперед, чтобы равенство условий и состояний.

Наконец, нам раскрывается теория последовательного формирования всех коммерческих ценностей, подразумевающая бесконечный прогресс труда, богатства и благополучия, цель общества с экономической точки зрения: ПРОИЗВОДИТЬ НЕПРЕРЫВНО, ЗАТРАЧИВАЯ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ТРУДА НА КАЖДЫЙ ПРОДУКТ, КАК МОЖНО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ ЦЕННОСТЕЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЖДОМУ ИНДИВИДУ НАИБОЛЬШЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ, МОРАЛЬНОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, А РАСЕ - ВЫСОЧАЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВО И БЕСКОНЕЧНУЮ СЛАВУ.

Теперь, когда мы не без труда определили смысл вопроса, заданного Академией моральных наук относительно колебаний прибыли и заработной платы, пришло время приступить к основной части нашей работы. Везде, где труд не был обобществлен, то есть везде, где стоимость не определяется синтетически, в обмене царят нерегулярность и нечестность; война хитростей и засад; препятствие производству, обращению и потреблению; непроизводительный труд; ненадежность; разграбление; нерасторжимость; нужда; роскошь; но в то же время гений общества стремится добиться справедливости и постоянно стремится к объединению и порядку. Политическая экономия - это просто история этой великой борьбы. С одной стороны, действительно, политическая экономия, поскольку она санкционирует аномалии стоимости и прерогативы эгоизма и претендует на то, чтобы увековечить их, действительно является теорией несчастья и организации нищеты; но поскольку она объясняет средства, изобретенные цивилизацией для уничтожения бедности, хотя эти средства всегда использовались исключительно в интересах монополии, политическая экономия является преамбулой организации богатства.

Таким образом, важно возобновить изучение экономических фактов и практик, раскрыть их значение и сформулировать их философию. Пока это не будет сделано, невозможно получить

никаких знаний о социальном прогрессе и предпринять какие-либо реформы. Ошибка социализма до сих пор заключалась в увековечении религиозных мечтаний, устремляясь вперед, в фантастическое будущее, вместо того чтобы ухватиться за реальность, которая его сокрушает; так же как ошибка экономистов заключалась в том, что они рассматривали каждый свершившийся факт как предписание против любого предложения реформы.

Что касается меня, то такова не моя концепция экономической науки, истинной социальной науки. Вместо того чтобы предлагать априорные аргументы в качестве решения грандиозных проблем организации труда и распределения богатства, я подвергну сомнению политическую экономию как хранилище тайных мыслей человечества; я заставлю ее раскрыть факты в порядке их возникновения и приведу их свидетельства, не смешивая их со своими собственными. Это будет одновременно триумфальная и прискорбная история, действующими лицами в которой будут идеи, эпизодами - теории, а датами - формулы.

ГЛАВА III.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.—ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.—РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА.

Фундаментальной идеей, доминирующей категорией политической экономии является ЦЕННОСТЬ.

Ценность достигает своего положительного определения в результате серии колебаний между СПРОСОМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Следовательно, ценность последовательно проявляется в трех аспектах: полезной ценности, меновой ценности и синтетической, или социальной, ценности, которая является истинной ценностью. Первый термин порождает второй в противоречии с ним, а два вместе, поглощая друг друга во взаимном проникновении, порождают третий: так что противоречие или антагонизм идей оказывается отправной точкой всей экономической науки, позволяя нам сказать о нем, пародируя фразу Тертуллиана по отношению к Евангелию, *Credo quia absurdum*: В социальной экономике скрытая истина присутствует везде, где есть явное противоречие, *Credo quia contrarium*.

Таким образом, с точки зрения политической экономии социальный прогресс заключается в постоянном решении проблемы формирования ценностей, или пропорциональности и солидарности продуктов.

Но в то время как в Природе синтез противоположностей происходит одновременно с их противостоянием, в обществе антитетические элементы, по-видимому, появляются с большими интервалами и достигают решения только после долгих и бурных колебаний. Таким образом, нет примера — даже идея немыслима — долины без холма, левого направления без правого, северного полюса без южного полюса, палки с одним концом или с двумя концами без середины и т.д. Человеческое тело, с его столь совершенно противоположной дихотомией, формируется целостно в самый момент зачатия; оно отказывается быть собранным воедино и разложенным по частям, подобно одежде по его образцу, которая позже должна его прикрыть.[10]

[10] Тонкий филолог М. Пол Аккерман показал, используя французский язык в качестве иллюстрации, что, поскольку каждое слово в языке имеет свою противоположность, или, как

называет это автор, антоним, весь словарный запас может быть организован парами, образуя обширную дуалистическую систему. (Смотрите Словарь антонимов. Пауль Аккерман. Paris: Brockhaus & Avenarius. 1842)

Напротив, в обществе, так же как и в сознании, идея далека от того, чтобы одним прыжком достичь своей полной реализации, своего рода пропасть разделяет, так сказать, две антиномические позиции, и даже когда они наконец осознаются, мы все еще не видим, каким будет синтез. Примитивные концепции должны быть, так сказать, оплодотворены жгучими спорами и страстной борьбой; кровавые сражения станут предварительным этапом установления мира. В настоящий момент Европа, уставшая от войн и дискуссий, ждет примиряющего принципа; и именно смутное восприятие этой ситуации побуждает Академию моральных и политических наук спросить: "Каковы общие факты, которые управляют отношениями прибыли к заработной плате и определяют их колебания?" другими словами, каковы наиболее заметные эпизоды и наиболее примечательные фазы войны между трудом и капиталом?

Итак, если я докажу, что политическая экономия со всеми ее противоречивыми гипотезами и двусмысленными выводами есть не что иное, как организация привилегий и нищеты, я докажу тем самым, что она косвенно содержит обещание организации труда и равенства, поскольку, как было сказано, каждое систематическое противоречие является объявлением о сочинении; более того, я изложу основы этого сочинения. Тогда, действительно, раскрыть систему экономических противоречий - значит заложить основы всеобщей ассоциации; показать, как продукты коллективного труда **ВЫХОДЯТ** из общества, значит объяснить, как можно заставить их **ВЕРНУТЬСЯ** в него; показать генезис проблем производства и распределения - значит подготовить путь к их решению. Все эти утверждения идентичны и одинаково очевидны.

% 1.Антагонистические эффекты принципа разделения.

Все люди равны в состоянии первобытного коммунизма, равны в своей наготе и невежестве, равны в неограниченной силе своих способностей. Экономисты обычно рассматривают только первый из этих аспектов; вторым они пренебрегают или упускают из виду. Тем не менее, согласно глубочайшим философам современности, Ларошфуко, Гельвецию, Канту, Фихте, Гегелю, Жакото, интеллект индивидуумов различается только **КАЧЕСТВЕННО**, каждый из них обладает, таким образом, своей собственной особенностью или гениальностью; по своей сути, а именно, суждением, он количественно одинаков у всех. Отсюда следует, что немного раньше или немного позже, в зависимости от того, будут обстоятельства более или менее благоприятными, общий прогресс должен привести всех людей от первоначального и негативного равенства к позитивному равенству талантов и приобретений.

Я настаиваю на этом драгоценном факте психологии, необходимым следствием которого является то, что **ИЕРАРХИЯ СПОСОБНОСТЕЙ** отныне не может быть допущена в качестве принципа и закона организации: только равенство является нашим правилом, поскольку оно также является нашим идеалом. Затем, точно так же, как равенство страданий должно постепенно смениться равенством благосостояния, как мы доказали с помощью теории ценности, так и равенство умов, негативное вначале, поскольку оно представляет собой только пустоту, должно вновь проявиться в позитивной форме по завершении образования человечества. Интеллектуальное движение протекает параллельно с экономическим движением; они являются выражением, трансляцией друг друга; психология и социальная

экономика находятся в согласии, или, скорее, они просто разворачивают одну и ту же историю, каждая с разной точки зрения. Это особенно ярко проявляется в великом законе Смита о РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА.

Рассматриваемое по своей сути разделение труда - это способ реализации равенства условий и интеллекта. Благодаря разнообразию функций это приводит к пропорциональности продуктов и равновесию в обмене и, следовательно, открывает нам дорогу к богатству; также, показывая нам бесконечность повсюду в искусстве и Природе, это приводит нас к идеализации наших действий и делает творческий разум — то есть саму божественность, *mentem diviniorem* — имманентным и ощутимым во всех рабочих.

Таким образом, разделение труда является первой фазой экономической эволюции, а также интеллектуального развития: наша отправная точка верна как в отношении человека, так и в отношении вещей, и ход нашего изложения никоим образом не является произвольным.

Но в этот торжественный час разделения труда на человечество начинают дуть бурные ветры. Прогресс не улучшает состояние всех одинаково, хотя в конечном итоге он должен охватить и преобразить каждое разумное и трудолюбивое существо. Она начинается с овладения небольшим числом привилегированных лиц, которые, таким образом, составляют элиту наций, в то время как масса продолжает или даже еще глубже погружается в варварство. Именно это исключение людей со стороны прогресса увековечило веру в естественное и провиденциальное неравенство условий, породило касты и придало иерархическую форму всем обществам. Не было понято, что всякое неравенство, никогда не являясь чем-то большим, чем отрицание, несет в себе доказательство своей незаконности и объявление о своем падении; и еще меньше предполагалось, что это же самое неравенство возникает случайно из-за причины, скрытым следствием которой должно быть его полное исчезновение.

Таким образом, антиномия ценности, вновь проявляющаяся в законе разделения, обнаруживает, что первый и самый мощный инструмент познания и богатства, который Провидение вложило в наши руки, стал для нас инструментом нищеты и слабоумия. Вот формула этого нового закона антагонизма, которому мы обязаны двумя древнейшими болезнями цивилизации, аристократии и пролетариата: Труд, разделяясь в соответствии с присущим ему законом, который является первичным условием его производительности, приводит к крушению своих собственных целей и уничтожает сам себя, другими словами: Разделение, без которого нет ни прогресса, ни богатства, ни равенства, подчиняет рабочего и делает интеллект бесполезным, богатство вредным, а равенство невозможным. Все экономисты, начиная с Адама Смита, указывали на ПРЕИМУЩЕСТВА и НЕУДОБСТВА закона разделения, но в то же время гораздо более настойчиво настаивали на первом, чем на втором, потому что такой подход больше соответствовал их оптимистическим взглядам, и ни один из них никогда не задавался вопросом, каким образом ЗАКОН может иметь НЕУДОБСТВА. Вот как Дж. Би Сэй подытожил этот вопрос: —

"Человек, который в течение всей своей жизни выполняет только одну операцию, несомненно, приобретает способность выполнять ее лучше и охотнее, чем другую; но в то же время он становится менее способным к какому-либо другому занятию, физическому или моральному; другие его способности угасают, и в результате происходит вырождение отдельного человека. То, что кто-то сделал только восемнадцатую часть булавки, - печальный отчет о самом себе: но пусть никто не воображает, что только рабочий, проводящий свою жизнь в обращении с

напильником или молотком, вырождается таким образом из достоинства своей натуры; то же самое происходит и с человеком, чье положение побуждает его проявлять самые тонкие способности своего ума ... В целом, можно сказать, что разделение задач является выгодным использованием человеческих сил; что оно чрезвычайно увеличивает продукцию общества; но что оно отнимает что-то от способностей каждого человека, взятого в отдельности. ."[11]

[11] "Трактат по политической экономии".

Что же тогда, после труда, является основной причиной увеличения богатства и мастерства работников? Разделение.

Что является основной причиной интеллектуального вырождения и, как мы будем постоянно показывать, нищеты цивилизации? Разделение.

Как один и тот же принцип, строго соблюдаемый до его выводов, приводит к диаметрально противоположным эффектам? Ни до, ни после Адама Смита не было экономиста, который хотя бы понимал, что это проблема, требующая решения. Сэй заходит так далеко, что признает, что при разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает и зло; затем, после нескольких слов сочувствия к жертвам разделения отраслей, довольствуясь беспристрастным и точным изложением фактов, он оставляет этот вопрос на этом. "Вы знаете, - как бы говорит он, - что чем больше мы разделяем задачи рабочих, тем больше увеличиваем производительную силу труда; но в то же время тем больше труд, постепенно сводящийся к механической операции, притупляет разум".

Напрасно мы выражаем наше возмущение теорией, которая, создавая самим трудом аристократию способностей, неизбежно ведет к политическому неравенству; напрасно мы протестуем во имя демократии и прогресса, что в будущем не будет ни дворянства, ни буржуазии, ни парий. Экономист отвечает с невозмутимостью судьбы: вы обречены производить много и дешево; в противном случае ваша промышленность всегда будет незначительной, ваша торговля сведется к нулю, и вы будете плестись в хвосте цивилизации, вместо того чтобы возглавлять ее.—Что? среди нас, великодушных людей, есть некоторые, обреченные на жестокость; и чем совершеннее становится наше усердие, тем больше будет расти число наших проклятых братьев! —Увы! Это последнее слово экономиста.

Мы не можем не признать в разделении труда, как общем факте и как причине, все характеристики ЗАКОНА; но поскольку этот закон управляет двумя категориями явлений, радикально противоположных и разрушающих друг друга, следует также признать, что этот закон неизвестен точным наукам, — что это, как ни странно, противоречивый закон, контрзакон, антиномия. Добавим, предваряя, что это, по-видимому, является отличительной чертой социальной экономики, а следовательно, и философии.

Итак, без ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ труда, которое устранило бы неудобства разделения при сохранении его полезных эффектов, противоречие, заложенное в принципе, неустранимо. Необходимо, — следуя стилю еврейских священников, замышлявших смерть Христа, — необходимо, чтобы бедняки погибли, чтобы обеспечить собственнику его содержание, *expedit unum hominem pro populo mori*. Я собираюсь продемонстрировать необходимость этого указа; после чего, если парцеллярный рабочий все еще сохранит проблеск разума, он будет утешать себя мыслью, что умирает в соответствии с правилами политической экономии.

Труд, который должен давать простор совести и делать ее все более и более достойной счастья, приводя через парцеллярное разделение к упадку разума, затмевает человека в его самой благородной части, *minorat capitis*, и отбрасывает его обратно в животное состояние. С этого момента падший человек трудится как скотина, и, следовательно, с ним нужно обращаться как с животным. Этот приговор Природы и необходимости общество приведет в исполнение.

Первым результатом парцеллярного труда, после развращения разума, является удлинение часов труда, которые увеличиваются обратно пропорционально количеству затраченного интеллекта. Ибо при одновременном увеличении количества и качества продукта, если каким-либо промышленным усовершенствованием труд облегчается одним способом, он должен оплачиваться другим. Но поскольку продолжительность рабочего дня не может превышать шестнадцати-восемнадцати часов, то, когда компенсация больше не может быть произведена вовремя, она будет вычтена из цены, и заработная плата уменьшится. И это снижение произойдет не потому, как было глупо вообразено, что стоимость по существу произвольна, а потому, что она по существу поддается определению. Не имеет значения, что борьба между спросом и предложением заканчивается то в пользу работодателя, то в пользу работника; такие колебания могут варьироваться по амплитуде, это зависит от хорошо известных дополнительных обстоятельств, которые оценивались тысячу раз. Определенный момент, и единственный, на который нам следует сейчас обратить внимание, заключается в том, что всеобщее сознание не устанавливает одинаковую цену за труд надсмотрщика и за работу носильщика. Следовательно, необходимо снижение цены за дневную работу, так что рабочий, после того как его ум был огорчен унижительной работой, не может не быть поражен и телом скудостью своего вознаграждения. Это буквальное применение слов Евангелия: У ТОГО, КТО НЕ ИМЕЕТ, ОТНИМЕТСЯ ДАЖЕ ТО, ЧТО ОН ИМЕЕТ.

В экономических случайностях есть безжалостный разум, который смеется над религией и равенством как над политическими афоризмами и который делает человека счастливым или несчастным в зависимости от того, повинуется он предписаниям судьбы или избегает их. Конечно, это далеко от того христианского милосердия, которым сегодня вдохновлены столь многие уважаемые писатели и которое, проникая в сердца буржуазии, пытается смягчить суровость закона с помощью многочисленных религиозных институтов. Политическая экономия знает только справедливость, такую же негибкую и неподатливую, как кошелек скряги; и именно потому, что политическая экономия является результатом социальной спонтанности и выражением божественной воли, я смог сказать: Бог - противник человека, а Провидение - человеконенавистник. Бог заставляет нас расплачиваться кровью и слезами за каждый из наших уроков; и чтобы довершить зло, мы в наших отношениях с нашими собратьями все поступаем подобно ему. Где же тогда эта любовь небесного отца к своим созданиям? Где человеческое братство?

Может ли он поступить иначе? говорят теисты. Человек пал, животное осталось: как мог Творец распознать в нем свой собственный образ? И что может быть яснее, чем то, что он обращается с ним тогда как с вьючным животным? Но испытание не будет длиться вечно, и рано или поздно труд, будучи КОНКРЕТИЗИРОВАННЫМ, будет синтезирован.

Таков обычный аргумент всех тех, кто пытается оправдать Провидение, но, как правило, преуспевает лишь в том, что предоставляет атеизму новое оружие. Это значит, что Бог шесть тысяч лет завидовал бы нам идее, которая спасла бы миллионы жертв, - распределению труда,

одновременно особому и синтетическому! Взамен он дал нам через своих слуг Моисея, Будду, Зороастра, Магомета и т.д. эти безвкусовые писания, позорящие наш разум, которые убили больше людей, чем содержат буквы! Далее, если мы должны верить первобытному откровению, социальная экономика была проклятой наукой, плодом дерева, предназначенного для Бога, к которому человеку было запрещено прикасаться! Почему это религиозное обесценивание труда, если верно, как уже показывает экономическая наука, что труд - отец любви и источник счастья? Откуда эта зависть к нашему прогрессу? Но если, как теперь достаточно очевидно, наш прогресс зависит только от нас самих, какой смысл поклоняться этому призраку божества и чего он все еще просит от нас через множество вдохновенных людей, которые преследуют нас своими проповедями? Все вы, христиане, протестанты и ортодоксы, приверженцы нового откровения, шарлатаны и простофили, послушайте первый куплет гуманитарного гимна о Божьей милости: "По мере того, как принцип разделения труда получает полное применение, работник становится слабее, убогее и зависимее. Искусство продвигается вперед: ремесленник отстывает!"[12]

[12] Токвиль, "Демократия в Америке".

Тогда давайте остерегаться предвосхищающих выводов и предвзятого отношения к последнему откровению опыта. В настоящее время Бог кажется скорее враждебным, чем благосклонным: давайте ограничимся констатацией этого факта.

Точно так же, как политическая экономия, находясь в своей исходной точке, помогла нам понять эти таинственные и мрачные слова: ПО МЕРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДАЖНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ; точно так же, достигнув своей первой станции, она предупреждает нас грозным голосом: ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА РЕМЕСЛЕННИК ОТСТУПАЕТ. Чтобы лучше закрепить идеи, давайте приведем несколько примеров.

Кто из наемных работников наименее трудолюбив во всех отраслях металлообработки? Именно те, кого называют МАШИНИСТАМИ. Поскольку инструменты были так превосходно усовершенствованы, машинист - это просто человек, который знает, как обращаться с напильником или рубанком: что касается механики, то это дело инженеров и бригадиров. Деревенский кузнец часто объединяет в себе, по самой необходимости своего положения, различные таланты слесаря, изготовителя режущего инструмента, оружейника, машиниста, колесника и коневодческого врача: мыслящий мир был бы поражен знаниями, заключенными в молотке этого человека, которого люди, всегда склонные к шутке, прозвали брюлером. Рабочий из Крезе, который в течение десяти лет видел все самое грандиозное и прекрасное, что может предложить его профессия, выйдя из своей мастерской, обнаруживает, что не в состоянии оказать ни малейшей услуги или заработать себе на жизнь. Неспособность субъекта прямо пропорциональна совершенству искусства; и это так же верно для всех профессий, как и для обработки металла.

Заработная плата машинистов пока поддерживается на высоком уровне: рано или поздно их заработная плата должна снизиться, поскольку низкое качество рабочей силы не в состоянии ее поддерживать.

Я только что процитировал механическое искусство; давайте теперь процитируем либеральную индустрию.

Поверили бы ли когда-нибудь Гутенбург и его трудолюбивые товарищи, Фауст и Шоффер, что из-за разделения труда их возвышенное изобретение окажется в сфере невежества — я чуть было не сказал идиотизма? Мало найдется людей столь слабоумных, столь НЕГРАМОТНЫХ, как масса рабочих, занятых в различных отраслях типографской промышленности, — наборщиков, печатников, наборщиц, переплетчиков и изготовителей бумаги. Печатник, каким он существовал еще во времена Этьеннов, превратился почти в абстракцию. Привлечение женщин к набору текста поразило эту благородную отрасль в самое сердце и довершило ее деградацию. Я видел женщину—наборщика — и она была одной из лучших, — которая не умела читать и была знакома только с формой букв.

Все искусство перешло в руки мастеров и корректоров, скромных образованных людей, которых дерзость авторов и покровителей все еще унижает, и нескольких рабочих, которые являются настоящими художниками. Одним словом, пресса, превратившаяся в простой механизм, по своему ПЕРСОНАЛУ больше не находится на уровне цивилизации: скоро от нее останется лишь несколько сувениров.

Мне сказали, что печатники Парижа пытаются сообща подняться из своего упадка: пусть их усилия не истощатся в тщетном эмпиризме и не превратятся в бесплодные утопии!

После частных отраслей давайте посмотрим на государственное управление.

На государственной службе последствия парцеллярного труда не менее ужасны, не менее интенсивны: во всех административных департаментах, по мере развития искусства, большинство служащих видят, как уменьшается их заработная плата. Почтальон получает от четырехсот до шестисот франков в год, из которых администрация удерживает около десятой части для выплаты пенсии при выходе на пенсию. После тридцати лет труда пенсия, или, скорее, возмещение ущерба, составляет триста франков в год, которые, будучи отданы пенсионером в богадельню, дают ему право на постель, суп и умывание. Мое сердце обливается кровью, когда я это говорю, но, тем не менее, я думаю, что администрация щедра: какую награду вы бы дали человеку, вся функция которого состоит в ходьбе? Легенда дает Странствующему еврею всего ПЯТЬ СУ; разносчики писем получают по двадцать или тридцать; правда, у большей части из них есть семья. Та часть службы, которая требует применения интеллектуальных способностей, предназначена для почтальонов и клерков: им лучше платят; они выполняют работу мужчин.

Итак, повсюду, как на государственной службе, так и в свободной промышленности, дела устроены так, что девять десятых рабочих служат вьючными животными для другой десятой: таково неизбежное следствие промышленного прогресса и неременное условие всякого богатства. Важно хорошо усвоить эту элементарную истину, прежде чем говорить с людьми о равенстве, свободе, демократических институтах и других утопиях, реализация которых предполагает предшествующую полную революцию в отношениях трудящихся.

Самым замечательным результатом разделения труда является упадок литературы.

В Средние века и в античности литератор, своего рода доктор-энциклопедист, преемник трубадура и поэта, всезнающий, был всемогущим. Литература властно властвовала над обществом; короли добивались благосклонности авторов или мстили себе за их презрение, сжигая их — их самих и их книги. Это тоже был способ признания литературного суверенитета.

Сегодня у нас есть промышленники, юристы, врачи, банкиры, торговцы, профессора, инженеры, библиотекари и т.д.; У нас нет литераторов. Или, скорее, тот, кто достиг замечательных высот в своей профессии, тем самым и по необходимости получает известность: литература, как и бакалавриат, стала элементарной частью любой профессии. Литератор, если свести его к самому простому выражению, - это **ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ**, своего рода писательский комиссар, которому платят все, и самая известная разновидность которого - журналист.

Четыре года назад Палатам пришла в голову странная идея — принять закон о литературной собственности! Как будто отныне идея не заключалась в том, чтобы становиться все более и более важнейшим моментом, а стиль - ничем. Слава Богу, парламентскому красноречию, как и эпической поэзии и мифологии, пришел конец; театр редко привлекает бизнесменов и ученых; и в то время как знатоки поражаются упадку искусства, наблюдатель-философ видит только прогресс человеческого разума, скорее обеспокоенный, чем радующийся этим изящным мелочам. Интерес к роману сохраняется только до тех пор, пока он напоминает реальность; история сводится к антропологической экзегезе; действительно, повсюду искусство хорошо говорить выступает как второстепенное вспомогательное средство идеи, факта. Поклонением речи, слишком запутанной и медлительной для нетерпеливых умов, пренебрегают, и ее уловки с каждым днем теряют свою обольстительную силу. Язык девятнадцатого века состоит из фактов и цифр, и он самый красноречивый из нас, кто с наименьшим количеством слов может сказать больше всего. Тот, кто не может говорить на этом языке, безжалостно низводится до ранга риторов; говорят, что у него нет идей.

В молодом обществе развитие литературы неизбежно опережает философский и промышленный прогресс и долгое время служит выражению того и другого. Но наступает день, когда мысль оставляет язык на задворках, и когда, следовательно, сохраняющееся превосходство литературы в обществе становится верным симптомом упадка. Язык, по сути, является для каждого народа собранием его исконных идей, энциклопедией, которую Провидение впервые открывает ему; это поле, которое его разум должен возделывать, прежде чем напрямую атаковать Природу посредством наблюдения и опыта. Теперь, как только нация, исчерпав знания, содержащиеся в ее словаре, вместо того, чтобы продолжить свое образование с помощью высшей философии, заворачивается в свою поэтическую мантию и начинает играть со своими периодами и полустихами, мы можем с уверенностью сказать, что такое общество погибло. Все в ней станет утонченным, узким и фальшивым; у нее не будет даже преимущества поддерживать в своем великолепии язык, в который она безрассудно влюблена; вместо того, чтобы идти вперед по пути гениев переходного периода, Тацита, Фукидида, Макиавелли и Монтескье, она с непреодолимой силой упадет от величия Цицерона к утонченности Сенеки, антитезисам Св. Августина и каламбуры святого Бернарда.

Итак, пусть никто не обманывается: с того момента, как ум, поначалу полностью занятый речью, переходит к опыту и труду, литератор, собственно говоря, является просто ничтожным олицетворением наименьшей из наших способностей; а литература, отбросы разумной промышленности, находит сбыт только у бездельников, которых она развлекает, и у пролетариев, которых она очаровывает, у фокусников, которые осаждают власть, и шарлатанов, которые прикрываются ею, у иерофантов божественного права, трубящих в Синайскую трубу, и у тех, кто не верит в бога. фанатичные проповедники суверенитета народа, чьи немногочисленные ораторы, вынужденные упражняться в трибунском красноречии из гробниц,

пока не смогут изливать его с высоты трибун, не знают ничего лучшего, как выставять на всеобщее обозрение пародии на Гракха и Демосфена.

Таким образом, все силы общества согласны на бесконечное ухудшение положения частного работника; и опыт, повсеместно подтверждающий теорию, доказывает, что этот работник с самого рождения обречен на несчастья, и никакие политические реформы, никакое объединение интересов, никакие усилия общественной благотворительности или обучения не способны ему помочь.

Различные конкретизации, предлагаемые в наши последние дни, отнюдь не способны излечить зло, а скорее усугубляют его раздражением; и все, что было написано по этому вопросу, лишь выставило в ясном свете порочный круг политической экономии.

Это мы продемонстрируем в нескольких словах.

% 2.—Бессилие паллиативных средств. Бланки, Шевалье, Дюнуайе, Росси и Пасси.

Все предлагаемые средства от пагубных последствий парцеллярного разделения можно свести к двум, которые на самом деле являются всего лишь одним, причем второе является противоположностью первого: улучшить умственное и моральное состояние рабочего путем повышения его комфорта и достоинства; или же подготовить путь к его будущей эмансипации и счастью путем обучения.

Мы рассмотрим последовательно эти две системы, одна из которых представлена М. Бланки, другая - м. Шевалье.

Г-н Бланки - сторонник объединения и прогресса, писатель демократических тенденций, профессор, который занимает место в сердцах пролетариата. В своей вступительной речи 1845 года г-н Бланки провозгласил в качестве средства спасения объединение труда и капитала, участие рабочего в прибыли, то есть начало производственной солидарности. "Наш век, - воскликнул он, - должен стать свидетелем рождения коллективного производителя". Г-н Бланки забывает, что коллективный производитель родился давным-давно, так же как и коллективный потребитель, и что вопрос уже не генетический, а медицинский. Наша задача состоит в том, чтобы заставить кровь, поступающую в результате коллективного пищеварения, вместо того, чтобы целиком устремляться к голове, желудку и легким, стекать также в ноги и руки. Кроме того, я не знаю, какой метод предлагает применить г-н Бланки, чтобы осуществить свою великодушную мысль, - будет ли это учреждение национальных мастерских, или предоставление государством займа капитала, или экспроприация руководителей коммерческих предприятий и замена их промышленными ассоциациями, или, наконец, удовлетворится ли он рекомендацией сберегательного банка рабочим, и в этом случае участие в нем было бы отложено до конца света.

Как бы то ни было, идея г-на Бланки сводится просто к увеличению заработной платы в результате сотрудничества или, по крайней мере, интереса к бизнесу, который он проявляет к рабочим. Какова же тогда ценность участия рабочего в прибыли?

Фабрика с пятнадцатью тысячами веретен, на которой занято триста рабочих, не выплачивает в настоящее время ежегодных дивидендов в размере двадцати тысяч франков. Производитель из Мюлуза сообщил мне, что производственные запасы в Эльзасе, как правило, ниже

номинальной стоимости и что эта отрасль уже стала средством получения денег за счет **ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ**, а не за счет **РАБОЧЕЙ СИЛЫ**. **ПРОДАВАТЬ**; продавать в нужное время; продавать дорого — вот единственная цель, стоящая перед нами; производить - это только готовиться к продаже. Таким образом, если я предполагаю, что в среднем фабрика, на которой занято триста человек, получит прибыль в размере двадцати тысяч франков, то, исходя из моих общих аргументов, я теряю двадцать тысяч франков. Тем не менее, мы признаем правильность этой суммы. Разделив двадцать тысяч франков, прибыль фабрики, на триста, количество человек, и снова на триста, количество рабочих дней, я получаю прибавку к жалованью на каждого человека в двадцать два и одну пятую сантимов, или к ежедневным расходам прибавку в восемнадцать сантимов, то есть всего на кусок хлеба. Стоит ли тогда для этого экспроприировать владельцев фабрик и подвергать опасности общественное благосостояние, возводя учреждения, которые должны быть ненадежными, поскольку, поскольку собственность разделена на бесконечно малые доли и больше не поддерживается прибылью, коммерческим предприятиям не хватило бы балласта, и они были бы неспособны выдерживать коммерческие бури. И даже если бы не было экспроприации, какая плохая перспектива предложить рабочему классу прибавку в восемнадцать сантимов в обмен на столетия экономии; для накопления необходимого капитала потребовалось бы не меньше времени, чем это, при условии, что периодические приостановки бизнеса периодически не истощали его сбережения!

Факт, который я только что констатировал, был отмечен несколькими способами. мсье Пасси[13] сам вычислил из бухгалтерских книг фабрики в Нормандии, где рабочие были связаны с владельцем, заработную плату нескольких семей за десятилетний период и обнаружил, что она составляла в среднем от двенадцати до четырнадцати сотен франков в год. Затем он сравнил положение рабочих, которым платят пропорционально ценам, получаемым их работодателями, с положением рабочих, получающих фиксированную заработную плату, и обнаружил, что разница почти незаметна. Этот результат можно было легко предвидеть. Экономические явления подчиняются законам столь же абстрактным и неизменным, как законы чисел: только привилегии, мошенничество и абсолютизм нарушают вечную гармонию.

[13] Заседание Академии моральных и политических наук, сентябрь 1845г.

Г-н Бланки, рассказавшийся, по-видимому, в том, что сделал этот первый шаг навстречу социалистическим идеям, поспешил взять свои слова обратно. На том же собрании, на котором мсье Пасси продемонстрировал несостоятельность кооперативного объединения, он воскликнул: "Не кажется ли вам, что труд - это вещь, поддающаяся организации, и что во власти государства регулировать счастье человечества так же, как оно регулирует марш армии, и с совершенно математической точностью? Это злая тенденция, заблуждение, которому Академия не может слишком решительно противостоять, потому что это не только химера, но и опасный софизм. Давайте уважать добрые и честные намерения; но давайте не будем бояться сказать, что опубликовать книгу об **ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА** - все равно что в пятидесятый раз переписать трактат о квадратуре круга или философском камне".

Затем, увлеченный своим рвением, г-н Бланки завершает разрушение своей теории кооперации, которую г-н Пасси уже так грубо поколебал, следующим примером: "Г-н Дайли, один из самых просвещенных фермеров, составил отчет за каждый участок земли и за каждый продукт; и он доказывает, что в течение тридцати лет один и тот же человек никогда не получал одинакового урожая с одного и того же участка земли. Стоимость продукции варьировалась от

двадцати шести тысяч франков до девяти тысяч или семи тысяч франков, иногда доходя до трехсот франков. Есть также определенные продукты — например, картофель, — которые портятся в одном случае из десяти. Как же тогда, при таких колебаниях и при такой неопределенности доходов, мы можем установить равномерное распределение и единую заработную плату для рабочих?"

Можно было бы ответить, что различия в продукте каждого участка земли просто указывают на необходимость объединения собственников друг с другом после объединения рабочих с собственниками, что установило бы более полную солидарность: но это было бы предубеждением в отношении того самого предмета, о котором идет речь, который г-н Бланки после размышления окончательно считает недостижимым, а именно организации труда. Кроме того, очевидно, что солидарность не добавила бы ни гроша к общему богатству и что, следовательно, она даже не затрагивает проблему разделения.

Короче говоря, прибыль, которой так завидуют и которая часто является весьма неопределенным вопросом для работодателей, далеко не соответствует разнице между фактической заработной платой и желаемой; и прежний план г-на Бланки, жалкий по своим результатам и отвергнутый его автором, стал бы бедствием для обрабатывающей промышленности. Теперь, когда разделение труда отныне установлено повсеместно, аргумент обобщен и приводит нас к выводу, что НИЩЕТА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ТРУДА, а также безделья.

Ответ на это таков, и это любимый аргумент людей: повысить цены на услуги; удвоить и утроить заработную плату.

Я признаю, что если бы такое увеличение было возможно, это был бы полный успех, что бы там ни говорил мсье Шевалье, которого нужно немного поправить по этому поводу.

По словам М. Шевалье, если цена на какой бы то ни было товар повысится, другие товары вырастут в той же пропорции, и никто от этого не выиграет.

Этот аргумент, который экономисты репетировали более века, столь же ложен, сколь и стар, и принадлежал он М. Шевалье, как инженер, стремился исправить экономическую традицию. Если жалованье старшего клерка составляет десять франков в день, а заработная плата рабочего - четыре, то, если доход каждого из них увеличится на пять франков, соотношение их состояний, которое раньше составляло сто к сорока, впоследствии составит сто к шестидесяти.

Повышение заработной платы, обязательно происходящее путем прибавления, а не пропорционально, было бы, следовательно, превосходным методом выравнивания; и экономисты заслуживали бы того, чтобы социалисты ответили им упреком в невежестве, который они бросали им наугад.

Но я говорю, что такое увеличение невозможно и что предположение абсурдно: ибо, как очень ясно показал г-н Шевалье в другом месте, цифра, указывающая на цену дневного труда, является всего лишь алгебраическим показателем, не влияющим на реальность; и то, что необходимо в первую очередь попытаться увеличить, исправляя неравенство в распределении, - это не денежное выражение, а количество продуктов. До тех пор всякое повышение заработной платы не может иметь иного эффекта, кроме того, который вызывается повышением

цен на пшеницу, вино, мясо, сахар, мыло, уголь и т. Д., То есть эффекта дефицита. Ибо что такое заработная плата?

Это себестоимость пшеницы, вина, мяса, угля; это интегральная цена всех вещей. Давайте пойдем еще дальше: заработная плата - это пропорциональность элементов, составляющих богатство, которые ежедневно воспроизводственно потребляются массой рабочих. Итак, удвоение заработной платы в том смысле, в каком люди понимают эти слова, означает предоставление каждому производителю доли, превышающей его продукт, что противоречиво; и если повышение касается только нескольких отраслей промышленности, возникает общее нарушение обмена, то есть дефицит. Боже, спаси меня от предсказаний! но, несмотря на мое желание улучшить участь рабочего класса, я заявляю, что забастовки, за которыми следует повышение заработной платы, не могут закончиться иначе, чем всеобщим повышением цен: это так же несомненно, как то, что дважды два будет четыре. Не такими методами рабочие достигнут богатства и — того, что в тысячу раз ценнее богатства, — свободы. Рабочие, поддерживаемые благосклонностью нескромной прессы в требовании повышения заработной платы, послужили монополии гораздо лучше, чем своим собственным реальным интересам: пусть они осознают, когда их положение станет еще более тяжелым, горькие плоды своей неопытности!

Убежденный в бесполезности или, скорее, в пагубных последствиях повышения заработной платы и ясно видящий, что вопрос является полностью органическим, а вовсе не коммерческим, г-н Шевалье подходит к проблеме с другой стороны. Он требует от рабочего класса, прежде всего, обучения и предлагает обширные реформы в этом направлении.

Наставление! это также обращение мсье Араго к рабочим; это принцип всякого прогресса. Наставление! ... Должно быть раз и навсегда известно, чего от этого можно ожидать при решении стоящей перед нами задачи; я говорю, что должно быть известно не то, желательно ли, чтобы все это получили, — в этом никто не сомневается, — а то, возможно ли это.

Чтобы ясно понять всю значимость взглядов мсье Шевалье, необходимо знание его методов.

Месье Шевалье, давно привыкший к дисциплине, сначала благодаря своим занятиям в политехническом институте, затем связям с Сен-Симонианцами и, наконец, своему положению в университете, похоже, не допускает, что у ученика может быть какая-то иная склонность, кроме подчинения правилам, у сектанта могут быть иные мысли, чем у его начальника, у общественного деятеля - иное мнение, чем у правительства. Возможно, это концепция порядка, столь же уважаемая, как и любая другая, и я не слышу по этому поводу никаких выражений одобрения или порицания. Может быть, мсье Шевалье предложит какую-нибудь идею, характерную для него самого? Исходя из принципа, что все, что не запрещено законом, разрешено, он спешит выступить вперед, чтобы высказать свое мнение, а затем отказывается от него, чтобы при случае присоединиться к мнению авторитета. Именно так г-н Шевалье, прежде чем обосноваться в недрах Конституции, присоединился к г-ну Энфантену: именно так он изложил свои взгляды на каналы, железные дороги, финансы, собственность задолго до того, как администрация приняла какую-либо систему в отношении строительства железных дорог, изменения процентной ставки по облигациям, патентам, литературной собственности и т.д.

Таким образом, месье Шевалье не является слепым поклонником университетской системы обучения — отнюдь нет; и до появления нового порядка вещей он не стесняется говорить то, что думает. Его взгляды самые радикальные.

Месье Вильмен сказал в своем отчете: "Цель высшего образования состоит в том, чтобы заранее подготовить выбор мужчин для занятия и службы на всех должностях администрации, магистратуры, адвокатуры и различных свободных профессий, включая высшие звания и изучаемые специальности в армии и флоте".

"Высшее образование, - замечает в этой связи г-н Шевалье[14], - предназначено также для подготовки людей, некоторые из которых будут фермерами, другие - фабрикантами, эти - торговцами, а те - частными инженерами. Теперь, в официальной программе, все эти занятия забыты. Это упущение имеет большое значение; ибо, действительно, промышленность в ее различных формах, сельское хозяйство, торговля, не являются ни вспомогательными, ни случайными элементами в государстве: они являются его главной зависимостью Если университет желает оправдать свое название, он должен преподавать курс в этих областях; в противном случае ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ будет создан в противовес ему У нас будет алтарь против алтаря и т.д. "

[14] Journal des Economistes," April, 1843.

А поскольку для светлой идеи характерно проливать свет на все связанные с ней вопросы, профессиональное обучение дает месье Шевалье очень быстрый способ разрешить, между прочим, спор между духовенством и университетом по поводу свободы образования.

"Следует признать, что духовенству делается очень большая уступка, позволяя латыни служить основой образования. Духовенство знает латынь так же хорошо, как Университет; это их родной язык. Более того, их обучение обходится дешевле; следовательно, они неизбежно должны привлекать большую часть нашей молодежи в свои маленькие семинарии и школы более высокого уровня..."

Вывод, конечно, следует: измените курс обучения, и вы декатолизируете государство; а поскольку духовенство знает только латынь и Библию, когда среди них нет ни мастеров искусств, ни фермеров, ни бухгалтеров; когда из их сорока тысяч священников, возможно, не наберется и двадцати, способных составить план или выковать гвоздь, — мы скоро увидим, что выберут отцы семейств, трудолюбие или требник, и не считают ли они труд самым прекрасным языком, на котором молятся Богу.

Так закончилось бы это нелепое противопоставление религиозного образования и профанной науки, духовного и мирского, разума и веры, алтаря и трона - старые рубрики, отныне потерявшие смысл, но которыми они по-прежнему навязываются доброй природе публики, пока она не оскорбится.

Господин Шевалье, однако, не настаивает на таком решении: он знает, что религия и монархия — это две силы, которые, хотя и постоянно враждуют, не могут существовать друг без друга; и чтобы не возбудить подозрений, он выдвигает другую революционную идею - равенства.

"Франция в состоянии обеспечить политехническую школу в двадцать раз большим количеством студентов, чем поступает в настоящее время (в среднем сто семьдесят шесть

человек, это составило бы три тысячи пятьсот двадцать). Университету остается только сказать свое слово Если бы мое мнение имело хоть какой-то вес, я бы утверждал, что математические способности ГОРАЗДО МЕНЕЕ ОСОБЕННЫЕ, чем принято считать. Я помню успех, с которым дети, взятые, так сказать, наугад с парижских тротуаров, следуют учению Ла Мартиньера по методу капитана Табаро".

Если бы высшее образование, реконструированное в соответствии со взглядами месье Шевалье, было востребовано всеми молодыми французами, а не только девяноста тысячами, как обычно, не было бы преувеличением увеличить оценку числа умов, склонных к математике, с трех тысяч пятисот двадцати до десяти тысяч; но, исходя из того же аргумента, у нас было бы десять тысяч художников, филологов и философов; десять тысяч докторов, терапевтов, химиков и естествоиспытателей; десять тысяч экономистов, юристов и администраторов; двадцать тысяч фабрикантов, бригадиров, купцов и бухгалтеров; сорок тысяч фермеров, виноградарей, шахтеры и т.д. - всего сто тысяч специалистов в год, или около трети нашей молодежи. Остальные, имеющие вместо особых приспособлений только смешанные приспособления, были бы безразлично распределены в других местах.

Несомненно, что столь мощный импульс, данный интеллекту, ускорил бы прогресс равенства, и я не сомневаюсь, что таково тайное желание месье Шевалье. Но именно это меня и беспокоит: в производственных мощностях недостатка нет не больше, чем в населении, и проблема состоит в том, чтобы найти работу для одного и хлеб для другого. Напрасно господин Шевалье говорит нам: "Высшее образование дало бы меньше оснований для жалоб на то, что оно выбрасывает в общество толпы честолюбивых людей, не имеющих никаких средств для удовлетворения своих желаний и заинтересованных в свержении государства; людей без работы и неспособных ее получить, ни на что не годных и считающих себя пригодными ко всему, особенно к руководству общественными делами. Научные исследования не настолько раздувают разум. Они сразу просвещают и регулируют ситуацию; они готовят людей к практической жизни" Такой язык, отвечаю я, хорошо использовать с патриархами: профессор политической экономии должен больше уважать свое положение и свою аудиторию. Правительство ежегодно располагает всего ста двадцатью отделениями для приема ста семидесяти шести студентов в политехническую школу: в чем же тогда было бы его затруднение, если бы число поступающих составило десять тысяч или даже, по подсчетам месье Шевалье, три тысячи пятьсот?

И, обобщая, общее количество гражданских должностей составляет шестьдесят тысяч, или три тысячи вакансий ежегодно; в какое смятение было бы повергнуто правительство, если бы, внезапно приняв реформаторские идеи г-на Шевалье, оно оказалось осажденным пятьюдесятью тысячами соискателей должностей! Республиканцам часто выдвигалось следующее возражение, не требующее ответа: "Когда все будут иметь избирательную привилегию, будут ли депутаты работать лучше и продвинется ли пролетариат дальше?" Я задаю тот же вопрос месье Шевалье: когда каждый учебный год будет приносить вам сто тысяч подготовленных людей, что вы будете с ними делать?

Чтобы обеспечить этих интересных молодых людей, вы спуститесь на самую нижнюю ступеньку лестницы. Вы обяжете молодого человека после пятнадцати лет возвышенной учебы начать, как сейчас, не с должностей начинающего инженера, младшего лейтенанта артиллерии, второго лейтенанта, заместителя, контролера, главного опекуна и т.д., А с низменных должностей первопроходца, солдата поезда, земснаряда, юнги, изготовителя хвороста и акцизного

инспектора. Там он будет ждать, пока смерть, прореживающая ряды, не позволит ему продвинуться хоть на шаг. При таких обстоятельствах человек, окончивший политехническую школу и способный стать Вобаном, может умереть чернорабочим на дороге второго класса или капралом в полку

О! насколько более благоразумным показал себя католицизм и насколько он превзошел всех вас, последователей Святого Симона, республиканцев, университетских деятелей, экономистов, в знании человека и общества! Священник знает, что наша жизнь - всего лишь путешествие и что наше совершенство не может быть реализовано здесь, на земле; и он довольствуется тем, что излагает на земле образование, которое должно быть завершено на небесах. Человек, которого сформировала религия, довольствующийся тем, что знает, делает и добивается того, чего достаточно для его земного предназначения, никогда не сможет стать источником смущения для правительства: скорее он был бы мучеником. О возлюбленная религия! необходимо ли, чтобы буржуазия, которая так нуждается в вас, отреклась от вас? ... В какую ужасную борьбу гордыни и несчастья ввергает нас эта мания всеобщего обучения! Какая польза от профессионального образования, от сельскохозяйственных и коммерческих школ, если у ваших студентов нет ни работы, ни капитала? И зачем до двадцати лет пичкать себя всевозможными знаниями, чтобы потом вить нитки из мулине или собирать уголь на дне ямы? Что! по вашему собственному признанию, у вас есть всего три тысячи должностей в год, на которых можно реализовать пятьдесят тысяч возможных способностей, и все же вы говорите об учреждении школ! Цепляйтесь скорее за свою систему исключения и привилегий, старую как мир систему, опирающуюся на династии и патрициаты, настоящую машину для кастрации мужчин, чтобы обеспечить себе удовольствия касты султанов. Назначайте высокую цену за свое обучение, множьте препятствия, изгоняйте длительными испытаниями сына пролетария, которому голод не позволяет ждать, и защищайте всеми своими силами церковные школы, где учеников учат трудиться для другой жизни, культивировать смирение, поститься, уважать высокопоставленных лиц, любить короля и молиться Богу. Ибо каждое бесполезное исследование рано или поздно становится заброшенным: знание - это яд для рабов.

Несомненно, месье Шевалье слишком проницателен, чтобы не предвидеть последствий своей идеи. Но он говорил от всего сердца, и мы можем только приветствовать его благие намерения: сначала люди должны быть мужчинами; после этого пусть живет тот, кто может.

Таким образом, мы продвигаемся вперед наугад, ведомые Провидением, которое предупреждает нас только ударом: это начало и конец политической экономии.

Вопреки М. Шевалье, профессор политической экономии в колледже Франции, М. получил, экономист из института, не желает инструкция должна быть организована. Организация обучения - это разновидность организации труда; следовательно, никакой организации нет. Обучение, отмечает М. Дюнуайе, - это профессия, а не функция государства; как и все профессии, оно должно быть и оставаться бесплатным. Именно коммунизм, именно социализм, именно революционная тенденция, главными проводниками которой были Робеспьер, Наполеон, Людовик XVIII и Гизо, внедрили в нашу среду эти роковые идеи централизации и поглощения всей деятельности государством. Пресса очень свободна, и перо журналиста - товар; религия тоже очень свободна, и каждый, кто носит платье, будь оно коротким или длинным, кто знает, как возбудить общественное любопытство, может привлечь к себе аудиторию. У М. Лакордера есть свои приверженцы, у М. Леру - свои апостолы, у М. Бюше - свой

монастырь. Почему же тогда обучение также не должно быть бесплатным? Если право обучаемого, как и право покупателя, неоспоримо, а право инструктора, который является лишь разновидностью продавца, является его коррелятом, то невозможно посягнуть на свободу обучения, не совершив насилия над самой драгоценной из свобод - свободой совести. И тогда, добавляет М. Дюнуайе, если государство обязано обучать всех, вскоре будет утверждаться, что оно обязано трудиться; затем жилье; затем кров К чему это приведет?

Аргумент мсье Дюнуайе неопровержим: организовать обучение - значит дать каждому гражданину гарантию свободной занятости и приемлемой заработной платы; эти два фактора так же тесно связаны, как кровообращение артерий и вен. Но теория мсье Дюнуайе подразумевает также, что прогресс принадлежит лишь определенной избранной части человечества и что варварство - вечный удел девяти десятых человеческой расы. Именно это составляет, согласно М. Дюнуайе, саму сущность общества, которая проявляется в трех стадиях: религии, иерархии и нищенстве. Таким образом, в этой системе, которая является системой Дестют де Траси, Монтескье и Платона, антиномия разделения, как и антиномия ценности, не имеет решения.

Признаюсь, для меня источником невыразимого удовольствия является то, что г-ну Шевалье, защитнику централизации обучения, противостоит г-н Дюнуайе, защитник свободы; г-ну Дюнуайе, в свою очередь, противостоит г-н Гизо; Гизо, представитель централизаторов, противоречит Хартии, которая провозглашает свободу принципом; Хартия, попираемая университетскими деятелями, которые единственно претендуют на привилегию преподавания, несмотря на прямое указание Евангелия священникам: ИДИТЕ И УЧИТЕ. И над всей этой суматохой экономистов, законодателей, министров, академиков, профессоров и священников экономическое Провидение изобличает Евангелие во лжи и кричит: "Педагоги! какую пользу я могу извлечь из вашего наставления?"

Кто избавит нас от этой тревоги? М. Росси склоняется к эклектизму: слишком мало разделенный, говорит он, труд остается непроизводительным; слишком много разделенного - это унижает человека. Мудрость лежит между этими крайностями; в medio virtus. К сожалению, эта промежуточная мудрость представляет собой лишь небольшое количество бедности, соединенное с небольшим количеством богатства, так что состояние нисколько не меняется. Соотношение добра и зла вместо того, чтобы быть сто к ста, становится пятьдесят к пятидесяти: в этом мы можем раз и навсегда оценить меру эклектизма. В остальном справедливое окружение М. Росси находится в прямом противоречии с великим экономическим законом: ПРОИЗВОДИТЬ С НАИМЕНЬШИМИ ВОЗМОЖНЫМИ ЗАТРАТАМИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННОСТЕЙ Итак, как труд может выполнить свое предназначение без крайнего разделения? Давайте, пожалуйста, посмотрим дальше.

"Все экономические системы и гипотезы, - говорит М. Росси, - принадлежат экономисту, но разумный, свободный, ответственный человек находится под контролем морального закона... Политическая экономия - это всего лишь наука, которая исследует отношения вещей и делает из них выводы. В нем исследуются последствия труда; при применении труда вы должны учитывать важность рассматриваемого объекта. Когда применение труда неблагоприятно для цели более высокой, чем производство материальных благ, его не следует применять ... Предположим, что принуждение детей к труду по пятнадцать часов в день увеличило бы национальное богатство: мораль сказала бы, что это недопустимо. Доказывает ли это, что

политическая экономия ложна? Нет; это доказывает, что вы смешиваете вещи, которые следует разделять".

Если бы у мсье Росси было чуть больше той галльской простоты, которую так трудно приобрести иностранцам, он бы без промедления БРОСИЛ СВОЙ ЯЗЫК СОБАКАМ, как сказала мадам де Севинье. Но профессор должен говорить, говорить, говорить, не ради того, чтобы что-то сказать, а для того, чтобы избежать молчания. М. Росси делает три оборота вокруг вопроса, затем ложится: этого достаточно, чтобы некоторые люди поверили, что он ответил на него.

Это, несомненно, печальный симптом для науки, когда, развиваясь в соответствии со своими собственными принципами, она достигает своей цели как раз вовремя, чтобы быть опровергнутой другой; как, например, когда обнаруживается, что постулаты политической экономии противоречат постулатам морали, поскольку я полагаю, что мораль - такая же наука, как и политическая экономия. Что же тогда такое человеческое знание, если все его утверждения уничтожают друг друга, и на что нам полагаться? Разделенный труд - это занятие раба, но только он действительно производителен; неразделенный труд принадлежит свободному человеку, но он не окупает его затрат. С одной стороны, политическая экономия велит нам быть богатыми; с другой стороны, мораль велит нам быть свободными; и М. Росси, выступая от имени обоих, одновременно предупреждает нас, что мы не можем быть ни свободными, ни богатыми, ибо быть лишь половиной того и другого - значит не быть ни тем, ни другим. Таким образом, доктрина М. Росси далека от удовлетворения этого двойного желания человечества, вызывает возражение, что, чтобы избежать исключительности, она лишает нас всего: это, в другой форме, история представительной системы.

Но антагонизм еще более глубок, чем предполагал М. Росси. Ибо поскольку, согласно всеобщему опыту (в этом пункте в согласии с теорией), заработная плата уменьшается пропорционально разделению труда, ясно, что, отдавая себя в парцеллярное рабство, мы тем самым не приобретем богатства; мы только превратим людей в машины: посмотрите на трудящееся население двух миров. И поскольку, с другой стороны, без разделения труда общество возвращается к варварству, очевидно также, что, жертвуя богатством, мы не добьемся свободы: свидетельство тому - все кочующие племена Азии и Африки. Следовательно, нам необходимо — экономическая наука и мораль абсолютно предписывают это — решить проблему разделения: итак, где же экономисты? Более тридцати лет назад Лемонти, развивая замечание Смита, разоблачил деморализующее и убийственное влияние разделения труда. Каков был ответ; какие расследования были проведены; какие средства правовой защиты были предложены; был ли вообще понят этот вопрос?

Каждый год экономисты сообщают о коммерческом состоянии европейских государств с точностью, которую я оценил бы еще выше, если бы не видел, что она всегда бесплодна. Они знают, сколько ярдов ткани, кусков шелка, фунтов железа было произведено; каково потребление пшеницы, вина, сахара, мяса на душу населения; можно сказать, что для них предел науки - публиковать инвентаризацию, а цель их труда - стать главными контролерами наций. Никогда еще такая масса материала не предоставляла столь прекрасного поля для исследования. Что было найдено; какой новый принцип возник из этой массы; какое решение многих давних проблем было достигнуто; какое новое направление приняли исследования?

Один вопрос, среди прочих, по-видимому, был подготовлен для вынесения окончательного решения — о пауперизме. Пауперизм, из всех явлений цивилизованного мира, сегодня

наиболее известен: мы почти знаем, откуда он берется, когда и как он приходит, и чего он стоит; его доля на различных этапах развития цивилизации была подсчитана, и мы убедили себя, что все особенности, с которыми с ним до сих пор боролись, были бессильны. Пауперизм был разделен на роды, виды и разновидности: это целостная естественная история, одна из важнейших отраслей антропологии. Итак, бесспорным результатом всех собранных фактов, невидимых, избегаемых, прикрываемых экономистами своим молчанием, является то, что пауперизм является конституционным и хроническим явлением в обществе до тех пор, пока продолжается антагонизм между трудом и капиталом, и что этот антагонизм может прекратиться только путем абсолютного отрицания политической экономии. Какой выход из этого лабиринта обнаружили экономисты?

Этот последний момент заслуживает минутного внимания.

В первобытном коммунизме нищета, как я отмечал в предыдущем параграфе, является универсальным условием.

Труд - это война, объявленная этому несчастью.

Труд организуется сначала путем разделения, затем с помощью машин, затем с помощью конкуренции и т.д.

Теперь вопрос в том, не заложено ли в сущности этой организации, как она дана нам политической экономией, в то же время положить конец страданиям одних и фатальным и неизбежным образом усугубить страдания других. Таковы условия, в которых должен быть поставлен вопрос о пауперизме, и по этой причине мы взяли за его решение.

Что же тогда означает эта вечная болтовня экономистов о расточительности рабочих, их праздности, недостатке у них достоинства, их невежестве, их разврате, их ранних браках и т. д.? Все эти пороки и излишества - лишь прикрытие пауперизма; но причина, первопричина, которая неумолимо подвергает позору четыре пятых рода человеческого, — что это? Разве природа не создала всех людей одинаково грубыми, испытывающими отвращение к труду, распутными и необузданными? Разве патриций и пролетарий не выросли из одной и той же глины? Тогда как же случилось, что по прошествии стольких веков, несмотря на столькие чудеса промышленности, науки и искусства, комфорт и культура не стали достоянием всех? Как случилось, что в Париже и Лондоне, центрах общественного благосостояния, бедность столь же отвратительна, как во времена Цезаря и Агриколы? Почему рядом с этой утонченной аристократией масса оставалась такой некультурной? Это приписывается порокам народа, но пороки высшего класса, по-видимому, ничуть не меньше; возможно, они даже больше. Первоначальное пятно затронуло всех одинаково: как же случилось, что крещение цивилизацией не было одинаково эффективным для всех? Разве это не показывает, что прогресс сам по себе является привилегией, и что человек, у которого нет ни повозки, ни лошади, вынужден вечно барахтаться в грязи? Что я могу сказать? У совершенно обездоленного человека нет желания совершенствоваться: он пал так низко, что даже честолюбие угасло в его сердце.

"Из всех личных добродетелей, - с безграничным основанием замечает г-н Дюнуайе, - самая необходимая, та, которая дает нам все остальные подряд, - это страсть к благополучию, это

неистовое желание вырваться из нищеты и унижения, это тот дух соперничества и достоинства, который не позволяет людям довольствоваться низшим положением. ... Но это чувство, которое кажется таким естественным, к сожалению, встречается гораздо реже, чем принято думать. Есть несколько упреков, которых большинство людей заслуживает меньше, чем тот, который выдвигают против них аскетические моралисты за чрезмерную любовь к своим удобствам: противоположный упрек мог бы быть выдвинут против них с бесконечно большей справедливостью Даже в природе людей есть эта весьма примечательная черта, что чем меньше у них знаний и ресурсов, тем меньше у них желания их приобретать. Самые несчастные дикари и наименее просвещенные из людей - это именно те, в ком труднее всего пробудить желания, те, в ком труднее всего внушить желание выйти из своего состояния; так что человек должен уже обрести определенную степень комфорта своим трудом, прежде чем он сможет с какой-либо остротой ощутить ту потребность в улучшении своего положения, в совершенствовании своего существования, которую я называю любовью к благополучию".[15]

[15] "Свобода труда", Том II, стр. 80.

Таким образом, нищета трудящихся классов возникает в основном из-за недостатка у них сердца и разума, или, как где-то сказал г-н Пасси, из-за слабости, инертности их моральных и интеллектуальных способностей. Эта инертность объясняется тем фактом, что упомянутые рабочие классы, все еще наполовину дикие, не имеют достаточно горячего желания улучшить свое положение: это показывает г-н Дюнуайе. Но поскольку это отсутствие желания само по себе является следствием несчастья, из этого следует, что несчастье и апатия являются следствием и причиной друг друга и что пролетариат вращается по кругу.

Чтобы подняться из этой пропасти, необходимо либо благополучие, то есть постепенное повышение заработной платы, либо интеллект и мужество, то есть постепенное развитие способностей: две вещи, диаметрально противоположные деградации души и тела, которая является естественным следствием разделения труда. Таким образом, несчастье пролетариата всецело предопределено судьбой, и пытаться устранить его при нынешнем состоянии политической экономии означало бы вызвать революционный вихрь.

Ибо не без глубокой причины, корнящейся в самых возвышенных соображениях морали, всеобщая совесть, выражающаяся попеременно через эгоизм богатых и апатию пролетариата, отказывает в награде человеку, вся функция которого - рычаг и пружина. Если бы по какой-то невозможности материальное благополучие могло выпасть на долю парцеллярного рабочего, мы увидели бы, как произошло бы нечто чудовищное: рабочие, занятые на неприятных работах, стали бы подобны тем римлянам, пресыщенным богатствами мира, чьи озверевшие умы стали неспособны изобретать новые удовольствия. Благополучие без образования одурманивает людей и делает их дерзкими: это было замечено в древнейшие времена. *Incrassatus est, et resconditavit*, гласит Второзаконие. В остальном парцеллярный чернорабочий судил сам: он доволен при условии, что у него есть хлеб, тюфяк для сна и вдоволь выпивки по воскресеньям. Любое другое условие нанесло бы ему ущерб и поставило бы под угрозу общественный порядок.

В Лионе есть класс людей, которые, прикрываясь монополией, данной им городским правительством, получают более высокую зарплату, чем профессора колледжей или старшие клерки правительственных министров: я имею в виду носильщиков. Стоимость погрузки и разгрузки на определенных причалах Лиона, согласно расписанию ассоциаций грузчиков,

составляет тридцать сантимов за сто килограммов. При таких темпах нередко человек зарабатывает двенадцать, пятнадцать и даже двадцать франков в день: ему приходится всего лишь переносить сорок или пятьдесят мешков с судна на склад. Это всего лишь несколько часов работы. Какими благоприятными условиями это было бы для развития интеллекта, как у детей, так и у родителей, если бы богатство само по себе и тот досуг, который оно приносит, были нравоучительным принципом! Но это не так: лионские привратники сегодня такие же, какими были всегда, - пьяные, распутные, жестокие, наглые, эгоистичные и низменные. Это неприятно говорить, но я рассматриваю следующее заявление как свой долг, потому что оно является правдой: одной из первых реформ, которые будут осуществлены среди трудящихся классов, будет снижение заработной платы одних одновременно с повышением заработной платы других. Монополия не выигрывает в респектабельности от принадлежности к низшим классам людей, особенно когда она служит лишь поддержанию самого грубого индивидуализма. Восстание шелкопрядов встретило не сочувствие, а скорее враждебность со стороны носильщиков и речного населения в целом. Ничто из того, что происходит у причалов, не способно их взволновать. Вьючные животные, заранее созданные для деспотизма, они не будут вмешиваться в политику до тех пор, пока сохраняются их привилегии. Тем не менее, я должен сказать в их защиту, что некоторое время назад, когда необходимость конкуренции привела к снижению цен на них, в этих грубых натурах начало пробуждаться больше социальных настроений: еще несколько скидок, приправленных небольшой бедностью, и лионские отбросы будут выбраны штурмующей стороной, когда придет время штурмовать Бастилию.

Короче говоря, при нынешней системе общества пролетариат не может обеспечить себе благосостояния посредством образования или образование через благосостояние - это противоречит действительности. Ибо, не принимая во внимание тот факт, что пролетарий, человек-машина, столь же непригоден для комфорта, как и для образования, демонстрируется, с одной стороны, что его заработная плата постоянно стремится скорее к снижению, чем к повышению, а, с другой стороны, что развитие его ума, если бы это было возможно, было бы для него бесполезным; так что он всегда склоняется к варварству и нищете. Все, что предпринималось в последние годы во Франции и Англии с целью улучшения положения бедных в вопросах труда женщин и детей и начального обучения, если только это не было плодом какой-либо скрытой мысли о радикализме, делалось вопреки экономическим идеям и в ущерб установленному порядку. Прогресс для массы трудящихся всегда является книгой, запечатанной семью печатями; и эта неумолимая загадка будет разрешена не законодательными ошибками.

В остальном, если экономисты, уделяя исключительное внимание своей старой рутине, в конце концов утратили все знания о современном положении вещей, нельзя сказать, что социалисты лучше разрешили антиномию, порожденную разделением труда. Совсем наоборот, они остановились на отрицании; ибо разве это не вечное отрицание - противопоставлять, например, единообразию парцеллярного труда так называемое разнообразие, при котором каждый может менять свое занятие десять, пятнадцать, двадцать раз в день по своему желанию?

Как будто переходить десять, пятнадцать, двадцать раз в день с одного вида разделенного труда на другой означало бы делать труд синтетическим; как будто, следовательно, двадцать долей дневной работы работника физического труда могут быть равны дневной работе художника!

Даже если бы такое ограничение производственных возможностей было осуществимо — и заранее можно утверждать, что оно исчезло бы в связи с необходимостью наделения работников ответственностью и, следовательно, персональными функциями, — это нисколько не изменило бы физического, морального и интеллектуального состояния работника; расточительство было бы лишь более надежной гарантией его недееспособности и, следовательно, его зависимости. Более того, это признают организаторы, коммунисты и другие. Они настолько далеки от того, чтобы претендовать на разрешение антиномии разделения, что все они признают в качестве существенного условия организации иерархии труда, то есть классификацию работников на парцеллеров и обобщающих, или организаторов, и во всех утопиях различие способностей, основа или вечное оправдание неравенства благ, принимается в качестве стержня. Те реформаторы, в схемах которых нет ничего, что могло бы рекомендовать их, кроме логики, и которые, посетовав на УПРОЩЕННОСТЬ, монотонность, единообразие и крайнее разделение труда, затем предлагают МНОЖЕСТВЕННОСТЬ в качестве СИНТЕЗА, — такие изобретатели, я говорю, уже осуждены и должны быть отправлены обратно в школу.

Но вас, критик, читатель, несомненно, спросит, каково ваше решение? Покажите нам этот синтез, который, сохраняя ответственность, индивидуальность, короче говоря, специальность рабочего, объединит крайнее разделение и величайшее разнообразие в одно сложное и гармоничное целое.

Мой ответ готов: исследуйте факты, посоветуйтесь с человечеством: мы не можем выбрать лучшего проводника. После колебаний стоимости разделение труда является экономическим фактом, который наиболее ощутимо влияет на прибыль и заработную плату. Это первый кол, вбитый Провидением в почву промышленности, отправная точка огромной триангуляции, которая в конечном итоге должна определить права и обязанности каждого без исключения. Давайте же тогда последуем за нашими проводниками, без которых мы можем только блуждать и потеряться.

Tu longe sequere, et vestigia semper adora.

ГЛАВА IV.

ВТОРОЙ УРОК.—ТЕХНИКА.

"Я с глубоким сожалением стал свидетелем ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ БЕДСТВИЯ в промышленных районах страны".

Слова королевы Виктории о повторном созыве парламента.

Если и есть что-то в природе, заставляющее суверенов задуматься, так это то, что, будучи более или менее бесстрастными наблюдателями человеческих бедствий, они, в силу самого устройства общества и природы своей власти, абсолютно бессильны излечить страдания своих подданных; им даже запрещено обращать на них какое-либо внимание. Любой вопрос о труде и заработной плате, единодушно заявляют сторонники экономической теории и теории представительства, должен оставаться за пределами атрибутов власти. С высоты великолепной сферы, куда поместила их религия, троны, господства, начальства, силы и все небесное воинство взирают на муки общества, недоступные его стрессу; но их власть не

распространяется на ветры и наводнения. Короли ничего не могут сделать для спасения смертных. И, по правде говоря, эти теоретики правы: правитель создан для поддержания, а не для революционизации; для защиты реальности, а не для воплощения утопии. Он представляет один из антагонистических принципов: следовательно, если бы он хотел установить гармонию, он устранил бы себя, что с его стороны было бы совершенно неконституционным и абсурдным.

Но поскольку, вопреки теориям, прогресс идей постоянно изменяет внешнюю форму институтов таким образом, что постоянно становится необходимым именно то, чего законодатель не желает и не предвидит, — так что, например, вопросы налогообложения становятся вопросами распределения; вопросы общественной полезности — вопросами национального труда и организации промышленности; вопросы финансов - кредитными операциями; и вопросы международного права - вопросами таможенных пошлин и рынков, - то становится очевидным, что государь, который, согласно теории, никогда не должен вмешиваться в вещи, которые, тем не менее, без ведома теории, являются повседневным и непреодолимо становящийся вопросом управления, есть и может быть впредь, подобно Божественности, от которой он исходит, что бы ни говорили, всего лишь гипотезой, вымыслом.

И, наконец, поскольку невозможно, чтобы правитель и интересы, защищать которые является его миссией, согласились уменьшиться и исчезнуть до того, как будут установлены возникающие принципы и новые права, отсюда следует, что прогресс, совершившийся незаметно в сознании, реализуется в обществе скачкообразно, и эта сила, несмотря на клевету, объектом которой она является, является необходимым условием реформ. Каждое общество, в котором подавлена сила восстания, - это общество, мертвое для прогресса: нет более доказанной исторической истины.

И то, что я говорю о конституционных монархиях, в равной степени верно и для представительных демократий: везде общественный договор объединил власть и сговорился против жизни, законодатель не может ни увидеть, что он действует против своих собственных целей, ни действовать иначе.

Монархи и депутаты, жалкие актеры парламентских комедий, вот, в конечном счете, кто вы такие: талисманы против будущего! Каждый год приносит вам жалобы людей; и когда вас просят о лекарстве, ваша мудрость закрывает его лицо! Нужно ли поддерживать привилегию, то есть то освящение права сильнейшего, которое создало вас и которое меняется каждый день? Быстро, по малейшему кивку вашей головы, многочисленная армия встает, хватается за оружие и выстраивается в боевой порядок. И когда люди жалуются, что, несмотря на их труд и именно из-за их труда, их пожирает нищета, когда общество просит у вас жизни, вы совершаете акты милосердия! Вся ваша энергия расходуется на консерватизм, вся ваша добродетель пропадает в устремлениях! Подобно фарисею, вместо того, чтобы кормить своегоотца, вы молитесь за него! Ах! Говорю вам, мы знаем секрет вашей миссии: вы существуете только для того, чтобы мешать нам жить. *Nolite ergo imperare*, уберите отсюда!

Что касается нас, которые рассматривают миссию власти с совершенно иной точки зрения и которые хотят, чтобы особая работа правительства заключалась именно в исследовании будущего, поиске прогресса и обеспечении для всех свободы, равенства, здоровья и богатства, мы смело продолжаем нашу задачу критики, полностью уверенные в том, что, когда мы выявим причину зла общества, принцип его лихорадки, мотив его беспорядков, у нас не будет недостатка в силах применить лекарство.

% 1.О функции механизмов в их отношении к свободе.

Внедрение машин в промышленность осуществляется вопреки закону разделения и как бы для восстановления равновесия, глубоко нарушенного этим законом. Чтобы по-настоящему оценить значение этого движения и уловить его дух, необходимы несколько общих соображений.

Современные философы, собрав и классифицировав свои летописи, в силу характера своих трудов были вынуждены иметь дело и с историей: тогда они увидели, не без удивления, что ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ в основе своей то же самое, что и ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ; далее, что эти две столь разные по внешнему виду области умозрения, история философии и философия истории, также были лишь сценическим представлением концепций метафизики, которая и есть философия в целом.

Теперь, разделив материал всеобщей истории на определенное количество разделов, таких как математика, естественная история, социальная экономика и т.д., мы обнаружим, что каждый из этих разделов содержит также метафизику. И это будет то же самое вплоть до последнего подразделения всей истории: так что вся философия лежит в основе каждого природного или промышленного проявления; что она не имеет отношения к степеням или качествам; что, чтобы подняться до своих самых возвышенных концепций, все прототипы могут быть использованы одинаково хорошо; и, наконец, что все постулаты разума встречаются как в самой скромной отрасли, так и в самых общих науках, чтобы сделать каждого ремесленника философом, то есть обобщающим и в высшей степени синтетическим умом, — было бы достаточно научить его — чему? его профессия.

До сих пор, это правда, философия, как и богатство, была уделом определенных классов: у нас есть философия истории, философия права и некоторые другие философии; это своего рода присвоение, которое, как и многие другие, столь же благородного происхождения, должно исчезнуть. Но чтобы завершить это грандиозное уравнение, необходимо начать с философии труда, после чего каждый рабочий сможет, в свою очередь, попробовать применить философию своего ремесла. Таким образом, каждый продукт искусства и промышленности, каждое политическое и религиозное устройство, как и каждое организованное или неорганизованное существо, будучи лишь реализацией, естественным или практическим применением философии, демонстрируется идентичность законов природы и разума, бытия и идеи; и когда для нашей собственной цели мы устанавливаем постоянное соответствие экономических явлений чистым законам мысли, эквивалентность реального и идеального в человеческих фактах, мы лишь повторяем в частном случае эту вечную демонстрацию.

Что мы, собственно, говорим?

Чтобы определить ценность, другими словами, организовать внутри себя производство и распределение богатства, общество поступает точно так же, как разум, вырабатывающий концепции. Сначала он устанавливает первичный факт, действует на основе первичной гипотезы, разделения труда, подлинной антиномии, антагонистические результаты которой развиваются в социальной экономике точно так же, как следствия могли бы быть выведены в уме: так что промышленное движение, следуя во всех отношениях дедукции идей, разделяется на двойное течение, одно из полезных эффектов, другое - подрывных результатов, все в равной степени необходимые и законные продукты одного и того же закона. Чтобы гармонично

утвердить этот двуличный принцип и разрешить эту антиномию, общество вызывает второй, за которым вскоре последует третий; и таков будет прогресс социального гения до тех пор, пока, исчерпав все свои противоречия, — предположим, хотя это и не доказано, что противоречиям в человечестве положен конец, — он одним прыжком назад преодолеет все свои предыдущие позиции и в единой формуле разрешит все проблемы. Следуя в нашем изложении этому методу параллельного развития реальности и идеи, мы находим двойное преимущество: во-первых, мы избегаем упреков в материализме, которые так часто применяются к экономистам, для которых факты являются истиной просто потому, что они факты, и существенные факты. Для нас, напротив, факты — это не материя, поскольку мы не знаем, что означает слово "материя", а видимые проявления невидимых идей. С такой точки зрения ценность фактов измеряется идеей, которую они представляют; и именно поэтому мы отвергли как незаконную и неубедительную полезную ценность и ценность обмена, а позже и само разделение труда, хотя для экономистов все они имеют абсолютный авторитет.

С другой стороны, так же невозможно обвинить нас в спиритуализме, идеализме или мистицизме: ибо, принимая в качестве отправной точки только внешнее проявление идеи, — идею, которую мы не знаем, которая не существует, пока она не отражается, подобно свету, который был бы ничем, если бы солнце существовало само по себе в бесконечной пустоте, — и отбрасывая все априорные рассуждения о теогонии и космогонии, все исследования субстанции, причины, "я" и "не-я", мы ограничиваемся поиском истинного "я". ЗАКОНЫ бытия и следовать порядку их проявления, насколько это доступно разуму.

Несомненно, всякое знание в конце концов наталкивается на тайну: такую, например, как материя и разум, которые мы признаем как две неизвестные сущности, на которых зиждутся все явления. Но это не означает, что тайна является отправной точкой знания или что мистицизм является необходимым условием логики: совсем наоборот, непосредственность нашего разума ведет к постоянному неприятию мистицизма; это априорный протест против всякой тайны, потому что тайна ему ни к чему, кроме как для ее отрицания, и потому что отрицание мистицизма — это единственное, для чего разум не нуждается в опыте.

Короче говоря, человеческие факты являются воплощением человеческих идей: следовательно, изучать законы социальной экономики — значит создавать теорию законов разума и создавать философию. Теперь мы можем продолжить наше расследование.

В конце предыдущей главы мы оставили рабочего наедине с законом разделения: как неутомимому Эдипу удастся разгадать эту загадку?

В обществе непрерывное появление машин является антитезой, обратной формулой разделения труда; это протест индустриального гения против парцеллярного и смертоносного труда. Что такое машина на самом деле? Метод воссоединения различных частиц труда, разделенных разделением.

Каждую машину можно определить как совокупность нескольких операций, упрощение полномочий, сокращение рабочей силы, снижение затрат. Во всех этих отношениях машины являются аналогом разделения. Следовательно, с помощью машин произойдет восстановление парцеллярного работника, уменьшение нагрузки для рабочего, падение цены его продукта, изменение ценностного соотношения, продвижение к новым открытиям, повышение общего благосостояния.

Как открытие формулы дает новую силу геометру, так и изобретение машины - это сокращение ручного труда, которое умножает силу производителя, из чего можно сделать вывод, что антиномия разделения труда, если и не уничтожена полностью, то будет уравновешена и нейтрализована. Никто не должен упустить возможность прочитать лекции месье Шевалье, в которых излагаются бесчисленные преимущества, получаемые обществом от вмешательства машин; они рисуют поразительную картину, к которой я с удовольствием отсылаю своего читателя.

Машины, противопоставляющие себя в политической экономии разделению труда, представляют собой синтез, противопоставляющий себя в человеческом разуме анализу; и точно так же, как в разделении труда и в машинах, как мы вскоре увидим, содержится вся политическая экономия, так с анализом и синтезом приходит владение всей логикой, всей философией. Человек, который трудится, с необходимостью и поочередно осуществляет разделение и пользуется инструментами; точно так же тот, кто рассуждает, с необходимостью и поочередно выполняет операции синтеза и анализа, и ничего больше, абсолютно ничего. И труд и разум никогда не выйдут за пределы этого: Прометей, подобно Нептуну, в три шага достигает границ мира.

Из этих принципов, простых и понятных, как аксиомы, вытекают огромные следствия.

Поскольку в деятельности разума анализ и синтез по существу неразделимы и поскольку, если взглянуть на дело с другой точки зрения, теория становится легитимной только при условии следования опыту шаг за шагом, отсюда следует, что труд, объединяющий анализ и синтез, теорию и опыт в непрерывном действии, — труд, внешняя форма логики и, следовательно, краткое изложение реальности и идеи, — снова выступает как универсальный метод обучения. Фабрикандо фабер: из всех систем образования самой абсурдной является та, которая отделяет интеллект от деятельности и делит человека на две невозможные сущности: теоретика и автомата. Вот почему мы приветствуем справедливые жалобы месье Шевалье, месье Дюнуайе и всех тех, кто требует реформы университетского образования; на этом также зиждется надежда на результаты, которые мы обещали себе в результате такой реформы. Если бы образование было прежде всего экспериментальным и практическим, используя речь только для объяснения, обобщения и координации работы; если бы тем, кто не может учиться с помощью воображения и памяти, было позволено учиться глазами и руками, — вскоре мы стали бы свидетелями умножения не только форм труда, но и способностей; каждый, зная теорию чего-либо, тем самым овладел бы языком философии; при случае он мог бы, будь это всего один раз в жизни, создавать, видоизменять, совершенствовать, доказывать свой интеллект и понимание, создавать свое шедевральное произведение, одним словом, показать себя человеком. Неравенство в приобретении памяти не повлияло бы на эквивалентность способностей, и гениальность больше не казалась бы нам чем-то иным, чем она есть на самом деле, - психическим здоровьем.

Прекрасные умы восемнадцатого века пустились в длительные споры о том, что представляет собой ГЕНИАЛЬНОСТЬ, чем она отличается от ТАЛАНТА, что мы должны понимать под УМОМ и т.д. Они перенесли в интеллектуальную сферу те же различия, которые в обществе разделяют людей. Для них были гениальные короли и правители, гениальные принцы, гениальные министры; а затем были также благородные умы и буржуазные умы, таланты города и сельской местности. Ясно, что у подножия лестницы лежало крупное промышленное население, души с

несовершенными очертаниями, исключенные из славы избранных. Вся риторика по-прежнему полна этих дерзостей, которые монархические интересы, литературное тщеславие и социалистическое лицемерие пытаются санкционировать ради вечного рабства народов и поддержания существующего порядка.

Но, если будет продемонстрировано, что все операции ума сводимы к двум, анализу и синтезу, которые неизбежно неразделимы, хотя и различны; если, в силу вынужденного следствия, несмотря на бесконечное разнообразие задач и исследований, ум никогда не делает ничего большего, чем начинает одно и то же полотно заново, — гениальный человек - это просто человек с хорошим телосложением, который много работал, много думал, анализировал, сравнивал, классифицировал, обобщал и пришел к большому количеству выводов; в то время как ограниченное существо, которое застаивается в бесконечной рутине, вместо того чтобы развивать свои способности, имеет убил его интеллект из-за инерции и автоматизма. Абсурдно выделять как отличающиеся по природе то, что на самом деле отличается только возрастом, а затем превращать в привилегии и исключения различные степени развития или удачи спонтанности, которые должны постепенно исчезнуть благодаря труду и образованию.

Риторы-психологи, которые разделили человеческие души на династии, благородные расы, буржуазные семейства и пролетариат, заметили, тем не менее, что гений не универсален и что у него есть своя специализация; следовательно, Гомер, Платон, Фидий, Архимед, Цезарь и т. Д., Все они казались им первыми в своем роде, были объявлены ими равными и властителями различных царств. Как иррационально! Как будто специальность гения сама по себе не раскрывает закон равенства умов! Как будто, взглянув на это с другой стороны, стабильность успеха гениального продукта не является доказательством того, что он работает в соответствии с внешними принципами, которые являются гарантией совершенства его работы, пока он следует им с точностью и определенностью! Этот апофеоз гениальности, о котором с открытыми глазами мечтают люди, чья болтовня навсегда останется бесплодной, оправдал бы веру во врожденную глупость большинства смертных, если бы не был поразительным доказательством их способности к совершенствованию.

Таким образом, труд, после того как он различил способности и установил их равновесие путем разделения отраслей, дополняет вооружение интеллекта, если я осмелюсь так выразиться, машинами. Согласно свидетельствам истории, а также согласно анализу, и несмотря на аномалии, вызванные антагонизмом экономических принципов, интеллект людей отличается не силой, ясностью или охватом, а, во-первых, специализацией, или, выражаясь языком школ, качественным определением, и, во-вторых, физическими упражнениями и образованием. Следовательно, как в индивидуальном, так и в коллективном человеке интеллект в гораздо большей степени является способностью, которая приходит, формируется и развивается надлежащим образом, чем сущностью или энтелехией, которая существует, полностью сформированная, до ученичества. Разум, каким бы именем мы его ни называли — гением, талантом, трудолюбием, — изначально является обнаженной и инертной потенциальностью, которая постепенно увеличивается в размерах и силе, приобретает цвет и форму и оттеняет себя бесконечным разнообразием способов. По важности своих приобретений, по своему капиталу, одним словом, интеллект одного индивида отличается и всегда будет отличаться от интеллекта другого; но, будучи силой, равной во всем вначале, социальный прогресс должен заключаться в том, чтобы сделать ее, путем постоянно возрастающего совершенствования методов, снова

равной во всем в конце. В противном случае труд оставался бы привилегией для одних и наказанием для других.

Но равновесие производственных мощностей, начало которого мы видели в разделении труда, не полностью соответствует предназначению машин, и взгляды Провидения простираются далеко за его пределы. С внедрением машин в экономику СВОБОДЕ открываются крылья.

Машина - это символ свободы человека, знак нашего господства над природой, атрибут нашей власти, выражение нашего права, эмблема нашей личности. Свобода, интеллект — все это составляет целостного человека: ибо, если мы отбросим как мистические и непонятные все спекуляции, касающиеся человеческого существа, рассматриваемого с точки зрения субстанции (разума или материи), мы оставим только две категории проявлений, — первая включает все, что мы называем ощущениями, волевыми проявлениями, страстями, влечениями, инстинктами, чувствами; другая - все явления, классифицируемые под рубриками внимания, восприятия, памяти, воображения, сравнения, суждения, умозаключения и т.д. Что касается органического аппарата, то он весьма далек от того, чтобы быть принципом или основой этих двух категорий способностей, его следует рассматривать как их синтетическую и позитивную реализацию, их живое и гармоничное выражение. Ибо точно так же, как из продолжительного проявления человечеством своих антагонистических принципов должна когда-нибудь возникнуть социальная организация, точно так же человек должен быть понят как результат двух рядов потенциальных возможностей.

Таким образом, социальная экономика, позиционируя себя как логику, продолжая свою работу, позиционирует себя как психологию. Воспитание разума и свобода, одним словом, благосостояние человека, — все это совершенно синонимичные выражения, — такова общая цель политической экономии и философии. Определить законы производства и распределения богатства - значит продемонстрировать объективным и конкретным изложением законы разума и свободы; это будет означать создать философию и апостериорное право: куда бы мы ни повернули, мы окажемся в полной метафизике.

Давайте попробуем теперь, опираясь на данные психологии и политической экономии, дать определение свободе.

Если допустимо представлять человеческий разум при его возникновении как ясный и отражающий атом, способный когда-нибудь представлять вселенную, но поначалу вообще не дающий никакого образа, мы можем точно так же рассматривать свободу при рождении совести как живую точку, *punctum saliens*, смутную, слепую или, скорее, безразличную спонтанность, способную воспринимать все возможные впечатления, расположения и склонности. Свобода - это способность действовать и бездействовать, которая посредством любого выбора или какой бы то ни было решимости (я использую здесь слово "решимость" как пассивно, так и активно) отказывается от своего безразличия и становится ВОЛЕЙ.

Итак, я говорю, что свобода, как и интеллект, естественно, является неопределенной, неоформленной способностью, которая позже приобретает свою ценность и характер под влиянием внешних впечатлений, — способность, следовательно, которая вначале отрицательна, но которая постепенно определяет и очерчивает себя упражнениями, я имею в виду образованием.

Этимология слова "свобода", по крайней мере, в том виде, в каком я ее понимаю, еще лучше объяснит мою мысль. Корень - lib-et, ему приятно (немецкое lieben, любить); отсюда произошли liber-eri, дети, те, кто нам дорог, имя, предназначенное для детей отца семейства; libertas, состояние, характер или склонность детей благородной расы; lib-ido, страсть раба, который не знает ни Бога, ни закона, ни страны, синоним licentia, дурного поведения. Когда спонтанность принимает полезное, великодушное или благотворное направление, это называется свободой; когда, наоборот, она принимает вредное, порочное, низменное или порочное направление, это называется либидо.

Ученый экономист М. Дюнуайе дал определение свободы, которое, благодаря своему сходству с нашим собственным, завершит демонстрацию его точности.

Я называю свободой ту способность, которую человек приобретает для более легкого использования своих сил по МЕРЕ ТОГО, КАК ОН ОСВОБОЖДАЕТСЯ от препятствий, которые первоначально препятствовали их применению. Я говорю, что он тем СВОБОДНЕЕ, чем основательнее ИЗБАВЛЕН от причин, которые мешали ему использовать свои силы, чем дальше от себя он отогнал эти причины, тем больше он расширил и очистил сферу своей деятельности . . . Таким образом, говорят, что человек обладает свободным умом, что он пользуется большой свободой ума не только тогда, когда его интеллект не нарушен никаким внешним насилием, но и когда он не затемнен опьянением, не изменен болезнью и не пребывает в бессилии из-за недостатка физических упражнений.

Г-н Дюнуайе рассматривал здесь свободу только с ее негативной стороны, то есть так, как если бы она была просто синонимом СВОБОДЫ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ. В таком случае свобода не была бы свойством человека; она была бы ничем. Но тут же мсье Дюнуайе, хотя и настаивает на своем неполном определении, схватывает истинную сторону вопроса: тогда ему приходит в голову сказать, что человек, изобретая машину, служит своей свободе не потому, что он, как мы выражаемся, определяет ее, а, в стиле мсье Дюнуайе, потому что он устраняет трудности на ее пути.

Таким образом, членораздельный язык является лучшим инструментом, чем язык знаков; следовательно, человек более свободен выражать свои мысли и запечатлевать их в сознании другого человека с помощью речи, чем жестов. Написанное слово - более мощный инструмент, чем произнесенное слово; поэтому человек более свободен воздействовать на умы своих собратьев, когда он знает, как представить это слово их глазам, чем когда он просто знает, как его произнести. Пресса - инструмент в двести или триста раз более мощный, чем перо; следовательно, человек в двести или триста раз свободнее вступает в отношения с другими людьми, когда он может распространять свои идеи печатным способом, чем когда он может опубликовать их только письменно.

Я не буду указывать на все неточное и нелогичное в таком способе представления свободы. Со времен Дестют де Траси, последнего представителя философии Кондильяка, философский дух был затемнен среди экономистов французской школы; страх перед идеологией извратил их язык, и при чтении их становится ясно, что преклонение перед фактами привело к тому, что они утратили даже представление о теории. Я предпочитаю установить тот факт, что г-н Дюнуайе, а вместе с ним и политическая экономия, не ошибаются относительно сущности свободы, силы, энергии или спонтанности, безразличной самой по себе ко всякому действию и, следовательно, одинаково восприимчивой к любому определению, хорошему или плохому,

полезному или вредному. У г-на Дюнуайе было настолько сильное подозрение относительно истины, что он сам пишет:

Вместо того, чтобы рассматривать свободу как догму, я представлю ее как РЕЗУЛЬТАТ; вместо того, чтобы делать ее атрибутом человека, я сделаю ее АТРИБУТОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ; вместо того, чтобы воображать формы правления, рассчитанные на ее установление, я сделаю все возможное, чтобы объяснить, как она ПОРОЖДАЕТСЯ КАЖДЫМ ШАГОМ НАШЕГО ПРОГРЕССА.

Затем он добавляет с не меньшим основанием:

Можно заметить, насколько этот метод отличается от метода тех философов-догматиков, которые говорят только о правах и обязанностях; о том, что является обязанностью правительств и правом наций требовать, и т.д. Я не говорю сентенциозно: люди имеют право быть свободными; я ограничиваюсь вопросом: как это случилось, что они таковы?

В соответствии с этим изложением можно в четырех строках резюмировать работу, которую пытался проделать М. Дюнуайе: ОБЗОР препятствий, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ свободе, и средств (инструментов, методов, идей, обычаев, религий, правительств и т.д.), которые СПОСОБСТВУЮТ этому. Если бы не эти упущения, работа М. Дюнуайе была бы самой философией политической экономии.

Подняв проблему свободы, политическая экономия дает нам определение, соответствующее во всех пунктах определению, данному психологией и подсказанному языковыми аналогиями: и таким образом мы видим, как мало-помалу изучение человека переносится от созерцания "я" к наблюдению реальностей.

Итак, подобно тому, как определения человеческого разума получили название ИДЕЙ (абстрактных, предполагаемых априорных идей, или принципов, концепций, категорий; и вторичных идей, или идей, приобретенных более специально и эмпирически), так и определения свободы получили название ВОЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, чувств, привычек, обычаев. Затем, поскольку язык, образный по своей природе, продолжает обеспечивать элементы первичной психологии, сформировалась привычка приписывать идеям как месту или способности, где они находятся, ИНТЕЛЛЕКТ, а волевым проявлениям, чувствам и т. д. - СОВЕСТЬ. Философы долгое время принимали все эти абстракции за реальность, но ни один из них не видел, что всякое распределение способностей души обязательно является результатом каприза и что их психология - всего лишь иллюзия.

Как бы то ни было, если мы теперь представим себе эти два порядка детерминации, разум и свободу, как объединенные и смешанные организацией в живом, разумном и свободном ЧЕЛОВЕКЕ, мы сразу поймем, что они должны оказывать друг другу взаимную помощь и взаимно влиять друг на друга. Если из-за ошибки или недосмотра разума свобода, слепая от природы, приобретает ложную и пагубную привычку, сам разум не замедлит ощутить последствия; вместо истинных идей, соответствующих естественным отношениям вещей, в нем сохраняются только предрассудки, которые впоследствии выкорчевать из разума будет настолько же труднее, насколько они с возрастом стали дороже совести. При таком положении вещей разум и свобода ущемляются; первому нарушается развитие, второму ограничиваются возможности, и человек сбивается с пути истинного, то есть становится одновременно злым и несчастным.

Таким образом, когда вследствие противоречивого восприятия и неполного опыта разум устами экономистов провозгласил, что не существует регулирующего принципа ценности и что законом торговли являются спрос и предложение, свобода отдалась страсти честолюбия, эгоизма и азартных игр; с тех пор коммерция стала всего лишь пари, подчиненным определенным полицейским правилам; нищета возникла из источников богатства; социализм, сам раб рутины, мог протестовать только против следствий, вместо того чтобы восстать против причин; и разум был вынужден при виде стольких зол признать, что он встал на неверный путь .

Человек может достичь благополучия только в той мере, в какой его разум и его свобода не только гармонично прогрессируют, но и никогда не останавливаются в своем развитии. Теперь, поскольку прогресс свободы, как и прогресс разума, неопределенен, и поскольку, более того, эти две силы тесно связаны и солидарны, следует заключить, что свобода тем совершеннее, чем точнее она определяет себя в соответствии с законами разума, которые являются законами вещей, и что, если бы этот разум был бесконечен, сама свобода стала бы бесконечной. Другими словами, полнота свободы заключается в полноте разума: сумма всех свобод.

Эти предварительные замечания были необходимы для того, чтобы четко оценить роль машин и прояснить последовательность экономических изменений. И именно здесь я напомним читателю, что мы строим историю не в соответствии с порядком событий, а в соответствии с последовательностью идей. Экономические фазы или категории теперь современны, теперь перевернуты в своем проявлении; отсюда крайняя трудность, которую всегда испытывают экономисты при систематизации своих идей; отсюда хаос в их работах, даже тех, которые заслуживают наибольшей похвалы во всех других отношениях, таких как работы Адама Смита, Рикардо и Дж. Б. Сэя. Но экономические теории, тем не менее, имеют свою логическую последовательность и свои ряды в сознании: именно этот порядок, как мы льстим себя надеждой, мы открыли и который сделает эту работу одновременно философией и историей.

% 2. —Противоречие между машинами.—Происхождение капитала и заработной платы.

Сам факт того, что машины уменьшают труд рабочего, означает, что они сокращают рабочую силу, предложение которой, таким образом, увеличивается изо дня в день, а спрос уменьшается. Правда, мало-помалу снижение цен вызывает увеличение потребления, пропорция восстанавливается, и рабочий снова принимается за работу; но поскольку промышленные усовершенствования неуклонно сменяют друг друга и постоянно стремятся заменить человеческий труд механическими операциями, отсюда следует постоянная тенденция к сокращению части услуг и, следовательно, к устранению рабочих от производства. Так вот, с экономическим порядком дело обстоит так же, как и с духовным: вне церкви нет спасения; вне труда нет средств к существованию. Общество и природа, одинаково безжалостные, действуют в согласии при исполнении этого нового указа.

"Когда новая машина или, вообще, любой другой процесс, который ускоряет дело, - говорит Дж. Б. Сэй, - заменяет любой уже использованный человеческий труд, некоторые из рабочих рук, чьи услуги с пользой заменяются, остаются без работы. Таким образом, новая машина заменяет труд части рабочих, но не уменьшает объем производства, ибо, если бы это было так, она не была бы принята на вооружение; ОНА ВЫТЕСНЯЕТ ДОХОД. Но конечное преимущество полностью на стороне машин, поскольку, если изобилие продукта и снижение затрат снизят продажную ценность, потребитель — то есть каждый — выиграет от этого ".

Оптимизм Сэя - это неверие логике и фактам. Речь здесь идет не просто о небольшом количестве несчастных случаев, которые произошли за тридцать столетий в результате внедрения одной, двух или трех машин; это вопрос о регулярном, неизменном и всеобщем явлении. После того как доход был ВЫТЕСНЕН, как говорит Сэй, одной машиной, он затем вытесняется другой, и снова третьей, и всегда третьей, до тех пор, пока остается выполненным какой-либо труд и осуществлены какие-либо обмены. Именно в таком свете должно быть представлено и рассмотрено это явление; но при этом, следует признать, его аспект необычным образом меняется. Сокращение доходов, подавление труда и заработной платы - это хроническая, постоянная, неизгладимая чума, своего рода холера, которая то появляется с чертами Гутенберга, то принимает черты Аркрайта; здесь ее зовут Жаккард, там Джеймс Уатт или маркиз де Жюффруа. Продолжив свое разрушительное действие в течение более или менее длительного времени в одной форме, чудовище принимает другую, и экономисты, которые думают, что оно ушло, кричат: "Это было ничто!" Спокойные и удовлетворенные, при условии, что они настаивают со всей силой своей диалектики на положительной стороне вопроса, они закрывают глаза на его подрывную сторону, несмотря на это, когда им говорят о бедности, они снова начинают свои проповеди о расточительности и пьянстве рабочих.

В 1750 году, — М. Дюнуайе делает наблюдение, и оно может служить мерилем всех лучезарностей того же рода— "в 1750 году население герцогства Ланкастер составляло 300 000 душ. В 1801 году, благодаря развитию прядильных машин, это население составляло 672 000 душ. В 1831 году оно составляло 1 336 000 душ. Вместо 40 000 рабочих, которых раньше нанимала хлопчатобумажная промышленность, теперь, с момента изобретения машин, в ней занято 1 500 000 человек".

Г-н Дюнуайе добавляет, что в то время, когда число рабочих, занятых в этой отрасли, увеличилось столь заметным образом, цена рабочей силы поднялась на сто пятьдесят процентов. Таким образом, население просто следовало за промышленным прогрессом, его увеличение было нормальным и безукоризненным фактом, — что я могу сказать?— счастливый факт, поскольку он приводится к чести и славе развития машиностроения. Но внезапно г-н Дюнуайе совершает переворот: это множество прядильных машин вскоре оказывается без работы, заработная плата неизбежно снижается; население, вызванное машинами, оказывается покинутым машинами, на что г-н Дюнуайе заявляет: злоупотребление браком является причиной бедности.

Английская торговля, повинувшись требованию огромного числа своих покровителей, привлекает рабочих со всех сторон и поощряет браки; пока рабочей силы в избытке, брак - отличная вещь, последствия которой они любят приводить в интересах машиностроения; но, поскольку покровительство непостоянно, как только работы и заработной платы не становится, они осуждают злоупотребление браком и обвиняют рабочих в расточительности. Политическая экономия — то есть собственнический деспотизм — никогда не может быть неправой: это должен быть пролетариат.

Пример книгопечатания приводился много раз, всегда для поддержания оптимистичного взгляда. Число людей, которых сегодня поддерживает производство книг, возможно, в тысячу раз больше, чем было у переписчиков и иллюстраторов до Гутенберга; следовательно, они с довольным видом заключают, что книгопечатание никому не повредило. Можно было бы привести бесконечное количество подобных фактов, все они бесспорны, но ни один из них не

продвинул бы вопрос ни на шаг. Еще раз, никто не отрицает, что машины способствовали общему благосостоянию; но я утверждаю, в отношении этого неоспоримого факта, что экономисты далеки от истины, когда они выдвигают абсолютное утверждение, что УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НИГДЕ НЕ ПРИВЕЛО К УМЕНЬШЕНИЮ ЧИСЛА РАБОЧИХ РУК, ЗАНЯТЫХ В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Что экономистам следовало бы сказать, так это то, что машинное производство, подобно разделению труда, в нынешней системе общественного хозяйства является одновременно источником богатства и постоянной и фатальной причиной нищеты.

В 1836 году на мельнице в Манчестере за девятью рамами, каждая из которых имела триста двадцать четыре шпинделя, ухаживали четыре прядильщицы. Впоследствии длина мулов увеличилась вдвое, что дало каждому из девяти шестисот восьмидесяти веретен и позволило двум мужчинам ухаживать за ними.

Здесь мы имеем голый факт уничтожения рабочего машиной. С помощью простого устройства трое рабочих из четырех выселяются; какое значение имеет то, что пятьдесят лет спустя, когда население земного шара удвоится, а торговля Англии увеличится вчетверо, будут сконструированы новые машины и английские фабриканты снова наймут своих рабочих? Хотят ли экономисты указать на увеличение численности населения как на одно из преимуществ машин? Пусть они тогда откажутся от теории Мальтуса и перестанут выступать против чрезмерной плодовитости брака.

На этом они не остановились: вскоре новое механическое усовершенствование позволило одному рабочему выполнять работу, которая раньше занимала четверых.

Новое сокращение ручного труда на три четверти: в целом, сокращение человеческого труда на пятнадцать шестнадцатых.

Фабрикант из Болтона пишет: "Удлинение стержней наших рам позволяет нам использовать всего двадцать шесть прядильщиков, тогда как в 1837 году мы использовали тридцать пять".

Еще одно сокращение числа рабочих: каждый четвертый - жертва.

Эти факты взяты из "Revue Economique" 1842 года; и нет никого, кто не мог бы указать на подобные. Я был свидетелем внедрения печатных машин и могу сказать, что своими глазами видел зло, от которого пострадали печатники. За те пятнадцать или двадцать лет, что машины были в употреблении, часть рабочих вернулась к составу, другие бросили свое ремесло, а некоторые умерли от нищеты: таким образом, рабочие постоянно вытесняются из-за промышленных новшеств. Двадцать лет назад восемьдесят судов, курсирующих по каналу, обеспечивали навигацию между Бокером и Лионом; десятки пароходов вытеснили их все. Конечно, торговля выиграла; но что стало с населением, пользующимся лодками? Был ли он перенесен с лодок на пакеты? Нет: он ушел туда, куда уходят все вытесненные отрасли промышленности, — он исчез.

В остальном следующие документы, которые я беру из того же источника, дадут более позитивное представление о влиянии промышленных улучшений на положение рабочих.

Средняя недельная заработная плата в Манчестере составляет десять шиллингов. Из четырехсот пятидесяти рабочих нет сорока, которые зарабатывают двадцать шиллингов.

Автор статьи осторожно отмечает, что англичанин потребляет в пять раз больше француза; таким образом, это все равно, как если бы французский рабочий был вынужден жить на два с половиной франка в неделю.

"Эдинбург Ревью", 1835: "Группе рабочих (которые не хотели снижения своей заработной платы) мы обязаны мулом Шарпа и Робертсом из Манчестера; и это изобретение сурово наказало неосторожных профсоюзных активистов".

НАКАЗАННЫЙ должен заслуживать наказания. Изобретение Шарпа и Робертса из Манчестера было неизбежно результатом сложившейся ситуации; отказ рабочих подчиниться требуемому от них сокращению расходов был лишь решающим поводом. Не мог бы кто-нибудь сделать вывод из атмосферы мести, затронутой "Эдинбург Ревью", что машины имеют обратную силу?

Английский фабрикант: "Неподчинение наших рабочих натолкнуло нас на мысль ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Мы приложили и стимулировали все мыслимые усилия разума, чтобы заменить работу людей более послушными инструментами, и мы достигли нашей цели. Машины освободили капитал от гнета труда. Везде, где мы по-прежнему нанимаем человека, мы делаем это лишь временно, до тех пор, пока не изобретем для нас какие-либо средства выполнения его работы без него".

Что это за система, которая заставляет делового человека с восторгом думать о том, что общество скоро сможет обходиться без мужчин! МАШИНЫ ОСВОБОДИЛИ КАПИТАЛ ОТ ГНЕТА ТРУДА! Это точно так же, как если бы кабинет министров взял на себя обязательство освободить казну от гнета налогоплательщиков. Дурак! хотя рабочие вам чего-то стоят, они ваши клиенты: что вы будете делать со своими продуктами, когда они, изгнанные вами, перестанут их потреблять? Таким образом, машины, сокрушив рабочих, не замедляют нанести предпринимателям ответный удар; ибо, если производство исключает потребление, оно вскоре вынуждено остановиться само.

В четвертом квартале 1841 года в одном из английских промышленных городов произошли четыре крупных краха, в результате которых тысяча семьсот двадцать человек оказались на улице.

Эти неудачи были вызваны перепроизводством, то есть неадекватностью рынка или бедственным положением людей. Как жаль, что машины не могут также избавить капитал от гнета потребителей! Какое несчастье, что машины не покупают ткани, которые они ткут! Идеальное общество будет достигнуто, когда торговля, сельское хозяйство и мануфактура смогут обходиться без участия человека на земле!

В йоркширском приходе в течение девяти месяцев оперативники работали всего два дня в неделю.

Машины!

В Гестоне две фабрики стоимостью шестьдесят тысяч фунтов стерлингов были проданы за двадцать шесть тысяч. Они производили больше, чем могли продать.

Машины!

В 1841 году число детей МОЛОЖЕ тринадцати лет, занятых на мануфактурах, уменьшается, потому что их место занимают дети старше тринадцати.

Машины! Взрослый рабочий снова становится подмастерьем, ребенком: этот результат был предвиден на этапе разделения труда, в течение которого мы видели, как качество рабочего ухудшалось по мере совершенствования промышленности.

В своем заключении журналист делает следующее рассуждение: "С 1836 года в хлопчатобумажной промышленности наблюдается ретроградное движение", то есть она больше не поддерживает своих отношений с другими отраслями промышленности: еще один результат, предусмотренный теорией пропорциональности ценностей.

Сегодня рабочие коалиции и забастовки, по-видимому, прекратились по всей Англии, и экономисты справедливо радуются этому возвращению к порядку - скажем, даже к здравому смыслу. Но поскольку рабочие отныне — по крайней мере, я лелею надежду — не будут добавлять страдания от своих добровольных периодов безделья к страданиям, которые навязывают им машины, следует ли из этого, что ситуация изменилась? И если ситуация не изменится, не будет ли будущее всегда представлять собой жалкую копию прошлого?

Экономисты любят сосредоточивать свой ум на картинах общественного благополучия: именно по этому признаку их следует узнавать и именно по этому признаку они оценивают друг друга. Тем не менее, с другой стороны, среди них немало людей с капризным и болезненным воображением, всегда готовых компенсировать рассказы о растущем процветании доказательствами постоянной бедности.

М. Теодор Фикс так подытожил общую ситуацию в декабре 1844 года:

Продовольственное обеспечение народов больше не подвергается тем ужасным нарушениям, вызванным нехваткой продовольствия и массовыми голодами, которые были столь частыми вплоть до начала девятнадцатого века. Разнообразие сельскохозяйственных культур и усовершенствований почти полностью устранило это двойное бедствие. Общий урожай пшеницы во Франции в 1791 году оценивался примерно в 133 000 000 бушелей, что давало, за вычетом семян, по 2,855 бушеля на каждого жителя. В 1840 году тот же урожай оценивался в 198,590,000 бушелей, или 2,860 бушелей на каждого человека, при этом площадь обрабатываемой поверхности была почти такой же, как до революции. ... Темпы роста производства промышленных товаров были по меньшей мере такими же высокими, как и продуктов питания; и мы вправе утверждать, что масса текстильных изделий за пятьдесят лет увеличилась более чем вдвое, а возможно, и втрое. Совершенствование технических процессов привело к такому результату. . . .

С начала века средняя продолжительность жизни увеличилась на два—три года - неоспоримый признак большего комфорта или, если угодно, уменьшения бедности.

За двадцать лет сумма косвенных доходов без каких—либо обременительных изменений в законодательстве возросла с 40 000 000 франков до 720 000 000 долларов, что является симптомом экономического прогресса, причем в гораздо большей степени, чем финансового.

На 1 января 1844 года депозитно-консигнационное управление задолжало сберегательным банкам 351 500 000 франков, и Париж фигурировал в этой сумме в размере 105 000 000. Тем не

менее развитие института произошло почти полностью в течение двенадцати лет, и следует отметить, что 351 500 000 франков, причитающихся сейчас сберегательным кассам, не составляют всей массы произведенной экономии, поскольку в данный момент накопленный капитал расходуется иным образом. . . . В 1843 году из 320 000 рабочих и 80 000 домашней прислуги, проживающих в столице, 90 000 рабочих внесли в сберегательные кассы 2 547 000 франков, а 34 000 домашней прислуги - 1 268 000 франков.

Все эти факты совершенно верны, и из них можно сделать самый точный вывод в пользу машин, а именно, что они действительно дали мощный толчок всеобщему благосостоянию.

Но факты, которыми мы их дополним, не менее достоверны, и вывод, который можно сделать из них против машин, будет не менее точным, а именно, что они являются постоянной причиной пауперизма. Я обращаюсь к цифрам самого М. Фикса.

Из 320 000 рабочих и 80 000 домашней прислуги, проживающих в Париже, 230 000 первых и 46 000 вторых — всего 276 000 — не делают вкладов в сберегательных кассах. Никто не посмеет притворяться, что это 276 000 расточителей и бездельников, которые добровольно подвергают себя страданиям. Теперь, поскольку среди тех, кто делает сбережения, есть бедные и неполноценные люди, для которых сберегательная касса - всего лишь передышка от разврата и нищеты, мы можем заключить, что из всех людей, живущих своим трудом, почти три четверти либо неблагоразумны, ленивы и развращены, поскольку они не делают вкладов в сберегательные кассы, либо слишком бедны, чтобы что-либо откладывать. Другой альтернативы нет. Но здравый смысл, не говоря уже о милосердии, не допускает огульных обвинений рабочего класса: следовательно, необходимо снова свалить вину на нашу экономическую систему. Как получилось, что М. Фикс не видел, что его деятели обвиняют самих себя?

Они надеются, что со временем все или почти все работники внесут вклады в сберегательные кассы. Не ожидая свидетельства из будущего, мы можем немедленно проверить основы этой надежды.

Согласно свидетельству месье Ви, мэра пятого округа Парижа, "число нуждающихся семей, внесенных в реестры благотворительных бюро, составляет 30 000, что эквивалентно 65 000 человек". Перепись, проведенная в начале 1846 года, дала 88 474. И бедные семьи, не внесенные в списки, — сколько их? Столько же. Итак, скажем, 180 000 человек, чья бедность не вызывает сомнений, хотя и не является официальной. И все те, кто живет в стесненных обстоятельствах, хотя и поддерживает видимость комфорта, — сколько их? В два раза больше — в общей сложности 360 000 человек в Париже, которые несколько стеснены в средствах.

"Они говорят о пшенице, - восклицает другой экономист, месье Луи Леклерк, - но разве огромное население не обходится без хлеба? Не покидая нашей собственной страны, разве нет населения, которое питается исключительно кукурузой, гречихой, каштанами?"

Месье Леклерк осуждает этот факт: давайте истолкуем его. Если, как это несомненно, прирост населения ощущается главным образом в крупных городах, то есть в тех пунктах, где потребляется больше всего пшеницы, то ясно, что средний показатель на душу населения мог увеличиться без какого-либо улучшения общего состояния. Нет такого лжеца, как среднестатистический.

"Они говорят, - продолжает тот же автор, - об увеличении косвенного потребления. Тщетными были бы попытки оправдать парижскую фальсификацию: она существует; у нее есть свои мастера, свои адепты, своя литература, свои дидактические и классические трактаты. . . . Франция обладала изысканными винами; что с ними сделали? Что стало с этим великолепным богатством? Где сокровища, созданные национальным гением со времен Пробуса? И все же, когда задумываешься о чрезмерностях, к которым приводит вино везде, где оно дорого, где оно не является частью обычной жизни людей; когда в Париже, столице королевства хороших вин, видишь, как люди объедаются не знаю чем, — фальсифицированным, утонченным, тошнотворным, а иногда и отвратительным, — и состоятельных людей, пьющих дома или молча принимающих в знаменитых ресторанах так называемые вина, густые, фиолетового цвета, безвкусные, плоские и настолько убогие, что делают самыми бедными. Бургундский крестьянин содрогается. - можно ли искренне сомневаться в том, что алкогольные напитки являются одной из самых насущных потребностей нашей природы?

Я привожу этот отрывок подробно, потому что в нем применительно к особому случаю суммируется все, что можно было бы сказать о НЕУДОБСТВАХ машин. Для людей это касается вина, как и тканей, и вообще всех товаров, созданных для потребления бедняками. Вывод всегда один и тот же: снизить с помощью того или иного процесса стоимость производства, чтобы, во-первых, поддерживать выгодную конкуренцию с более удачливыми или более богатыми конкурентами; во-вторых, обслуживать огромное количество ограбленных людей, которые не могут пренебрегать ценой просто потому, что качество хорошее. Произведенное обычным способом вино слишком дорого для массы потребителей; ему грозит опасность остаться в погребах розничных торговцев. Производитель вин справляется с этой трудностью: не имея возможности внедрить технику в выращивание виноградной лозы, он находит средство, с помощью некоторых вспомогательных средств, сделать драгоценную жидкость доступной для всех. Некоторые дикари в периоды дефицита едят землю; цивилизованный рабочий пьет воду. Мальтус был великим гением.

Что касается увеличения средней продолжительности жизни, я признаю этот факт, но в то же время заявляю, что наблюдение неверно. Давайте объясним это. Предположим, что население составляет десять миллионов душ: если, по какой бы то ни было причине, средняя продолжительность жизни увеличится на пять лет для миллиона особей, а смертность среди девяти других миллионов продолжит свои разрушительные действия с той же скоростью, что и раньше, то при распределении этого увеличения среди всего населения окажется, что в среднем к жизни каждой особи прибавилось шесть месяцев. Так обстоит дело со средней продолжительностью жизни, так называемым показателем среднего комфорта, как и со средним уровнем образования: уровень знаний не перестает повышаться, что никоим образом не меняет того факта, что сегодня во Франции столько же варваров, сколько во времена Франсуа I. Шарлатаны, имевшие в виду железнодорожную спекуляцию, подняли большой шум о важности локомотива в циркуляции идей; и экономисты, всегда настороже в поисках цивилизованных глупостей, не преминули повторить эту бессмыслицу. Как будто идеям для распространения нужны локомотивы! Что же тогда мешает идеям циркулировать из Института в предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо, на узкие и убогие улочки Старого Парижа и квартал Тампль, короче говоря, повсюду, где обитает эта толпа, лишенная идей еще больше, чем хлеба? Как случилось, что между парижанином и парижанкой, несмотря на омнибус и почтальона, расстояние сегодня в три раза больше, чем в четырнадцатом веке?

Разрушительное влияние машин на общественную экономику и положение рабочих проявляется тысячью способов, все из которых связаны между собой и обозначены взаимно: прекращение труда, снижение заработной платы, перепроизводство, препятствование рынку, изменение и фальсификация продукции, сбой, вытеснение рабочих, вырождение расы и, наконец, болезни и смерть.

Месье Теодор Фикс сам заметил, что за последние пятьдесят лет средний рост человека во Франции уменьшился на значительную долю дюйма. Это наблюдение стоит его предыдущего: на кого подействует это уменьшение?

В докладе, зачитанном Академии моральных наук о результатах применения закона от 22 марта 1841 года, г-н Леон Фоше выразился так:

Молодые рабочие бледны, слабы, невысоки ростом и медленно соображают, так же как и двигаются. В четырнадцать-пятнадцать лет они кажутся не более развитыми, чем дети девяти-десяти лет в нормальном состоянии. Что касается их интеллектуального и нравственного развития, то есть такие, кто в возрасте тринадцати лет не имеет понятия о Боге, кто никогда не слышал о своих обязанностях и чьей первой школой нравственности была тюрьма.

Именно это увидел г-н Леон Фоше, к великому неудовольствию г-на Шарля Дюпена, и он заявляет, что закон от 22 марта бессильен исправить это положение вещей. И давайте не будем сердиться из-за этого бессилия законодателя: зло проистекает из причины, столь же необходимой для нас, как солнце; и на пути, на который мы вступили, гнев любого рода, как и паллиативы любого рода, могут только ухудшить наше положение. Да, в то время как наука и промышленность добиваются такого поразительного прогресса, необходимо, если только центр тяжести цивилизации внезапно не изменится, уменьшить интеллект и комфорт пролетариата; в то время как жизнь зажиточных классов становится длиннее и легче, неизбежно, что жизнь нуждающихся должна становиться тяжелее и короче. Это подтверждается трудами лучших — я имею в виду, самых оптимистичных — мыслителей.

Согласно г-ну де Моругу, 7 500 000 человек во Франции могут тратить только девяносто один франк в год, или 25 сантимов в день. *Cinq sous! cinq sous!* (Пять центов! пять центов!). Значит, в этом отвратительном припеве есть что-то пророческое.

В Англии (не включая Шотландию и Ирландию) уровень бедности составлял:

1801.—4 078 891 фунтов стерлингов при населении 8 872 980
1818.—7 870 801 " " " " 11 978 875
1833.—8 000 000 фунтов стерлингов " " " " 14 000 000

Таким образом, рост бедности был более быстрым, чем рост численности населения; что же становится с гипотезами Мальтуса перед лицом этого факта? И все же бесспорно, что за тот же период средний уровень комфорта увеличился: что же тогда означает статистика?

Уровень смертности в первом округе Парижа составляет один на каждые пятьдесят два жителя, а в двенадцатом — один на каждые двадцать шесть. Так вот, в последнем на каждые семь жителей приходится один нуждающийся, в то время как в первом — только один на каждые двадцать восемь. Это не мешает средней продолжительности жизни, даже в Париже, увеличиваться, как очень верно заметил М. Фикс.

В Мюлузе средняя продолжительность жизни составляет двадцать девять лет для детей зажиточного класса и два года для детей рабочих; в 1812 году средняя продолжительность жизни в той же местности составляла двадцать пять лет, девять месяцев и двенадцать дней, в то время как в 1827 году она составляла не более двадцати одного года и девяти месяцев. И все же по всей Франции средняя продолжительность жизни больше. Что это значит?

Мсье Бланки, неспособный объяснить такое большое процветание и такую большую бедность одновременно, где-то кричит: "Увеличение производства не означает дополнительного богатства. . . . Бедность, напротив, распространяется все шире пропорционально концентрации отраслей промышленности. Должен быть какой-то радикальный порок в системе, которая не гарантирует никакой безопасности ни капиталу, ни рабочей силе и которая, по-видимому, умножает затруднения производителей в то же самое время, когда заставляет их увеличивать производство своей продукции".

Здесь нет радикального порока. Что поражает г-на Бланки, так это просто то, чему Академия, к которой он принадлежит, потребовала определения, а именно: колебания экономического маятника СТОИМОСТИ, отбивающие попеременно и в одинаковое время добро и зло, пока не пробьет час всеобщего уравнивания. Если мне будет позволено другое сравнение, человечество в своем марше подобно колонне солдат, которые, начиная одним и тем же шагом и в одно и то же мгновение под размеренный бой барабана, постепенно теряют дистанцию. Все тело движется вперед, но расстояние от головы до хвоста становится все длиннее; и необходимым результатом движения является то, что должны быть некоторые отстающие.

Но необходимо еще глубже проникнуть в эту антиномию.

Машины обещали нам увеличение богатства; они сдержали свое слово, но в то же время обрекли нас на рост бедности. Они обещали нам свободу; я собираюсь доказать, что они принесли нам рабство.

Я утверждал, что определение ценности, а вместе с ним и невзгоды общества, начались с разделения отраслей, без которого не могло быть ни обмена, ни богатства, ни прогресса.

Период, через который мы сейчас проходим, период машин, отличается особой характеристикой — ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ.

Заработная плата определяется прямой зависимостью от применения машин, то есть, чтобы придать моей мысли всю общность выражения, которой она требует, от экономической фикции, благодаря которой капитал становится агентом производства. Короче говоря, заработная плата, возникающая после разделения труда и обмена, является необходимым коррелятом теории сокращения издержек, каким бы способом это сокращение ни осуществлялось. Эта генеалогия слишком интересна, чтобы пройти мимо, не сказав нескольких слов пояснения.

Первая, самая простая и мощная из машин - это МАСТЕРСКАЯ.

Разделение просто разделяет различные части труда, предоставляя каждому посвятить себя специальности, наиболее соответствующей его вкусам: мастерская группирует работников в соответствии с отношением каждой части к целому. Это самая элементарная форма баланса

ценностей, которую невозможно обнаружить, хотя экономисты и предполагают, что это так. Теперь, благодаря цеху, производство будет увеличиваться, а заодно и дефицит.

Кто-то обнаружил, что, разделив производство на различные части и заставив выполнять каждую отдельным рабочим, он получил бы умножение мощности, продукт которого был бы намного выше количества труда, затрачиваемого тем же количеством рабочих, когда труд не разделен.

Ухватившись за нить этой идеи, он сказал себе, что, сформировав постоянную группу работников, подобранных в соответствии с его особой целью, он будет производить более стабильно, в большем изобилии и с меньшими затратами. Однако нет необходимости собирать рабочих в одном месте: существование мастерской существенно не зависит от такого контакта. Это является результатом взаимосвязи и пропорциональности различных задач и общей мысли, направляющей их. Одним словом, концентрация в одной точке может дать свои преимущества, которыми не следует пренебрегать; но это не то, что составляет суть семинара.

Таким образом, это предложение, которое спекулянт делает тем, чьего сотрудничества он желает: я гарантирую вам постоянный рынок сбыта вашей продукции, если вы примете меня в качестве покупателя или посредника. Сделка настолько явно выгодна, что это предложение не может не быть принято. Рабочий находит в этом постоянную работу, фиксированную цену и безопасность; работодатель, с другой стороны, найдет более выгодный сбыт для своих товаров, поскольку, производя более выгодно, он может снизить цену; короче говоря, его прибыль будет больше из-за массы его инвестиций. Все, даже общественность и магистрат, поздравят работодателя с тем, что он пополнил общественное достояние своими комбинациями, и проголосуют за его вознаграждение.

Но, во-первых, тот, кто говорит о сокращении расходов, говорит о сокращении услуг, правда, не в новом цехе, а для работников той же профессии, которые остались снаружи, а также для многих других, чьи вспомогательные услуги будут менее востребованы в будущем. Следовательно, каждое создание мастерской соответствует выселению рабочих: это утверждение, каким бы противоречивым оно ни казалось, так же верно в отношении мастерской, как и в отношении машины.

Экономисты признают это; но здесь они повторяют свой вечный рефрен о том, что по прошествии времени, когда спрос на продукт возрастет пропорционально снижению цены, рабочая сила, в свою очередь, станет наконец пользоваться большим спросом, чем когда-либо. Несомненно, СО ВРЕМЕНЕМ равновесие будет восстановлено; но, я должен еще раз добавить, равновесие будет восстановлено не раньше, чем оно будет нарушено в другой точке, потому что дух изобретательства никогда не прекращается, так же как и труд. Итак, какая теория могла бы оправдать эти вечные гекатомбы?" "Когда мы сократим число тружеников, - писал Сисмонди, - до четвертой или пятой части того, что есть в настоящее время, нам понадобится всего лишь вчетверо или впятеро больше священников, врачей и т. Д. Когда мы полностью уничтожим их, мы будем в состоянии обойтись без человеческой расы". И это то, что действительно произошло бы, если бы для того, чтобы распределить труд каждой машины пропорционально потребностям потребления, — то есть восстановить постоянно разрушаемый баланс ценностей, - не было необходимости постоянно создавать новые машины, открывать другие рынки и, следовательно, увеличивать объем услуг и вытеснять другие виды вооружений. Так что, с одной

стороны, промышленность и богатство, с другой - население и нищета, продвигаются, так сказать, процессией, причем одно всегда тянет за собой другое.

Я показал подрядчика, стоящего на пороге зарождения промышленности, который ведет переговоры на равных со своими товарищами, которые с тех пор стали ЕГО РАБОЧИМИ. На самом деле ясно, что это первоначальное равенство должно было исчезнуть из-за выгодного положения хозяина и зависимости наемных рабочих. Напрасно закон гарантирует каждому право предприятия, а также профессорско-преподавательского состава трудиться самостоятельно и продавать свою продукцию напрямую. Согласно гипотезе, этот последний ресурс неосуществим, поскольку целью мастерской было уничтожение изолированного труда. А что касается права, как говорится, взяться за плуг и двигаться во весь опор, то на мануфактурах оно такое же, как и в сельском хозяйстве; уметь работать - ничего не значит, нужно прийти вовремя; магазин, как и земля, предоставляется первому встречному.

Когда у заведения было достаточно времени, чтобы развиваться, расширять свой фундамент, пополнять себя капиталом и обеспечивать себе множество покровителей, что может сделать рабочий, у которого есть только его руки, против столь могущественной силы? Следовательно, гильдии и мастерские были созданы в Средние века не в результате произвольного акта суверенной власти или случайной и грубой узурпации: сила событий создала их задолго до того, как королевские эдикты могли придать им юридическое значение; и, несмотря на реформу 89-го года, мы видим, как они восстанавливаются на наших глазах с энергией, в сто раз более устрашающей. Предоставьте труд его собственным тенденциям, и порабощение трех четвертей человеческой расы обеспечено.

Но это еще не все. Машина, или мастерская, после того, как она унизила рабочего, дав ему мастера, довершает его вырождение, низводя его из разряда ремесленника в разряд обычного рабочего.

Раньше население берегов Соны и Роны состояло в основном из лодочников, полностью приспособленных для управления лодками по каналу или гребными шлюпками. Теперь, когда паровые буксиры можно встретить почти повсюду, большинство лодочников, не имея возможности зарабатывать на жизнь своим ремеслом, либо проводят три четверти своей жизни в праздности, либо становятся кочегарами.

Если не нищета, то деградация: такова последняя альтернатива, которую машины предлагают рабочему. Ибо с машиной дело обстоит так же, как с артиллерийским орудием: за исключением капитана, те, кого она занимает, - слуги, рабы.

С момента основания крупных фабрик множество мелких производств исчезло из домашнего очага: верит ли кто-нибудь, что девушки, работающие за десять-пятнадцать центов, обладают таким же интеллектом, как их предки?

"После открытия железной дороги от Парижа до Сен-Жермена, - сообщает нам мсье Дюнуайе, - между Пеком и множеством мест в более или менее непосредственной близости было проложено такое количество линий омнибусов и дилижансов, что это открытие, вопреки всем ожиданиям, значительно увеличило использование лошадей".

ВОПРОТИВ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ! Нужно быть экономистом, чтобы не ожидать подобных вещей. Умножайте механизмы, и вы увеличиваете количество тяжелой и неприятной работы, которую предстоит выполнить: эта гипотеза столь же несомненна, как и любая из тех, что восходят к всемирному потоку. Обвиняйте меня, если хотите, в недоброжелательстве к самому ценному изобретению нашего столетия, — ничто не мешает мне сказать, что основным результатом железных дорог после подчинения мелкой промышленности будет создание популяции деградировавших рабочих — связистов, подметальщиков, грузчиков, валяльщиков, возчиков, сторожей, носильщиков, весовщиц, смазчиков, уборщиков, кочегаров, кочегарков и т.д. Две тысячи миль железной дороги дадут Франции дополнительно пятьдесят тысяч крепостных: конечно, не для таких людей, как Шевалье нужны профессиональные школы.

Возможно, кто-то скажет, что, поскольку масса транспорта увеличилась в гораздо большей пропорции, чем количество поденщиков, разница идет на пользу железной дороге и что, учитывая все обстоятельства, прогресс налицо. Это наблюдение можно даже обобщить и применить один и тот же аргумент ко всем отраслям промышленности.

Но именно из этой общности явления проистекает подчинение рабочих. Машины играют ведущую роль в промышленности, человек второстепенен: вся гениальность, проявляемая трудом, ведет к деградации пролетариата. Какой славной будет наша нация, когда среди сорока миллионов жителей она будет насчитывать тридцать пять миллионов чернорабочих, бумагомарателей и лакеев!

Вместе с машинами и мастерской божественное право, то есть принцип авторитета, проникает в политическую экономию. Капитал, Господство, Привилегия, Монополия, Ссуда, Кредит, Собственность и т.д. — таковы на экономическом языке различные названия не знаю чего, но того, что иначе называется Силой, Авторитетом, Суверенитетом, Писанным Законом, Откровением, Религией, короче говоря, Богом, причиной и принципом всех наших страданий и всех наших преступлений, и кто, чем больше мы пытаемся дать ему определение, тем больше ускользает от нас.

Неужели в таком случае невозможно, чтобы при нынешнем состоянии общества мастерская с ее иерархической организацией и механизмами, вместо того чтобы служить исключительно интересам наименее многочисленного, наименее трудолюбивого и самого богатого класса, использовалась на благо всех?

Это то, что мы собираемся исследовать.

% 3.—консервантов, предотвращающих разрушительное воздействие машин.

Сокращение ручного труда является синонимом снижения цены и, следовательно, увеличения обмена, поскольку, если потребитель заплатит меньше, он купит больше.

Но сокращение ручного труда также является синонимом ограничения рынка, поскольку, если производитель зарабатывает меньше, он будет меньше покупать. И это то, что происходит на самом деле. Концентрация сил в мастерской и вмешательство капитала в производство под именем машин порождают одновременно перепроизводство и нищету; и каждый был свидетелем того, как эти два бедствия, которых следует опасаться больше, чем поджогов и чумы, развиваются в наши дни в огромнейших масштабах и со всепожирающей интенсивностью. Тем не менее, для нас невозможно отступить: необходимо производить,

производить всегда, производить дешево; в противном случае существование общества поставлено под угрозу. Рабочий, который, чтобы избежать деградации, которой угрожал ему принцип разделения, создал так много чудесных машин, теперь оказывается либо под запретом, либо поработанным своими собственными произведениями. Какие средства предлагаются против этой альтернативы?

Г-н де Сисмонди, как и все люди патриархальных взглядов, хотел бы, чтобы разделение труда с машинами и мануфактурами было отменено и каждая семья вернулась к системе примитивного разделения, то есть КАЖДЫЙ САМ ПО СЕБЕ, КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, в самом буквальном значении этих слов. Это было бы ретроградством; это невозможно.

Мсье Бланки возвращается к обвинению со своим планом участия рабочего и объединения всех отраслей промышленности в акционерное общество в интересах коллективного работника. Я показал, что этот план нанесет ущерб общественному благосостоянию без существенного улучшения положения рабочих; и сам г-н Бланки, по-видимому, разделяет это мнение. Как, в самом деле, согласовать это участие рабочего в получении прибыли с правами изобретателей, подрядчиков и капиталистов, из которых первые должны возмещать себе большие затраты, а также свои длительные и терпеливые усилия; вторые постоянно подвергают опасности нажитое ими богатство и берут на себя только риски своих предприятий, которые часто очень опасны; а третьи не могли бы допустить уменьшения своих дивидендов без того, чтобы каким-либо образом не потерять свои сбережения? Одним словом, как согласовать равенство, которое желательно установить между рабочими и предпринимателями, с преобладанием, которого нельзя отнять у руководителей предприятий, у ссужающих капитал лиц и у изобретателей и которое столь явно предполагает исключительное присвоение ими прибыли? Издать закон, разрешающий всем рабочим получать долю прибыли, означало бы провозгласить распад общества: все экономисты видели это настолько ясно, что в конце концов превратили в увещевание работодателям то, что сначала пришло им в голову как проект. Итак, пока наемный рабочий не получает никакой прибыли, кроме той, которую может предоставить ему подрядчик, можно с полной уверенностью предположить, что его уделом будет вечная нищета: не во власти владельцев рабочей силы сделать это иначе.

В остальном, идея, в остальном весьма похвальная, объединения рабочих с работодателями приводит к этому коммунистическому выводу, очевидно ложному в своих посылах: последнее слово техники состоит в том, чтобы сделать человека богатым и счастливым без необходимости труда с его стороны. Поскольку, таким образом, естественные силы должны все делать за нас, машины должны принадлежать государству, а целью прогресса является коммунизм.

Я рассмотрю коммунистическую теорию в ее месте.

Но я полагаю, что должен немедленно предупредить сторонников этой утопии, что надежда, которой они тешат себя в отношении машин, является всего лишь иллюзией экономистов, чем-то вроде вечного двигателя, который всегда ищут и никогда не находят, потому что просят у силы, которая не может его дать. Машины работают не в одиночку: чтобы поддерживать их в движении, необходимо организовать вокруг них огромную службу; так что, в конце концов, человек создает для себя количество работы, пропорциональное количеству инструментов, которыми он себя окружает, и главное соображение в отношении машин заключается не столько в разделении их продукции, сколько в том, чтобы следить за тем, чтобы они питались, то

есть постоянно обновлять движущую силу. Так вот, этой движущей силой являются не воздух, вода, пар, электричество; это рабочая сила, то есть рынок.

Железная дорога подавляет на всем протяжении своей линии транспортные средства, дилижансы, мастеров упряжи, шорников, колесных мастеров, трактирщиков: я принимаю факты такими, какие они есть сразу после прокладки дороги. Предположим, что государство в качестве меры защиты или в соответствии с принципом компенсации сделало бы рабочих, перемещенных железной дорогой, своими владельцами или операторами: транспортные тарифы, предположим, были бы снижены на двадцать пять процентов. (иначе какая польза от железной дороги?), доход всех этих рабочих, вместе взятых, уменьшится на такую же сумму, а это значит, что четвертая часть людей, ранее живших с помощью транспортных средств, окажется буквально без средств, несмотря на щедрость государства. Для покрытия своего дефицита у них есть только одна надежда — что объем перевозок, осуществляемых по железной дороге, может быть увеличен на двадцать пять процентов., или же что они могут найти работу в других отраслях промышленности, что на первый взгляд кажется невозможным, поскольку, согласно гипотезе и фактически, места везде заполнены, пропорция везде соблюдается, и предложение удовлетворяет спрос.

Более того, если мы хотим увеличить массу транспорта, крайне необходимо придать новый импульс рабочей силе в других отраслях промышленности. Теперь, допуская, что рабочие, вытесненные этим перепроизводством, находят работу и что их распределение по различным видам рабочей силы оказывается столь же легким на практике, как и в теории, трудность все еще далека от разрешения. Поскольку отношение числа лиц, занятых в обращении, к числу лиц, занятых в производстве, составляет от ста до одной тысячи, то для получения того же дохода, что и раньше, при снижении стоимости обращения на одну четверть, другими словами, на четверть большей мощности, необходимо будет также увеличить производство на одну четверть, то есть увеличить численность сельскохозяйственной и промышленной армии не на двадцать пять человек - цифра, указывающая на пропорциональность несущей промышленности, — а на двести пятьдесят. Но чтобы достичь этого результата, необходимо будет создать машины, — что еще хуже, создать людей, что постоянно возвращает вопрос к одной и той же точке. Таким образом, противоречие за противоречием: теперь не только людям не хватает рабочей силы из-за машин, но и людям из-за их численной слабости и недостаточности их потребления не хватает машин: так что до установления равновесия одновременно ощущается нехватка работы и оружия, нехватка продуктов и нехватка рынков. И то, что мы говорим о железной дороге, верно для всех отраслей промышленности: человек и машина всегда преследуют друг друга, первый никогда не достигает покоя, второй никогда не достигает удовлетворения.

Какими бы ни были темпы механического прогресса; хотя были бы изобретены машины, в сто раз более замечательные, чем погонщик мулов, вязальная машина или цилиндрический пресс; хотя были бы открыты силы, в сто раз более мощные, чем пар, - все это было бы очень далеко от освобождения человечества, обеспечения его досуга и дарового производства всего, эти вещи не имели бы никакого другого эффекта, кроме умножения труда, увеличения численности населения, утяжеления цепей крепостничества, удорожания жизни и углубления пропасти, отделяющей класс, который командует и наслаждается, от класса, который подчиняется и получает удовольствие. страдает.

Предположим теперь, что все эти трудности преодолены; предположим, что количество рабочих, предоставленных железной дорогой, соответствует увеличению объема работ, требуемых для обслуживания локомотива, — компенсация будет произведена безболезненно, никто не пострадает; напротив, благосостояние каждого повысится на долю прибыли, полученной от замены железнодорожного дилижанса. Что же тогда, спросят меня, мешает этим вещам происходить такой регулярностью и точностью? А что может быть проще, чем разумному правительству управлять всеми переходными процессами в промышленности?

Я продвинул гипотезу настолько далеко, насколько это было возможно, чтобы показать, с одной стороны, цель, к которой стремится человечество, и, с другой стороны, трудности, которые оно должно преодолеть, чтобы достичь ее. Несомненно, провиденциальный порядок таков, что прогресс в том, что касается механизмов, должен осуществляться тем способом, о котором я только что говорил: но что затрудняет продвижение общества и заставляет его переходить от Харибды к Сцилле, так это именно тот факт, что оно не организовано. Мы достигли пока только второй фазы его развития, а на нашем пути уже встретились две пропасти, которые кажутся непреодолимыми, — разделение труда и машинное производство. Как спасти парцеллярного рабочего, если он интеллигентный человек, от деградации или, если он уже деградировал, поднять его к интеллектуальной жизни? Как, во-вторых, породить среди рабочих ту солидарность интересов, без которой промышленный прогресс отсчитывает свои шаги по своим катастрофам, когда эти же самые рабочие радикально разделены трудом, заработной платой, интеллектом и свободой, то есть эгоизмом? Короче говоря, как согласовать то, что уже достигнутый прогресс сделал несовместимым? Апеллировать к коммунизму и братству означало бы предвосхищать даты: между такими созданиями, какие создали разделение труда и обслуживание машин, нет ничего общего, никакого братства существовать не может. Мы не должны искать решение в этом направлении — по крайней мере, в настоящее время.

Что ж! скажут, поскольку зло все еще больше кроется в умах, чем в системе, давайте вернемся к обучению, давайте трудиться для просвещения людей.

Для того, чтобы наставление могло быть полезным, для того, чтобы его можно было даже получить, необходимо, прежде всего, чтобы ученик был свободен, подобно тому, как перед тем, как посадить участок земли, мы очищаем его от колючек и собачьей травы. Более того, наилучшей системой образования, даже в том, что касается философии и морали, было бы профессиональное образование: еще раз, как совместить такое образование с парцеллярным разделением и обслуживанием машин? Как может человек, который в результате своего труда стал рабом, то есть движимым имуществом, вещью, снова стать личностью благодаря тому же труду или продолжению того же упражнения? Почему не видно, что эти идеи взаимно отталкивают друг друга и что, если бы по какой-то причине пролетарий мог достичь определенного уровня интеллекта, он бы воспользовался им в первую очередь для революционизации общества и изменения всех гражданских и производственных отношений? И то, что я говорю, не является напрасным преувеличением. Рабочий класс в Париже и крупных городах значительно превосходит в идейном отношении то, что было двадцать пять лет назад; теперь пусть они скажут мне, не является ли этот класс решительно, энергично революционным! И это будет становиться все более и более таковым по мере того, как оно будет усваивать идеи справедливости и порядка, особенно по мере того, как оно достигнет понимания механизма собственности.

Язык, — я прошу разрешения еще раз вернуться к этимологии, — язык, как мне кажется, ясно выразил моральное состояние рабочего после того, как он был, если можно так выразиться, обезличен промышленностью. В латинском языке идея рабства подразумевает подчинение человека вещам; и когда более поздний феодальный закон объявил крепостного ПРИКРЕПЛЕННЫМ К ХОЛОПУ, это лишь перефразировало буквальное значение слова *servus*. [16] Таким образом, стихийный разум, оракул самой судьбы, осудил низшего рабочего еще до того, как наука установила его унижение. В таком случае, что могут сделать усилия филантропии для существ, которых отвергло Провидение?

[16] Несмотря на самые авторитетные источники, я не могу согласиться с идеей, что *serf*, по-латыни *servus*, был назван так от *servare* - содержать, потому что раб был военнопленным, которого держали для работы. Рабство или, по крайней мере, домашняя жизнь, безусловно, предшествуют войне, хотя война, возможно, заметно усилила его. Более того, почему, если таково было происхождение идеи, равно как и вещи, они не должны были сказать вместо *servus*, *serv-atus*, в соответствии с грамматической дедукцией? Для меня настоящая этимология раскрывается в противопоставлении *serve-are* и *serve-ire*, примитивной темой которого является *ser-o*, *in-sero*, соединять, давить, откуда *seres*, соединение, непрерывность, *ser-a*, запирать, сертифицировать, вставлять и т.д. Все эти слова подразумевают идею главной вещи, к которой присоединяется аксессуар, как объекта особой полезности. Отсюда служить - значит быть полезным объектом, вещью, вторичной по отношению к другой; служить - значит, как мы говорим, настаивать, откладывать в сторону, приписывать вещи ее полезность; служить нам, подручному, полезности, движимому имуществу, короче говоря, человеку служения. Противоположностью *servus* является *dom-inus* (дом-мы, дом-аниум и *dom-are*); то есть глава семьи, хозяин дома, тот, кто использует людей, *servat*, животных, *domat* и вещи, *possidet*. То, что, следовательно, военнопленные должны были быть зарезервированы для рабства, *servati ad servitium*, или, скорее, *serti ad glebam*, вполне возможно; поскольку их судьба известна, они просто взяли от нее свое название.

Труд - это воспитание нашей свободы. Древние глубоко осознавали эту истину, когда отличали рабские искусства от свободных. Ибо, как профессия, так и идеи; как идеи, так и мораль. Все в рабстве приобретает характер деградации — привычки, вкусы, склонности, чувства, удовольствия: оно предполагает всеобщее ниспровержение. Займитесь образованием бедных! Но это породило бы самый жестокий антагонизм в этих дегенеративных душах; это внушило бы им идеи, которые труд сделал бы для них невыносимыми, привязанности, несовместимые с жестокостью их положения, удовольствия, восприятие которых у них притуплено. Если бы такой проект мог увенчаться успехом, то вместо того, чтобы сделать из рабочего человека, он превратил бы его в демона. Просто взгляните в эти лица, населяющие тюрьмы и галеры, и скажите мне, не принадлежит ли большинство из них субъектам, которых откровение о красоте, элегантности, богатстве, комфорте, чести и науке, обо всем, что составляет достоинство человека, сочло слишком слабыми и поэтому деморализовало и убило.

По крайней мере, заработная плата должна быть фиксированной, говорят менее дерзкие; во всех отраслях промышленности должны быть подготовлены графики ставок, которые должны быть приняты работодателями и рабочими.

Эту гипотезу спасения приводит М. Фикс. И он победоносно отвечает:

Такие графики были составлены в Англии и других странах; их ценность известна; везде они нарушались, как только принимались, как работодателями, так и рабочими.

Причины нарушения графиков легко понять: их можно найти в оборудовании, в непрерывных процессах и комбинациях промышленности. График согласован в определенный момент: но внезапно появляется новое изобретение, которое дает его автору возможность снижать цены на товары. Что будут делать другие работодатели? Они прекратят производство и уволят своих рабочих, или же предложат им сокращение штатов. Это единственный путь, открытый для них, пока они, в свою очередь, не откроют какой-либо процесс, посредством которого, не снижая уровня заработной платы, они смогут производить дешевле, чем их конкуренты, что опять-таки будет равносильно подавлению рабочих.

Месье Леон Фоше, по-видимому, склоняется в пользу системы возмещения убытков. Он говорит:

Мы легко допускаем, что в тех или иных интересах государство, представляющее общее желание, должно пожертвовать целой отраслью.

Предполагается, что он всегда управляет этим, с того момента, как предоставляет каждому свободу производить, и защищает эту свободу от любых посягательств.

Но это крайняя мера, эксперимент, который всегда опасен и который должен сопровождаться всем возможным уважением к отдельным людям. Государство не имеет права отнимать у класса граждан труд, которым они живут, прежде чем иным образом обеспечить их существование или удостовериться, что они найдут в какой-нибудь новой отрасли промышленности занятие для своего ума и рук. В цивилизованных странах существует принцип, согласно которому правительство не может конфисковать объект частной собственности, даже по соображениям общественной полезности, без предварительного выкупа владельца путем справедливого возмещения, выплаченного заранее. Теперь труд кажется нам собственностью столь же законной, столь же священной, как поле или дом, и мы не понимаем, почему он должен быть экспроприирован без какой-либо компенсации. . . .

Какими бы химерическими мы ни считали доктрины, которые представляют правительство как универсального поставщика рабочей силы в обществе, в той же степени нам кажется справедливым и необходимым, чтобы каждое перемещение рабочей силы во имя общественной полезности осуществлялось только посредством компенсации или перехода, и чтобы ни отдельные люди, ни классы не приносились в жертву государственным соображениям. У власти в благоустроенных странах всегда есть время и деньги, которые можно выделить для смягчения этих частичных страданий. И именно потому, что промышленность не происходит из нее, потому что она рождается и развивается по свободной и индивидуальной инициативе граждан, правительство обязано, когда оно нарушает ее ход, предложить ей своего рода возмещение.

В этом есть смысл для вас: что бы ни говорил месье Леон Фоше, он призывает к организации труда. Для правительства следить за тем, чтобы **ВСЯКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ПЕРЕХОДА, И ЧТОБЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦА И КЛАССЫ НИКОГДА НЕ ПРИНОСИЛИСЬ В ЖЕРТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СООБРАЖЕНИЯМ**, — то есть прогрессу промышленности и свободе предпринимательства,

высшему закону государства, — это, без всякого сомнения, означает каким-то образом, который определит будущее, стать ПОСТАВЩИКОМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ОБЩЕСТВЕ и гарантом заработной платы. И, как мы уже много раз повторяли, поскольку промышленный прогресс и, следовательно, работа по дезорганизации и перегруппировке классов в обществе носит непрерывный характер, для каждого нововведения необходимо открывать не особый переход, а скорее общий принцип, органический закон перехода, применимый ко всем возможным случаям и производящий свой эффект сам по себе. В состоянии ли г-н Леон Фоше сформулировать этот закон и примирить различные антагонизмы, которые мы описали? Нет, поскольку он предпочитает остановиться на идее возмещения ущерба. По его словам, У ВЛАСТИ В ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ЭТИХ ЧАСТИЧНЫХ СТРАДАНИЙ. Я сожалею о великодушных намерениях месье Фоше, но они кажутся мне радикально невыполнимыми.

У власти нет времени и денег, кроме того, что она забирает у налогоплательщиков. Возмещать налогами потери рабочих, выброшенных с работы, означало бы подвергать остракизму новые изобретения и устанавливать коммунизм с помощью штыка; это не решение проблемы. Бесплезно далее настаивать на возмещении ущерба государством. Возмещение ущерба, применяемое в соответствии с М. Взгляды Фошера либо закончились бы промышленным деспотизмом, чем-то вроде правительства Мохаммеда-Али, либо выродились бы в налог на бедных, то есть в тщеславное лицемерие. Для блага человечества было бы лучше не возмещать ущерб и позволить труду искать свое собственное вечное устройство.

Есть некоторые, кто говорит: пусть правительство отправит рабочих, выброшенных с работы, туда, где частная промышленность не создана, куда индивидуальное предпринимательство не может добраться. Нам нужно снова засадить горы деревьями, расчистить десять или двенадцать миллионов акров земли, прорыть каналы, короче говоря, предпринять тысячу неотложных и общепользных действий.

"Мы, конечно, просим прощения у наших читателей за это, - отвечает М. Фикс, - но и здесь мы вынуждены призвать к вмешательству капитала. Эти поверхности, за исключением некоторых общинных земель, являются залежными, потому что в случае обработки они не приносили бы никакого чистого продукта и, весьма вероятно, даже не покрывали бы затрат на обработку. Этими землями владеют собственники, которые либо имеют, либо не имеют капитала, необходимого для их обработки. В первом случае собственник, весьма вероятно, удовлетворился бы, если бы он обрабатывал эти земли, очень небольшой прибылью и, возможно, отказался бы от так называемой земельной ренты; но он обнаружил, что, занимаясь такой обработкой, он потерял бы свой первоначальный капитал, а другие его расчеты показали ему, что продажа продуктов не покрывала бы затрат на обработку. ... Следовательно, учитывая все обстоятельства, эта земля останется невозделанной, потому что капитал, который следовало бы вложить в нее, не принес бы прибыли и был бы потерян. Если бы это было иначе, все эти земли были бы немедленно пущены в обработку; сбережения, которыми теперь распоряжаются в другом направлении, неизбежно в определенной пропорции потянулись бы на обработку земли; ибо у капитала нет привязанностей: у него есть интересы, и он всегда ищет такое применение, которое является наиболее надежным и прибыльным".

Этот аргумент, очень хорошо аргументированный, сводится к утверждению, что для Франции еще не пришло время возделывать свои пустыри, точно так же, как для кафров и готтентотов

еще не пришло время строить железные дороги. Ибо, как было сказано во второй главе, общество начинает с разработки тех источников, которые наиболее легко и уверенно дают наиболее необходимые и наименее дорогие продукты: лишь постепенно оно приходит к использованию вещей, относительно менее производительных. С тех пор как человеческая раса металась по поверхности своего земного шара, она не боролась ни с какой другой задачей; для нее постоянно повторяется одна и та же забота — обеспечить себе существование, продвигаясь вперед по пути открытий. Чтобы такая расчистка земли не превратилась в разорительную спекуляцию, в причину нищеты, другими словами, чтобы это стало возможным, необходимо, следовательно, еще больше увеличить наш капитал и машины, открыть новые процессы и более тщательно разделить труд. Теперь просить правительство выступить с такой инициативой - значит подражать крестьянам, которые, видя приближение бури, начинают молиться Богу и взывать к своему святому. Правительства — сегодня это нельзя повторять слишком часто — являются представителями Божественности, — я чуть было не сказал, исполнителями небесного возмездия: они ничего не могут для нас сделать. Знает ли, например, английское правительство какой-либо способ обеспечить работой несчастных, которые находят убежище в его работных домах? А если бы оно знало, осмелилось бы оно? ПОМОГИТЕ СЕБЕ, И НЕБЕСА ПОМОГУТ ВАМ! Это проявление народного недоверия к Божественности говорит нам также о том, чего мы должны ожидать от власти, — ничего.

Прибыв на вторую станцию нашей Голгофы, вместо того чтобы предаваться бесплодным размышлениям, давайте будем все более и более внимательны к учениям судьбы. Гарантия нашей свободы заключается в ходе наших попыток.

ГЛАВА V.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД.—СОРЕВНОВАНИЕ.

Что станет с человечеством между стоголовой гидрой, разделением труда, и непобедимым драконом, машинами? Пророк сказал это более двух тысяч лет назад: сатана смотрит на свою жертву, и разгорается пламя войны, Расширяющее род и распадающееся. Чтобы спасти нас от двух напастей, голода и эпидемии, Провидение посылает нам раздор.

Конкуренция представляет собой ту философскую эпоху, в которую полупонимание антиномий разума породило искусство софистики, характеристики ложного и истинного были смешаны, и в которой вместо доктрин у них не было ничего, кроме обманчивых ментальных наклонностей. Таким образом, промышленное движение точно воспроизводит движение метафизическое; историю социальной экономики можно найти полностью в трудах философов. Давайте изучим эту интересную фазу, наиболее яркой характеристикой которой является отсутствие осуждения как у тех, кто верит, так и у тех, кто протестует.

% 1.—Необходимость конкуренции.

Месье Луи Рейбо, романист по профессии, иногда экономист, удостоенный награды Академии моральных и политических наук за свои антиреформаторские карикатуры и ставший со временем одним из писателей, наиболее враждебных социальным идеям, — М. Луи Рейбо, что бы он ни делал, тем не менее глубоко проникнут теми же идеями: оппозиция, которую он таким образом проявляет, не в его сердце и не в его уме; она кроется в фактах.

В первом издании своих "Исследований современных реформаторов" М. Рейбо, тронутый зрелищем социальных страданий, а также мужеством этих основателей школ, которые верили, что могут преобразовать мир взрывом сентиментализма, официально выразил мнение, что сохранившейся чертой всех их систем является АССОЦИАЦИЯ. М. Дюнуайе, один из судей М. Рейбо, привел это свидетельство, тем более лестное для М. Рейбо, что оно было слегка ироничным по форме:

Мсье Рейбо, который с такой точностью и талантом разоблачил в книге, удостоенной звания Французской академии, пороки трех основных реформаторских систем, твердо придерживается общего для них принципа, который служит их основой, — ассоциации. Он заявляет, что объединение в его глазах является ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПРОБЛЕМОЙ СОВРЕМЕННОСТИ. По его словам, оно призвано решить проблему распределения плодов труда. Хотя власть ничего не может сделать для решения этой проблемы, ассоциация МОГЛА БЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ. М. Рейбо говорит здесь как писатель фаланстерской школы. . . .

Как можно видеть, мсье Рейбо немного продвинулся вперед. Наделенный слишком большим здравым смыслом и добросовестностью, чтобы не замечать пропасти, он вскоре почувствовал, что сбивается с пути, и начал движение назад. Я не называю этот обход преступлением с его стороны: мсье Рейбо — один из тех людей, которые не могут по справедливости нести ответственность за свои метафоры. Он говорил раньше, поразмыслив, он отказался: что может быть естественнее! Если социалисты и должны кого-то винить, то пусть это будет г-н Дюнуайе, который этим странным комплиментом вызвал отречение г-на Рейбо.

Мсье Дюнуайе не замедлил сообразить, что его слова не прошли мимо закрытых ушей. Во славу здравых принципов он сообщает, что "во втором издании `Исследований реформаторов" г-н Рейбо сам смягчил абсолютный тон своих высказываний. Он сказал, что вместо "мог бы сделать ВСЕ" мог бы сделать МНОГОЕ".

Это было важное изменение, о чем недвусмысленно сообщил М. Дюнуайе, но оно все же позволило М. Рейбо написать в то же время:

Эти симптомы серьезны; их можно рассматривать как пророчества запутавшейся организации, в которой труд будет стремиться к равновесию и регулярности, которых ему сейчас не хватает В основе всех этих усилий скрыт принцип ассоциации, который было бы неправильно осуждать из-за нерегулярных проявлений.

Наконец, мсье Рейбо громко объявил себя сторонником конкуренции, а это означает, что он решительно отказался от принципа ассоциации. Ибо, если под ассоциацией мы должны понимать только формы партнерства, установленные коммерческим кодексом, философия которого была кратко изложена для нас М. Троплонгом и Деланглем, то больше не стоит проводить различие между социалистами и экономистами, между одной партией, которая стремится к ассоциации, и другой, которая утверждает, что ассоциация существует.

Пусть никто не воображает, что из-за того, что мсье Рейбо случайно сказал "да" или "нет" на вопрос, о котором он, по-видимому, еще не составил ясного представления, я причисляю его к тем спекулянтам социализмом, которые, запустив в мир мистификацию, немедленно начинают отступать под предлогом того, что, поскольку идея теперь стала общественным достоянием, им больше ничего не остается, как предоставить ей прокладывать себе дорогу. Мсье Рейбо, на мой взгляд, принадлежит скорее к категории простофиль, которая включает в свое лоно стольких

людей. таким образом, месье Рейбо останется в моих глазах *vir probus dicendi peritus*, добросовестным и искусным писателем, которого легко застать врасплох, но который никогда не выражает того, чего не видит или не чувствует. Более того, г-ну Рейбо, однажды поставленному на почву экономических идей, было бы еще труднее быть последовательным с самим собой из-за ясности своего ума и точности своих рассуждений. Я собираюсь провести этот любопытный эксперимент на глазах у читателя.

Если бы месье Рейбо мог понять меня, я бы сказал ему: отстаивайте свою позицию в пользу конкуренции, вы будете неправы; отстаивайте свою позицию против конкуренции, вы все равно будете неправы: это означает, что вы всегда будете правы. После этого, если, убедившись, что вы не ошиблись ни в первом, ни в четвертом издании вашей книги, вам удастся внятно сформулировать свое мнение, я буду считать вас экономистом такого же великого гения, как Тюрго и А. Смит; но я предупреждаю вас, что тогда вы будете похожи на последнего, о котором вы, несомненно, мало знаете; вы будете верить в равенство. Вы принимаете пари?

Чтобы лучше подготовить мсье Рейбо к такого рода примирению с самим собой, давайте сначала покажем ему, что эта разносторонность суждений, за которую любой другой на моем месте упрекнул бы его с оскорбительной горечью, является изменой не со стороны автора, а со стороны фактов, интерпретатором которых он сделал себя сам.

В марте 1844 года М. Рейбо опубликовал статью о масличных семенах — теме, которая интересовала город Марсель, его родину, — в которой он решительно выступал за свободную конкуренцию и кунжутное масло. Согласно собранным автором фактам, которые кажутся достоверными, урожайность кунжута составляет от сорока пяти до сорока шести процентов. масла, в то время как мак и рапсовое масло дают всего двадцать пять-тридцать процентов, а оливковое - всего двадцать-двадцать два. Кунжут по этой причине не нравится северным производителям, которые просили и добились его запрета. Тем не менее англичане настороже, готовые завладеть этой ценной отраслью торговли. Пусть они запретят семена, говорит г-н Рейбо, масло попадет к нам в смеси с мылом или каким-либо другим способом: мы потеряем прибыль от производства. Более того, интересы нашей морской службы требуют защиты этой торговли; речь идет не менее чем о сорока тысячах бочонков семян, что подразумевает морское снаряжение в триста судов и три тысячи моряков.

Эти факты неопровержимы: сорок пять процентов. масла вместо двадцати пяти; по качеству превосходит все масла Франции; снижение цены на предмет первой необходимости; экономия для потребителей; триста кораблей, три тысячи матросов — такова была бы для нас ценность свободы торговли. Поэтому да здравствует конкуренция и кунжут!

Затем, чтобы лучше обеспечить эти блестящие результаты, мсье Рейбо, движимый своим патриотизмом и прямолинейно преследующий свою идею, замечает — на наш взгляд, очень разумно, — что правительству следует впредь воздерживаться от всех договоров о взаимности в вопросе перевозок: он просит, чтобы французские суда могли перевозить импортные и экспортные товары французской торговли.

"То, что мы называем взаимностью, - говорит он, - является чистой фикцией, преимуществами которой пользуется та из сторон, которая сможет обеспечить навигацию с наименьшими затратами. Теперь, поскольку во Франции элементы мореплавания, такие как покупка судов, заработная плата экипажей и расходы на снаряжение, достигают чрезмерных размеров, более

высоких, чем в любой другой морской стране, из этого следует, что любой договор о взаимности с нашей стороны эквивалентен договору об отречении, и что вместо того, чтобы согласиться на акт взаимного удобства, мы, сознательно или невольно, приносим себя в жертву".

И затем М. Рейбо указывает на катастрофические последствия взаимности:

Франция потребляет пятьсот тысяч тюков хлопка, и американцы выгружают их на наши причалы; она потребляет огромное количество угля, и англичане перевозят его; шведы и норвежцы сами доставляют нам свое железо и древесину; голландцы - свои сыры; русские - свою пеньку и пшеницу; генуэзцы - свой рис; испанцы - свои масла; сицилийцы - свою серу; греки и армяне - все товары Средиземного и Черного морей".

Очевидно, что такое положение вещей невыносимо, поскольку оно приводит к тому, что наш торговый флот становится бесполезным. Давайте же поспешим обратно на наши верфи, куда нас не пускает дешевизна иностранного судоходства. Давайте закроем наши двери для иностранных судов или, по крайней мере, обложим их высокими налогами.

Поэтому долой конкуренцию и конкурирующих морских пехотинцев!

Начинает ли мсье Рейбо понимать, что его экономико-социалистические колебания гораздо более невинны, чем он мог бы предположить? Какой благодарностью он обязан мне за то, что я успокоил его совесть, которая, возможно, начинала тревожиться!

Взаимность, на которую так горько жалуется мсье Рейбо, является всего лишь формой коммерческой свободы. Предоставьте полную свободу торговли, и наш флаг исчезнет с поверхности морей, как исчезла бы наша нефть с континента. Поэтому мы будем платить дороже за нашу нефть, если будем настаивать на том, чтобы производить ее сами; дороже за наши колониальные продукты, если мы захотим перевозить их сами. Чтобы обеспечить дешевизну, было бы необходимо, отказавшись от наших масел, отказаться от нашей морской промышленности: так же немедленно отказаться от наших тканей, нашего полотна, нашего ситца, наших железных изделий, а затем, поскольку изолированная промышленность неизбежно обходится слишком дорого, от наших вин, нашего зерна, нашего фуража! Какой бы курс вы ни выбрали, привилегию или свободу, вы придете к невозможному, к абсурду.

Несомненно, принцип примирения существует; но, если только он не является совершенно деспотическим, он должен быть выведен из закона, стоящего выше самой свободы: так вот, именно этот закон никто еще не определил и о нем я спрашиваю экономистов, действительно ли они мастера своей науки. Ибо я не могу считать его ученым, который с величайшей искренностью и всем остроумием в мире проповедует по очереди, с интервалом в пятнадцать строк, свободу и монополию.

Разве сразу и интуитивно не очевидно, что КОНКУРЕНЦИЯ УНИЧТОЖАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ? Есть ли в геометрии теорема более определенная, более императивная, чем эта? Как же тогда, при каких условиях, в каком смысле принцип, отрицающий сам себя, может войти в науку? Как он может стать органическим законом общества? Если конкуренция необходима; если, как утверждает школа, это постулат производства, — то почему она становится столь разрушительной по своим последствиям? И если его самый верный эффект заключается в уничтожении тех, кого он подстрекает, то как он становится полезным? Ибо неудобства, которые следуют за ним, подобно благу, которое он обеспечивает, не являются случайностями,

возникающими в результате работы человека: и то, и другое логически вытекает из принципа и существует под одним и тем же названием и лицом к лицу.

И, во-первых, конкуренция так же необходима для труда, как и разделение, поскольку это само разделение, возвращающееся в другой форме или, скорее, возросшее до своей второй степени; разделение, я говорю, уже не такое, как в первый период экономической эволюции, адекватное коллективной силе и, следовательно, поглощающее личность рабочего в мастерской, но порождающее свободу, превращающее каждое подразделение труда в своего рода суверенитет, при котором человек стоит во всей своей силе и независимости. Одним словом, конкуренция - это свобода в разделении и во всех разделенных частях: начиная с наиболее всеобъемлющих функций, она стремится к своей реализации даже в низших операциях парцеллярного труда.

Здесь коммунисты выдвигают возражение. По их словам, необходимо во всем проводить различие между использованием и злоупотреблением. Существует полезное, похвальное, нравственное соревнование, соревнование, расширяющее сердце и ум, благородное и великодушное соревнование, — это соревнование; и почему это соревнование не должно иметь своей целью всеобщее преимущество? Есть другая конкуренция, пагубная, аморальная, асоциальная, ревнивая конкуренция, которая ненавидит и которая убивает, — это эгоизм.

Так говорит коммунизм; так выразил себя почти год назад в своем общественном исповедании веры журнал "La Reforme".

Какое бы нежелание я ни испытывал выступать против людей, чьи идеи в основе своей принадлежат мне, я не могу принять такую диалектику. "Реформа", полагая, что она может примирить все с помощью различия, скорее грамматического, чем реального, использовала, сама того не подозревая, золотую середину, то есть наихудший вид дипломатии. Его аргумент в точности такой же, как у М. Росси в отношении разделения труда: он состоит в противопоставлении конкуренции и морали друг другу, чтобы ограничить их друг другом, подобно тому, как М. Росси делал вид, что останавливает и ограничивает экономические стимулы моралью, сокращая здесь, сокращая там, в соответствии с необходимостью и случаем. Я опроверг М. Росси, задав ему этот простой вопрос: как наука может быть в противоречии с самой собой, наука о богатстве - с наукой о долге? Точно так же я спрашиваю коммунистов: как может принцип, развитие которого явно полезно, быть в то же время пагубным?

Они говорят: подражание - это не соревнование. Прежде всего, я отмечаю, что это мнимое различие касается только расходящихся эффектов принципа, что заставляет предположить, что существовали два принципа, которые были смешаны. Соперничество - это не что иное, как само соревнование; и поскольку они погрузились в абстракции, я охотно погружаюсь в них тоже. Не бывает соперничества без цели, точно так же, как не бывает страстной инициативы без объекта; и поскольку объект каждой страсти обязательно аналогичен самой страсти — женщина для влюбленного, власть для честолюбца, золото для скряги, корона для поэта, — то и объектом промышленного соперничества обязательно является прибыль.

Нет, возражает коммунист, объектом подражания рабочего должны быть общая полезность, братство, любовь.

Но само общество, поскольку вместо того, чтобы останавливаться на индивидуальном человеке, о котором идет речь в данный момент, они хотят уделить внимание только

коллективному человеку, — общество, говорю я, работает только ради богатства; комфорт, счастье - его единственная цель. Почему же тогда то, что верно для общества, не должно быть верно и для отдельного человека, поскольку, в конце концов, общество - это человек, и вся человечность живет в каждом человеке? Зачем заменять непосредственную цель соперничества, которой в промышленности является личное благосостояние, тем далеким и почти метафизическим мотивом, который называется общим благосостоянием, особенно когда последнее ничто без первого и может проистекать только из первого?

Коммунисты, в целом, создают странную иллюзию: фанатичные в вопросе власти, они ожидают обеспечить с помощью центральной силы, а в рассматриваемом особом случае - с помощью коллективного богатства, своего рода реверсированием, благосостояние работника, создавшего это богатство: как будто индивид возник после общества, а не общество после индивида. Если уж на то пошло, это не единственный случай, когда мы увидим, что социалисты бессознательно находятся во власти традиций режима, против которого они протестуют.

Но зачем настаивать? С того момента, как коммунист меняет название вещей, *vera rerum vocabala*, он молчаливо признает свое бессилие и ставит себя вне вопроса. Вот почему моим единственным ответом ему будет: отрицая конкуренцию, вы отказываетесь от тезиса; отныне вам нет места в дискуссии. Как—нибудь в другой раз мы спросим, насколько человек должен жертвовать собой в интересах всех: в данный момент вопрос заключается в решении проблемы конкуренции, то есть в согласовании высшего удовлетворения эгоизма с общественными потребностями; избавьте нас от ваших моральных устоев.

Конкуренция необходима для установления ценности, то есть для самого принципа распределения, а следовательно, и для наступления равенства. До тех пор, пока продукт поставляется только одним производителем, его реальная стоимость остается загадкой либо из-за введения производителем в заблуждение, либо из-за его пренебрежения или неспособности снизить себестоимость продукции до крайнего предела. Таким образом, привилегия производства является реальной потерей для общества, а публичность производства, как и конкуренция между рабочими, необходима. Все утопии, когда-либо воображаемые, не могут избежать этого закона.

Конечно, я не собираюсь отрицать, что труд и заработная плата могут и должны быть гарантированы; я даже тешу себя надеждой, что время таких гарантий не за горами: но я утверждаю, что гарантия заработной платы невозможна без точного знания ценности, и что эта ценность может быть обнаружена только путем конкуренции, а вовсе не коммунистическими институтами или народным декретом. Ибо в этом есть нечто более могущественное, чем воля законодателя и граждан, а именно абсолютная невозможность того, чтобы человек выполнял свой долг после того, как обнаружил, что он освобожден от всякой ответственности перед самим собой: так вот, ответственность перед самим собой в вопросе труда обязательно подразумевает конкуренцию с другими. Предписать, чтобы с 1 января 1847 года труд и заработная плата были гарантированы всем: на смену крайнему напряжению, которому сейчас подвергается промышленность, немедленно пришло огромное ослабление; реальная стоимость быстро упала ниже номинальной; металлические деньги, несмотря на их изображение и печать, постигнет участь ассигнаций; торговец будет просить больше, а давать меньше; и мы окажемся в еще более низком круге ада нищеты, в котором конкуренция является лишь третьей ступенью.

Даже если бы я согласился с некоторыми социалистами, что привлекательность труда может когда-нибудь послужить пищей для соперничества без какой-либо скрытой мысли о прибыли, какую пользу могла бы принести эта утопия в той фазе, которую мы изучаем? Мы пока находимся только в третьем периоде экономической эволюции, в третьей эпохе организации труда, то есть в периоде, когда труд уже не может быть привлекательным. Ибо привлекательность труда может быть результатом только высокой степени физического, морального и интеллектуального развития работника. Итак, само это развитие, это воспитание человечества промышленностью - это именно та цель, к которой мы стремимся, преодолевая противоречия социальной экономики. Как же тогда привлекательность труда может служить нам принципом и рычагом, если он по-прежнему является нашей целью?

Но, если бесспорно, что труд, как высшее проявление жизни, разума и свободы, несет в себе свою собственную привлекательность, я отрицаю, что эта привлекательность когда-либо может быть полностью отделена от мотива полезности и, следовательно, от возврата эгоизма; я отрицаю, говорю я, труд ради труда, точно так же, как я отрицаю стиль ради стиля, любовь ради любви, искусство ради искусства. Стиль ради стиля породил в наши дни поспешную литературу и бездумную импровизацию; любовь ради любви ведет к противоестественному пороку, онанизму и проституции; искусство ради искусства заканчивается китайскими безделушками, карикатурами, поклонением уродливому. Когда человек больше не ищет в труде ничего, кроме удовольствия от физических упражнений, он вскоре перестает трудиться, он играет. История полна фактов, свидетельствующих об этой деградации. Игры Греции, истмийские, Олимпийские, Пифийские, немейские, упражнения общества, которое все производило своими рабами; жизнь спартанцев и древних критян, их образцы; гимнастические залы, игровые площадки, скачки и беспорядки на рыночной площади у афинян; занятия, которые Платон назначает воинам в своей Республике и которые лишь отражают вкусы его века; наконец, в нашем феодальном обществе тильты и турниры - все эти изобретения, равно как и многие другие, о которых я умалчиваю, взяты из игрового мира. от шахмат, изобретенных, как говорят, при осаде Трои Паламедом, до карт, иллюстрированных для Карла VI Грингоннером, - вот примеры того, чем становится труд, как только от него отделяется серьезный мотив полезности. Труд, настоящий труд, тот, который производит богатство и дает знания, слишком нуждается в регулярности, настойчивости и самопожертвовании, чтобы долго быть другом страсти, мимолетной по своей природе, непостоянной и беспорядочной; это нечто слишком возвышенное, слишком идеальное, слишком философское, чтобы стать исключительно удовольствием, — то есть мистицизмом и сентиментальностью. Способность к труду, отличающая человека от животных, имеет свой источник в глубочайших недрах разума: как она могла стать в нас простым проявлением жизни, сладострастным актом наших чувств?

Но если теперь они прибегнут к гипотезе о преобразовании нашей природы, беспрецедентной в истории, и о которой до сих пор не было ничего, что могло бы выразить эту идею, то это не более чем мечта, непонятная даже тем, кто ее защищает, инверсия прогресса, противоречие самым определенным законам экономической науки; и мой единственный ответ - исключить ее из обсуждения.

Давайте останемся в сфере фактов, поскольку только факты имеют значение и могут помочь нам. Французская революция была совершена ради промышленной свободы, так же как и ради политической свободы: и хотя Франция в 1789 году не видела всех последствий принципа, о реализации которого она просила, — скажем это смело, — она не ошиблась ни в своих

желаниях, ни в своих ожиданиях. Тот, кто попытался бы это отрицать, потерял бы в моих глазах право на критику: я никогда не стану спорить с оппонентом, который возводит в принцип спонтанную ошибку двадцати пяти миллионов людей.

В конце XVIII века Франция, утомленная привилегиями, желала любой ценой стряхнуть оцепенение своих корпораций и восстановить достоинство рабочего, даровав ему свободу. Повсюду было необходимо освободить труд, стимулировать гений и возложить ответственность на производителя, вызвав тысячи конкурентов и взвалив на него одного последствия его лености, невежества и неискренности. Еще до 89-го года Франция созрела для переходного периода; именно Тюрго выпала слава автора первого отрывка.

Почему же тогда, если конкуренция не была принципом социальной экономики, предначертанием судьбы, потребностью человеческой души, почему вместо УПРАЗДНЕНИЯ корпораций, мастерских и попечительств они не подумали о том, чтобы ВОССТАНОВИТЬ их все? Почему вместо революции они не удовлетворились реформой? Почему это отрицание, если модификации было достаточно? Тем более что эта промежуточная партия была полностью в русле консервативных идей, которые разделяла буржуазия. Пусть коммунизм, пусть квазисоциалистическая демократия, которые в отношении принципа конкуренции представляют - хотя они и не подозревают об этом — систему золотой середины, контрреволюционную идею, объяснят мне это единодушные нации, если смогут!

Более того, событие подтвердило теорию. Начиная со служения Тюрго, в стране проявился рост активности и благосостояния. Проверка казалась настолько решающей, что получила одобрение всех законодательных органов. Свобода промышленности и торговли фигурирует в наших конституциях наравне с политической свободой. Короче говоря, этой свободе Франция обязана ростом своего богатства за последние шестьдесят лет.

После этого важнейшего факта, столь убедительно подтверждающего необходимость конкуренции, я прошу разрешения привести три или четыре других, которые, будучи менее общими по своему характеру, более рельефно подчеркнут влияние принципа, который я защищаю.

Почему наше сельское хозяйство настолько чудовищно отсталое? Как получилось, что рутина и варварство все еще царят во многих населенных пунктах над важнейшей отраслью народного труда? Среди многочисленных причин, которые можно было бы привести, я вижу в первую очередь отсутствие конкуренции. Крестьяне дерутся за участки земли; они соревнуются друг с другом перед нотариусом; на полях - нет. И говорите им о соперничестве, об общественном благе, и каким изумлением вы их наполняете! Пусть король, говорят они (для них король - синоним государства, общественного блага, общества), пусть король занимается своими делами, а мы займемся своими! Такова их философия и их патриотизм. Ах, если бы король мог возбудить соревнование с ними! К сожалению, это невозможно. В то время как в обрабатывающей промышленности конкуренция вытекает из свободы и собственности, в сельском хозяйстве свобода и собственность являются прямым препятствием для конкуренции. Крестьянин, вознаграждаемый не в соответствии с его трудом и умом, а в соответствии с качеством земли и капризом Божьим, стремится при возделывании платить как можно более низкую заработную плату и делать как можно меньше авансовых расходов. Уверенный в том, что всегда найдет рынок сбыта для своих товаров, он гораздо больше заботится о сокращении своих расходов, чем об улучшении почвы и качества производимой на ней продукции. Он сеет,

а остальное делает Провидение. Единственный вид конкуренции, известный сельскохозяйственному классу, - это конкуренция за ренту; и нельзя отрицать, что во Франции и, например, в Босе она привела к полезным результатам. Но поскольку принцип этой конкуренции действует, так сказать, из вторых рук, поскольку он не проистекает непосредственно из свободы и собственности земледельцев, он исчезает вместе с причиной, его породившей, так что, чтобы обеспечить упадок сельскохозяйственной промышленности во многих местностях или, по крайней мере, остановить ее развитие, возможно, было бы достаточно сделать фермеров собственниками.

Другой отраслью коллективного труда, которая в последние годы вызвала острые дебаты, являются общественные работы. "Чтобы руководить строительством дороги, - очень хорошо говорит мсье Дюнуайе, - возможно, первопроходец и форейтор подошел бы лучше, чем инженер, только что окончивший Школу дорог и мостов". Нет никого, у кого не было возможности убедиться в правильности этого замечания.

На одной из наших прекраснейших рек, прославленной важностью судоходства, строился мост. С самого начала работ речники видели, что арки будут слишком низкими, чтобы обеспечить движение лодок в периоды разлива реки: они указали на это инженеру, ответственному за работы. - Мосты, - ответил тот с великолепным достоинством, - строятся для тех, кто проходит по ним, а не для тех, кто проходит под ними. Это замечание стало пословицей в тех краях. Но поскольку глупость не может царить вечно, правительство почувствовало необходимость пересмотреть работу своего агента, и в то время, как я пишу, арки моста поднимаются. Верит ли кто-нибудь, что, если бы купцам, заинтересованным в прохождении судоходного пути, было поручено это предприятие на их собственный страх и риск, им пришлось бы выполнять свою работу дважды? Можно было бы заполнить целую книгу шедеврами такого же рода, созданными молодыми людьми, получившими образование на дорогах и мостах, которые, едва закончив школу и заняв жизненное положение, больше не испытывают стимулов к соперничеству.

В доказательство промышленного потенциала государства и, следовательно, возможности полной отмены конкуренции они ссылаются на администрацию табачной промышленности.

Говорят, здесь нет фальсификации, нет судебных разбирательств, нет банкротства, нет нищеты. Положение рабочих, получающих адекватную оплату, обучаемых, проповедуемых, морализируемых и гарантированных пенсией при выходе на пенсию, накопленной за счет их сбережений, несравнимо выше положения огромного большинства рабочих, занятых в свободном производстве.

Все это может быть правдой: со своей стороны, я ничего не смыслю в этом вопросе. Я ничего не знаю о том, что происходит в администрации табачных фабрик; я не получал никакой информации ни от директоров, ни от рабочих, и мне она не нужна. Сколько стоит табак, продаваемый администрацией? Сколько он стоит? Вы можете ответить на первый из этих вопросов: вам нужно только позвонить в первый табачный магазин, который вы увидите. Но вы ничего не можете сказать мне о втором, потому что у вас нет стандарта для сравнения и вам запрещено проверять экспериментальным путем статьи административных расходов, которые, следовательно, невозможно принять. Следовательно, табачный бизнес, превращенный в монополию, неизбежно обходится обществу дороже, чем приносит; это отрасль, которая, вместо того чтобы существовать за счет собственного продукта, живет за счет субсидий, и

которая, следовательно, далека от того, чтобы служить нам образцом, является одним из первых злоупотреблений, которые реформа должна искоренить.

И когда я говорю о реформе, которая должна быть проведена в производстве табака, я имею в виду не просто огромный налог, который утроит или учетверит стоимость этого продукта; я также не имею в виду иерархическую организацию его работников, некоторые из которых благодаря своему жалованью становятся аристократами столь же дорогими, сколь и бесполезными, в то время как другие, безнадежные получатели мелкой заработной платы, навсегда остаются в положении подчиненных. Я даже не говорю о привилегиях табачных лавок и всего мира паразитов, которых они поддерживают: я имею в виду, в частности, полезный труд, труд рабочих. Из самого факта, что работник администрации не имеет конкурентов и не заинтересован ни в прибыли, ни в убытках, из того факта, что он не свободен, одним словом, его продукт обязательно дешевле, а его услуги слишком дороги. Раз это так, пусть они говорят, что правительство хорошо относится к своим служащим и заботится об их комфорте: чему удивляться? Почему люди не видят, что свобода сопряжена с бременем привилегий и что, если по какой-то причине со всеми отраслями промышленности будут обращаться так же, как с табачной промышленностью, если источник субсидий иссякнет, нация больше не сможет сбалансировать свои поступления и расходы, и государство станет банкротом?

Иностранные продукты: Я привожу свидетельство образованного человека, хотя и не политэкономиста, —М. Либиха.

Раньше Франция ежегодно импортировала из Испании газировку на сумму двадцать-тридцать миллионов франков, потому что испанская газировка была лучшей. На протяжении всей войны с Англией цены на соду, а следовательно, и на мыло и стекло, постоянно росли. Французским промышленникам, следовательно, приходилось значительно страдать от такого положения вещей. Именно тогда Леблан открыл метод извлечения соды из обычной соли. Этот процесс был источником богатства Франции; производство содовой приобрело необычайные масштабы; но ни Леблан, ни Наполеон не пользовались прибылью от этого изобретения. Реставрация, которая воспользовалась гневом народа против инициатора континентальной блокады, отказалась выплатить долг императору, чьи обещания привели к открытиям Леблана. . .

Несколько лет назад, когда король Неаполя предпринял попытку превратить торговлю сицилийской серой в монополию, Англия, потребляющая огромное количество этой серы, предупредила короля Неаполя, что, если монополия будет сохранена, это будет считаться казусом войны. Покадва правительства обменивались дипломатическими нотами, в Англии было получено пятнадцать патентов на извлечение серной кислоты из известняков, железного колчедана и других минеральных веществ, которыми изобилует Англия. Но поскольку дело было улажено с неаполитанским королем, из этих попыток ничего не вышло: просто было установлено путем предпринятых попыток, что извлечение серной кислоты с помощью новых процессов могло быть успешно продолжено, что, возможно, привело бы к уничтожению торговли сицилийской серой.

Если бы не война с Англией, если бы неаполитанский король не мечтал о монополии, прошло бы много времени, прежде чем кто-либо во Франции додумался бы извлекать соду из морской соли, а кто-либо в Англии - получать серную кислоту из гор извести и пирита, которые она содержит. Так вот, именно таково влияние конкуренции на промышленность. Человек

пробуждается от своей праздности только тогда, когда нужда наполняет его тревогой; и самый верный способ погасить его гений - это избавить его от всякой заботы и отнять у него надежду на прибыль и вытекающее из нее социальное отличие, создав вокруг него МИР ВЕЗДЕ, МИР ВСЕГДА и переложив на государство ответственность за его инертность.

Да, это следует признать, несмотря на современный квиетизм, — жизнь человека - это постоянная война, война с нуждой, война с природой, война со своими собратьями и, следовательно, война с самим собой. Теория мирного равенства, основанная на братстве и самопожертвовании, является лишь подделкой под католическую доктрину отказа от благ и удовольствий этого мира, принцип нищенства, панегирик нищете. Человек может любить своего ближнего достаточно сильно, чтобы умереть за него; он не любит его достаточно сильно, чтобы работать на него.

К теории жертвы, которую мы только что опровергли фактически и справедливо, противники конкуренции добавляют другую, прямо противоположную первой: ибо закон разума таков, что, когда он не знает истины, которая является его точкой равновесия, он колеблется между двумя противоречиями. Эта новая теория антиконкурентного социализма - теория поощрения.

Что может быть более социальным, более прогрессивным по внешнему виду, чем поощрение труда и трудолюбия? Нет демократа, который не считал бы это одним из лучших атрибутов власти, нет теоретика-утописта, который не ставил бы это на первое место как средство организации счастья. Итак, правительство по своей природе настолько неспособно направлять труд, что каждое даруемое им вознаграждение является настоящим воровством из общей казны. Мсье Рейбо предоставит нам текст этого вступления.

"Надбавки, предоставляемые для поощрения экспорта, - замечает где-то М. Рейбо, - эквивалентны налогам, уплачиваемым за импорт сырья; преимущество остается абсолютно нулевым и не способствует ничему, кроме обширной системы контрабанды".

Этот результат неизбежен. Отмените таможенные пошлины, и пострадает национальная промышленность, как мы уже видели в случае с кунжутом; сохраните пошлины без предоставления надбавок за экспорт, и национальная торговля потерпит поражение на внешних рынках. Чтобы избежать этой трудности, прибегаете ли вы к премиям? Вы лишь восстанавливаете одной рукой то, что получили другой, и провоцируете мошенничество, последний результат, *carut mortuum*, всех поощрений трудолюбия. Отсюда следует, что всякое поощрение труда, всякое вознаграждение, даруемое промышленности сверх естественной цены ее продукта, является безвозмездным подарком, взяткой, взятой у потребителя и предлагаемой от его имени фавориту власти в обмен на роль, ни на что. Таким образом, поощрять трудолюбие - это, по сути, синоним поощрения праздности: это одна из форм мошенничества.

В интересах нашего военно-морского флота правительство сочло за лучшее предоставить поставщикам оборудования транспортных судов премию за каждого человека, занятого на их судах. Теперь я продолжаю цитировать М. Рейбо:

На каждое судно, отплывающее в Ньюфаундленд, садится от шестидесяти до семидесяти человек. Из этого числа двенадцать - моряки; остальные состоят из сельских жителей, оторванных от работы в полях, которые, будучи нанятыми в качестве поденщиков для приготовления рыбы, остаются незнакомыми с оснасткой и не имеют в себе ничего морского,

кроме ног и живота. Тем не менее, эти люди фигурируют в списках военно-морских сил и увековечивают там обман. Когда есть возможность защитить институт премий, они приводятся в его пользу; они увеличивают цифры и способствуют успеху.

Низменное жонглерство! несомненно, какой-нибудь невинный реформатор воскликнет. Пусть так, но давайте проанализируем этот факт и попытаемся выделить общую идею, которая содержится в нем.

В принципе, единственное поощрение труда, которое может признать наука, - это прибыль. Ибо, если труд не может найти вознаграждения в своем собственном продукте, отнюдь не поощряя его, от него следует отказаться как можно скорее, и, если этот же труд приводит к получению чистого продукта, абсурдно добавлять к этому чистому продукту безвозмездный дар и, таким образом, переоценивать ценность услуги. Применяя этот принцип, я говорю тогда: если торговая служба требует только десяти тысяч моряков, ее не следует просить содержать пятнадцать тысяч; кратчайший путь для правительства - посадить пять тысяч призывников на государственные суда и отправлять их в экспедиции, как принцев. Каждое поощрение, предлагаемое торговому флоту, является прямым приглашением к мошенничеству, — что я могу сказать?— предложение платить зарплату за невозможную услугу. Приспосабливаются ли управление судами и дисциплина на них, а также все условия морской торговли к этим придаткам бесполезного персонала? Что же тогда может сделать судовладелец перед лицом правительства, которое предлагает ему премию за то, чтобы посадить на его судно людей, в которых он не нуждается? Если министерство выбрасывает деньги казначейства на улицу, виноват ли я, если подбираю их?

Таким образом — и это заслуживает внимания — теория поощрения проистекает непосредственно из теории жертвы; и, чтобы избежать привлечения человека к ответственности, противники конкуренции из-за фатального противоречия своих идей вынуждены делать из него то бога, то животное. А потом они удивляются, что общество не тронута их привлекательностью! Бедные дети! мужчины никогда не будут лучше или хуже, чем вы видите их сейчас, и чем они были всегда. Как только их требует личное благополучие, они бросают общее благополучие, и в этом я нахожу их если не почетными, то, по крайней мере, достойными оправдания. Это ваша вина, если вы сейчас требуете от них больше, чем они вам должны, и теперь стимулируете их жадность вознаграждениями, которых они не заслуживают. У человека нет ничего дороже самого себя, и, следовательно, нет другого закона, кроме своей ответственности. Теория самопожертвования, как и теория вознаграждения, - это теория мошенников, подрывающая общество и мораль; и самим фактом, что вы ищете либо жертвы, либо привилегии для поддержания порядка, вы создаете новый антагонизм в обществе. Вместо того чтобы способствовать рождению гармонии в результате свободной деятельности людей, вы делаете индивида и государство чужими друг другу; в руководящем союзе вы вдыхаете разлад.

Подводя итог, вне конкуренции остается только одна альтернатива — поощрение, которое является мистификацией, или жертва, которая является лицемерием.

Следовательно, конкуренция, проанализированная в ее принципе, является источником справедливости; и все же мы увидим, что конкуренция по своим результатам несправедлива.

% 2. Подрывные эффекты конкуренции и, следовательно, уничтожение свободы.

Царство Небесное терпит насилие, говорит Евангелие, и насильники берут его силой. Эти слова - аллегория общества. В обществе, регулируемом трудом, достоинство, богатство и слава являются объектами конкуренции; они являются наградой сильных, и конкуренцию можно определить как режим силы. Экономисты прошлого поначалу не замечали этого противоречия; современные люди были вынуждены признать это.

"Чтобы поднять государство с низшей степени варварства на высшую степень богатства, - писал А. Смит, — необходимы всего три вещи: мир, умеренные налоги и приемлемое отправление правосудия. Все остальное вызвано ЕСТЕСТВЕННЫМ ХОДОМ ВЕЩЕЙ".

На что последний переводчик Смита, М. Бланки, отпускает такой мрачный комментарий:

Мы видели, как естественный ход вещей приводит к катастрофическим последствиям и создает анархию в производстве, войну за рынки и пиратство в конкурентной борьбе. Разделение труда и совершенствование машин, которые должны были обеспечить великому рабочему семейству человечества завоевание определенного количества свободного времени с сохранением его достоинства, во многих случаях не привели ни к чему, кроме деградации и нищеты Когда А. Смит писал, свобода еще не пришла с ее затруднениями и злоупотреблениями, и профессор из Глазго предвидел только ее блага . . . Смит написал бы, как М. де Сисмонди, если бы он был свидетелем печального состояния Ирландии и промышленных районов Англии в те времена, в которые мы живем.

Итак, литераторы, государственные деятели, ежедневные публицисты, верующие и полуверующие, все вы, взявшие на себя миссию идеологической обработки людей, слышите ли вы эти слова, которые можно было бы принять за перевод из Иеремии? Скажите нам, наконец, с какой целью вы якобы ведете цивилизацию? Какой совет вы даете встревоженному обществу, стране?

Но к кому я обращаюсь? Министры, журналисты, пономари и педанты! Разве такие люди беспокоятся о проблемах социальной экономики? Слышали ли они когда-нибудь о конкуренции?

Гражданин Лиона, душа, ожесточенная торговой войной, путешествовал по Тоскане. Он отмечает, что в этой стране ежегодно производится от пятисот до шестисот тысяч соломенных шляп, совокупная стоимость которых составляет четыре или пять миллионов франков. Эта отрасль является почти единственной опорой жителей маленького государства. "Как получилось, - говорит он себе, - что столь легко управляемая отрасль сельского хозяйства и мануфактур не была перенесена в Прованс и Лангедок, где климат такой же, как в Тоскане?" Но, в связи с этим, замечает экономист, если у крестьян Тосканы отнять трудолюбие, как они будут умудряться жить?

Изготовление черных шелков стало для Флоренс специальностью, секрет которой она бережно хранила.

Проницательный лионский фабрикант, с удовлетворением замечает турист, приехал, чтобы основать предприятие во Флоренции, и, наконец, овладел особыми процессами крашения и ткачества. Вероятно, это ОТКРЫТИЕ уменьшит экспорт из Флоренции.—Путешествие по Италии, М. Фульчирон.

Раньше разведением шелкопряда занимались крестьяне Тосканы, которым это помогало жить.

Были созданы сельскохозяйственные общества; они утверждали, что шелкопряды в крестьянской спальне не получали достаточной вентиляции или достаточной стабильности температуры, или такого хорошего ухода, какой был бы, если бы работники, которые их разводят, делали это своим единственным занятием. В результате богатые, умные и щедрые граждане построили под аплодисменты публики так называемые бигатьеры (от *bigatti* - шелкопряда). — М. де Сисмонди.

И тогда, спросите вы, потеряют ли свою работу эти заводчики шелкопрядов, эти производители шелка и шляп? Именно: им даже будет доказано, что это в их интересах, поскольку они смогут покупать те же продукты дешевле, чем им обходится их производство. Такова конкуренция.

Конкуренция с ее инстинктом убийства отнимает хлеб у целого класса рабочих и видит в нем только улучшение, экономию; она трусливо крадет секрет и перевозносит его как ОТКРЫТИЕ; она изменяет естественные зоны производства в ущерб целому народу и притворяется, что ничего не сделала, но использует преимущества его климата. Конкуренция переворачивает все представления о равенстве и справедливости; она увеличивает реальную стоимость производства, без необходимости увеличивая вложенный капитал, в свою очередь вызывает дороговизну продуктов и их обесценивание, развращает общественное сознание, ставя случай на место справедливости, и повсюду поддерживает ужас и недоверие.

Но что! Без этой ужасной характеристики конкуренция утратила бы свои самые благоприятные последствия; без элемента произвола в обмене и рыночной паники рабочая сила не строила бы постоянно фабрику за фабрикой, и, не поддерживаясь в таком хорошем рабочем состоянии, производство не реализовало бы ни одного из своих чудес. После того, как зло возникло из самой полезности своего принципа, конкуренция снова находит способ извлечь добро из зла; разрушение порождает полезность, равновесие достигается возбуждением, и о конкуренции можно сказать то же, что Самсон сказал о льве, которого он убил: *De comedente cibus exiit, et de forti dulcedo*. Есть ли что-нибудь во всех сферах человеческого знания более удивительное, чем политическая экономия?

Давайте, тем не менее, постараемся не поддаваться порыву иронии, который был бы с нашей стороны всего лишь несправедливым оскорблением. Для экономической науки характерно находить свою определенность в своих противоречиях, и вся ошибка экономистов состоит в том, что они этого не поняли. Нет ничего хуже их критики, нет ничего печальнее их душевного смятения, как только они затрагивают вопрос конкуренции: можно было бы сказать, что они были свидетелями, вынужденными под пытками признаться в том, что их совесть хотела бы скрыть. Читатель будет благосклонен, если я представлю ему аргументы в пользу невмешательства, представив его, так сказать, в присутствии на секретном собрании экономистов.

Месье Дюнуайе открывает дискуссию.

Из всех экономистов г-н Дюнуайе наиболее энергично воспринял положительную сторону конкуренции и, следовательно, как и следовало ожидать, наиболее безуспешно ухватился за отрицательную сторону. Г-н Дюнуайе, с которым ничего нельзя поделать, когда обсуждается то, что он называет принципами, очень далек от того, чтобы верить, что в вопросах политической экономии "да" и "нет" могут быть истинными в один и тот же момент и в одинаковой степени;

надо сказать даже к его чести, что такая концепция вызывает у него еще большее отвращение из-за откровенности, с которой он придерживается своих доктрин. Чего бы я только не отдал, чтобы проникнуть в эту чистую, но такую упрямую душу ради истины, столь же несомненной для меня, как существование солнца, - что все категории политической экономии суть противоречия! Вместо того, чтобы бесполезно изнурять себя примирением практики и теории; вместо того, чтобы довольствоваться нелепым оправданием, что все здесь, внизу, имеет свои преимущества и свои неудобства, — М. Дюнуайе искал бы синтетическую идею, разрешающую все антиномии, и вместо парадоксального консерватора, которым он является сейчас, он стал бы у нас неумолимым и логичным революционером.

"Если конкуренция - ложный принцип, - говорит мсье Дюнуайе, - то из этого следует, что в течение двух тысяч лет человечество шло по ложному пути".

Нет, из того, что вы говорите, ничего не следует, и ваше предвзятое замечание опровергается самой теорией прогресса. Человечество устанавливает свои принципы по очереди, иногда с большими интервалами: оно никогда не отказывается от них по существу, хотя последовательно разрушает их выражения и формулы. Это разрушение называется ОТРИЦАНИЕМ, потому что общий разум, постоянно прогрессирующий, постоянно отрицает полноту и достаточность своих предшествующих идей. Таким образом, поскольку конкуренция является одним из периодов формирования ценности, одним из элементов социального синтеза, в то же время справедливо сказать, что она неразрушима в своем принципе и что, тем не менее, в ее нынешней форме она должна быть упразднена, отрицаться. Таким образом, если здесь и есть кто-то, кто находится в оппозиции к истории, то это вы.

У меня есть несколько замечаний в связи с обвинениями, объектом которых была конкуренция. Первое состоит в том, что этот режим, хороший или плохой, разрушительный или плодотворный, на самом деле еще не существует; что он установлен лишь частичным и наиболее неполным образом.

Это первое наблюдение не имеет смысла. КОНКУРЕНЦИЯ УБИВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ, как мы говорили вначале; этот афоризм можно использовать как определение. Как же тогда конкуренция вообще может быть полной?

Более того, хотя следует признать, что конкуренция еще не существует в своей целостности, это просто доказало бы, что конкуренция не действует со всей присущей ей силой устранения; но это несколько не изменит ее противоречивую природу. Зачем нам ждать еще тридцать столетий, чтобы выяснить, что чем больше развивается конкуренция, тем больше она ведет к сокращению числа конкурентов?

Вторая заключается в том, что нарисованная картина неверна; и что не уделяется достаточного внимания расширению общего благосостояния, включая даже благосостояние трудящихся классов.

Если некоторые социалисты не признают полезной стороны конкуренции, то вы, со своей стороны, не упоминаете о ее пагубных последствиях. Показания ваших оппонентов, пришедших дополнить ваше собственное соревнование, показаны в самом полном свете, и в результате из

двойной лжи мы получаем правду. Что касается серьезности зла, мы непосредственно увидим, что об этом думать.

Третье заключается в том, что зло, испытываемое трудящимися классами, не относится к его реальным причинам.

Если существуют другие причины бедности, помимо конкуренции, мешает ли это ей вносить свою долю? Хотя конкуренция разоряла только одного производителя в год, если бы было признано, что это разорение является необходимым следствием принципа, конкуренцию как принцип пришлось бы отвергнуть.

Четвертое заключается в том, что основные средства, предлагаемые для устранения этого, были бы крайне нецелесообразны.

Возможно: но из этого я делаю вывод, что неадекватность предлагаемых средств правовой защиты налагает на вас новую обязанность, а именно — поиск наиболее подходящих средств предотвращения зла конкуренции.

Наконец, пятое заключается в том, что реальные средства правовой защиты, насколько возможно устранить зло с помощью законодательства, были бы найдены именно в режиме, который обвиняется в его создании, то есть во все более и более реальном режиме свободы и конкуренции.

Хорошо! Я согласен. Средство от конкуренции, по вашему мнению, - сделать конкуренцию универсальной. Но для того, чтобы конкуренция стала всеобщей, необходимо обеспечить все средства конкуренции; необходимо уничтожить или видоизменить преобладание капитала над трудом, изменить отношения между предпринимателем и рабочим, одним словом, разрешить антиномию разделения труда и антиномию машин; необходимо ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД: можете ли вы дать это решение?

Затем мсье Дюнуайе с мужеством, достойным лучшего дела, развивает свою собственную утопию всеобщей конкуренции: это лабиринт, в котором автор спотыкается и противоречит себе на каждом шагу.

"Конкуренция, - говорит мсье Дюнуайе, - наталкивается на множество препятствий".

На самом деле, он встречает так много и таких могущественных, что сам по себе становится невозможным. Ибо как возможна победа над препятствиями, присущими устройству общества и, следовательно, неотделимыми от самой конкуренции?

Помимо государственных служб, существует определенное количество профессий, практику которых правительство сочло нужным более или менее исключительно сохранить; существует большее количество профессий, монополию на которые законодательство предоставило ограниченному кругу лиц. Те, которые брошены на произвол конкуренции, подвергаются формальностям и ограничениям, бесчисленным барьерам, которые удерживают многих от приближения, и, следовательно, в этих случаях конкуренция далеко не безгранична. Короче говоря, есть мало таких, которые не облагаются различными налогами, несомненно необходимыми и т.д.

Что все это значит? Г-н Дюнуайе, несомненно, не имеет в виду, что общество должно обходиться без правительства, администрации, полиции, налогов, университетов, одним словом, без всего, что составляет общество. Тогда, поскольку общество неизбежно предполагает исключения из конкуренции, гипотеза всеобщей конкуренции химерична, и мы снова возвращаемся к режиму каприза — результату, предсказанному в определении конкуренции. Есть ли что-то серьезное в этих рассуждениях господина Дюнуайе?

Прежде мастера науки начинали с того, что отбрасывали подальше от себя все предвзятые идеи и посвящали себя тому, чтобы свести факты к общим законам, никогда не изменяя и не скрывая их. Исследования Адама Смита, учитывая время их появления, являются чудом проницательности и возвышенных рассуждений. Экономическая картина, представленная Кенэ, какой бы невразумительной она ни казалась, свидетельствует о глубоком чувстве общего синтеза. Введение к великому трактату Дж. Б. Сэя посвящено исключительно научным характеристикам политической экономии, и в каждой строке видно, насколько сильно автор ощущал потребность в абсолютных идеях. Экономисты прошлого века, конечно, не составляли науку, но они горячо и честно стремились к этой конституции.

Как далеки мы сегодня от этих благородных мыслей! Они больше не стремятся к науке; они защищают интересы династии и касты. Чем более бессильной становится рутина, тем упрямее они придерживаются ее; они используют самые почитаемые имена, чтобы придать аномальным явлениям качество достоверности, которого им недостает; они обвиняют факты в ереси; они клеветают на тенденции века; и ничто так не раздражает экономиста, как притворство, что они рассуждают с ним.

"Отличительной чертой настоящего времени, - восклицает г-н Дюнуайе тоном крайнего недовольства, - является возбуждение всех классов; их тревога, их неспособность когда-либо остановиться на чем-либо и быть довольным; адский труд, выполняемый над менее удачливыми, чтобы они становились все более и более недовольными пропорционально возросшим усилиям общества сделать их участь действительно менее плачевной".

В самом деле! Поскольку социалисты подталкивают политическую экономию, они - воплощенные дьяволы! На самом деле, может ли быть что-либо более нечестивое, чем учить пролетария тому, что с ним несправедливо обращаются в его труде и его заработной плате, и что в условиях, в которых он живет, его бедность непоправима?

Месье Рейбо повторяет, с большим акцентом, вопль своего учителя, месье Дюнуайе: можно подумать, что это два серафима из книги Исаяи, воспевающие Святилище перед соревнованием. В июне 1844 года, когда он опубликовал четвертое издание своих "Современных реформаторов", М. Рейбо с горечью в душе писал:

Социалистам мы обязаны организацией труда, правом на труд; они являются проводниками режима надзора Законодательные палаты по обе стороны ла-манша постепенно поддаются их влиянию Таким образом, утопия набирает силу

А мсье Рейбо все больше и больше сожалеет о ТАЙНОМ ВЛИЯНИИ СОЦИАЛИЗМА на лучшие умы и клеймит позором — видите, какой злобный умысел! — НЕЗАМЕТНУЮ ЗАРАЗУ, которой позволяют себе заразиться даже те, кто сломал копья против социализма. Затем он объявляет, как последний акт своей высшей справедливости против нечестивых, о приближающейся публикации под названием "Законы труда" работы, в которой он докажет (если только в его

идеях не произойдет какой-либо новой эволюции), что законы труда не имеют ничего общего ни с правом на труд, ни с организацией труда, и что лучшая из реформ - это laissez-faire.

"Более того, - добавляет М. Рейбо, - политическая экономия стремится больше не к теории, а к практике. Абстрактные разделы науки кажутся отныне неизменными. Спор по поводу определений исчерпан или почти исчерпан. Работы великих экономистов о стоимости, капитале, спросе и предложении, заработной плате, налогах, оборудовании, арендной плате, росте населения, перенакоплении продуктов, рынках, банках, монополиях и т.д., Похоже, установили границы догматических исследований и сформировали свод доктрин, за пределами которых мало надежды".

ЛЕГКОСТЬ РЕЧИ, БЕССИЛИЕ В СПОРЕ — таков был бы вывод Монтескье по поводу этого странного панегирика основателям социальной экономики. НАУКА ЗАВЕРШЕНА! месье Рейбо приносит в ней присягу; и то, что он провозглашает с таким авторитетом, повторяется в Академии, на профессорских кафедрах, в государственных советах, в залах законодательных собраний; это публикуется в журналах; короля заставляют повторять это в его новогодних обращениях; и в судах дела истцов решаются соответствующим образом.

НАУКА ЗАВЕРШЕНА! Какие же мы тогда дураки, социалисты, что ищем дневного света в полдень и протестуем с фонарями в руках против яркости этих солнечных лучей!

Но, джентльмены, с искренним сожалением и глубоким недоверием к самому себе я вынужден просить вас о дополнительном освещении.

Если вы не можете вылечить наши болезни, скажите нам хотя бы добрые слова, дайте нам доказательства, дайте нам отставку.

"Очевидно, - говорит мсье Дюнуайе, - что в наши дни богатство распределено бесконечно лучше, чем когда-либо".

"Равновесие страданий и удовольствий, - тут же продолжает месье Рейбо, - всегда стремится восстановиться на земле".

Что же тогда? Что вы скажете? БОГАТСТВО РАСПРЕДЕЛЕНО ЛУЧШЕ, РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО! Объясните, пожалуйста, сами, относительно этого лучшего распределения. Наступает равенство или уходит неравенство? Солидарность становится ближе или конкуренция уменьшается? Я не оставлю вас, пока вы не ответите мне, non missura cutem. ... Ибо, какова бы ни была причина восстановления равновесия и лучшего распределения, на которую вы указываете, я принимаю ее с жаром и буду следовать за ней до ее последних последствий. До 1830 года — я выбираю дату наугад — богатство распределялось не так хорошо: как же так? Сегодня, по вашему мнению, оно распределено лучше: почему? Вы понимаете, к чему я клоню: поскольку распределение еще не совсем справедливое, а равновесие не совсем совершенное, я спрашиваю, с одной стороны, какое препятствие нарушает равновесие, а с другой, в силу какого принципа человечество постоянно переходит от большего зла к меньшему и от добра к лучшему? Ибо, на самом деле, этим тайным принципом улучшения не могут быть ни конкуренция, ни машины, ни разделение труда, ни спрос и предложение: все эти принципы являются всего лишь рычагами, которые по очереди вызывают колебания стоимости, как это очень ясно увидела Академия моральных наук. Что же тогда

является суверенным законом благополучия? Что это за правило, эта мера, этот критерий прогресса, нарушение которого является постоянной причиной бедности? Говори и прекрати свои разглагольствования.

Богатство лучше распределяется, говорите вы. Покажите нам ваши доказательства. М. Дюнуайе:

Согласно официальным документам, налоги взимаются едва ли с одиннадцати миллионов отдельных участков земельной собственности. Число собственников, которыми уплачиваются эти налоги, оценивается в шесть миллионов; таким образом, если предположить, что на семью приходится четыре человека, то из тридцати четырех жителей не менее двадцати четырех миллионов владеют землей.

Тогда, согласно самым благоприятным данным, во Франции должно быть десять миллионов пролетариев, или почти треть населения. Итак, что вы на это скажете? Добавьте к этим десяти миллионам половину из двадцати четырех других, чье имущество, обремененное ипотеками, раздробленное, обнищавшее, убогое, не дает им никакой поддержки, и все равно у вас не будет такого количества людей, чье существование ненадежно.

Число двадцати четырех миллионов собственников имеет заметную тенденцию к увеличению.

Я утверждаю, что она имеет заметную тенденцию к уменьшению. Кто, по вашему мнению, является реальным собственником — номинальный держатель, облагаемый налогом, заложенный, заложенный в ипотеку, или кредитор, который взимает арендную плату? Еврейские и швейцарские ростовщики являются сегодня настоящими владельцами Эльзаса; и доказательством их превосходной рассудительности является тот факт, что у них и в мыслях нет приобретать земельные владения: они предпочитают вкладывать свой капитал.

К землевладельцам следует добавить около полутора тысяч владельцев патентов и лицензий, или, если считать, что в семье четыре человека, шесть миллионов частных лиц, заинтересованных в качестве руководителей промышленных предприятий.

Но, во-первых, огромное количество этих лицензированных физических лиц являются землевладельцами, и вы пересчитываете их дважды. Далее, можно с уверенностью сказать, что из всего числа лицензированных производителей и торговцев максимум четвертая часть получает прибыль, еще четвертая удерживается самостоятельно, а остальные постоянно отстают в своем бизнесе. Возьмите, тогда, самое большее половину из шести миллионов так называемых руководителей предприятий, которых мы добавим к весьма проблематичным двенадцати миллионам землевладельцев, и мы получим в общей сложности пятнадцать миллионов французов, которые благодаря своему образованию, своей промышленности, своему капиталу, своему кредиту, своей собственности могут участвовать в конкуренции. Для остальной нации, или девятнадцати миллионов душ, конкуренция, подобно жареной в горшочке телке Генриха IV, - это блюдо, которое готовят для класса, который может за это заплатить, но к которому они никогда не прикасаются.

Еще одна трудность. Эти девятнадцать миллионов человек, до которых конкуренция никогда не доходит, являются наемниками конкурентов. Точно так же раньше крепостные сражались за господ, но сами не могли нести знамя или привести в боевую готовность армию. Итак, если

конкуренция сама по себе не может стать обычным явлением, почему бы тем, для кого она не сулит ничего, кроме опасностей, не потребовать гарантий от баронов, которым они служат? И если в этих гарантиях им нельзя отказать, то как они могут быть иными, чем барьеры для конкуренции, подобно тому как Божье перемирие, изобретенное епископами, было барьером для феодальных войн? Согласно конституции общества, я сказал некоторое время назад, конкуренция является исключительным делом, привилегией; теперь я спрашиваю, как возможно, чтобы эта привилегия сосуществовала с равенством прав?

И вы думаете, что, когда я требую для потребителей и получателей заработной платы гарантий против конкуренции, это мечта социалиста? Послушайте двух ваших самых прославленных собратьев, которых вы не станете обвинять в выполнении адской работы.

М. Росси (Том I., лекция 16) признает за государством право регулировать труд, КОГДА ОПАСНОСТЬ СЛИШКОМ ВЕЛИКА, А ГАРАНТИЙ НЕДОСТАТОЧНО, что означает "всегда". Ибо законодатель должен обеспечивать общественный порядок с помощью ПРИНЦИПОВ и ЗАКОНОВ: он не ждет возникновения непредвиденных фактов для того, чтобы произвольной рукой отодвинуть их назад. В другом месте (Том II., стр. 73-77) тот же профессор указывает в качестве последствий чрезмерной конкуренции на непрерывное формирование финансовой и земельной аристократии и приближающееся падение мелких собственников, и он поднимает крик тревоги. М. Бланки, со своей стороны, заявляет, что организация труда признана экономической наукой в порядке вещей (с тех пор он отказался от этого утверждения), призывает к участию рабочих в получении прибыли и появлению коллективного работника и постоянно выступает против монополий, запретов и тирании капитала. Право на аудиенцию! М. Росси, как специалист по уголовному праву, выносит приговоры против хищений у конкурентов; М. Бланки, как следователь, объявляет виновные стороны: это аналог дуэта, который только что спел М. Рейбо и Дюнуайе. Когда последние восклицают "ОСАННА", первые отвечают, подобно Отцам Церкви на Соборах, "АНАФЕМА".

Но, как скажут, г-жи Бланки и Росси намерены бороться только со ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ конкуренцией; они позаботились о том, чтобы не запрещать этот ПРИНЦИП, и в этом они полностью согласны с г-жой Дж. Рейбо и Дюнуайе.

Я протестую против этого различия в интересах славы двух профессоров.

На самом деле, жестокое обращение распространилось повсюду, и исключение стало правилом. Когда г-н Троплонг, защищая вместе со всеми экономистами свободу торговли, признал, что коалиция компаний извозчиков была одним из тех фактов, против которых законодатель оказывается абсолютно бессильным и которые, по-видимому, противоречат самым здравым представлениям социальной экономии, он все же утешился тем, что сказал себе, что такой факт был совершенно исключительным и что есть основания полагать, что он не станет всеобщим. Теперь этот факт стал всеобщим: самому консервативному юристу достаточно высунуть голову из окна, чтобы увидеть, что сегодня абсолютно все монополизировано посредством конкуренции — транспорт (наземный, железнодорожный и водный), пшеница и мука, вино и бренди, древесина, уголь, нефть, железо, ткани, соль, химические продукты и т.д. Печально для юриспруденции, этой сестры-близнеца политической экономии, видеть, что ее серьезным ожиданиям противоречат без всякого блеска, но еще печальнее для великой нации быть во главе таких бедных гениев и черпать те немногие идеи, которые поддерживают ее жизнь, из хвороста их трудов.

Теоретически мы продемонстрировали, что конкуренция, с ее полезной стороны, должна быть всеобщей и доведена до максимальной интенсивности; но что, если рассматривать ее с отрицательной стороны, она должна подавляться повсюду, даже в самых последних проявлениях. В состоянии ли экономисты осуществить это устранение? Предвидели ли они последствия, просчитали трудности? Если ответ будет утвердительным, я наберусь смелости предложить им для решения следующий случай.

Коалиционный договор, или, скорее, ассоциативный договор, — поскольку суды были бы весьма затруднены определить оба термина, — только что объединил в одну компанию все угольные копи в бассейне Луары. По жалобе муниципалитетов Лиона и Сент-Этьена министерство назначило комиссию, которой поручено изучить характер и тенденции этого ужасного общества.

Итак, я спрашиваю, чего может достичь здесь вмешательство власти с помощью гражданского права и политической экономии?

Они выступают против коалиции. Но можно ли помешать владельцам шахт объединяться, сокращать свои общие расходы и издержки эксплуатации, а также извлекать больше пользы из своих шахт за счет более совершенного взаимопонимания друг с другом? Прикажут ли им снова начать свою старую войну и разорить себя увеличением расходов, расточительством, перепроизводством, беспорядком и снижением цен? Все это абсурдно.

Должны ли они быть лишены возможности повышать свои цены таким образом, чтобы возместить проценты на свой капитал? Тогда пусть они сами будут защищены от любых требований повышения заработной платы со стороны рабочих; пусть закон об акционерных обществах будет восстановлен; пусть продажа акций будет запрещена; и когда все эти меры будут приняты, поскольку капиталистов-собственников бассейна нельзя справедливо заставить потерять капитал, вложенный при других условиях, пусть они получают компенсацию.

Должен ли быть наложен на них тариф? Это был бы закон максимума. Тогда государству пришлось бы поставить себя на место эксплуататоров; вести учет их капитала, процентов и служебных расходов; регулировать заработную плату шахтеров, инженеров и директоров, цену древесины, используемой при добыче угля, расходы на материалы; и, наконец, определять нормальную и законную норму прибыли. Все это не может быть сделано министерским декретом: необходим закон. Осмелится ли законодатель ради особой отрасли изменить публичное право Франции и поставить власть на место собственности? Тогда из двух вещей одна: либо торговля углем перейдет в руки государства, либо государство должно найти какие-то средства для согласования свободы и порядка в ведении горнодобывающей промышленности, и в этом случае социалисты потребуют, чтобы то, что было выполнено в какой-то момент, имитировалось во всех точках.

Коалиция шахтеров Луары поставила социальный вопрос в терминах, не допускающих больше уклонений. Либо конкуренция, то есть монополия и все, что за ней следует; либо эксплуатация со стороны государства, то есть дороговизна труда и непрерывное обнищание; либо, короче говоря, решение, основанное на равенстве, другими словами, организация труда, которая предполагает отрицание политической экономии и конец собственности.

Но экономисты не придерживаются такой резкой логики: они любят торговаться с необходимостью. М. Дюпен (сессия Академии моральных и политических наук, 10 июня 1843 г.)

выражает мнение, что, "хотя конкуренция может быть полезной внутри страны, ее следует предотвращать между нациями".

ПРЕДОТВРАТИТЬ или ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ — такова вечная альтернатива экономистов: дальше этого их гений не идет. Напрасно кричат им, что речь идет не о том, чтобы что-либо ПРЕДОТВРАЩАТЬ или все РАЗРЕШАТЬ; что то, чего от них просят, чего общество ожидает от них, - это ПРИМИРЕНИЯ: эта двойная идея не приходит им в голову.

"Необходимо, - отвечает г-н Дюнуайе г-ну Дюпену, - ОТЛИЧАТЬ теорию от практики".

Боже мой! всем известно, что мсье Дюнуайе, непреклонный в отношении принципов в своих работах, очень сговорчив в том, что касается практики в Государственном совете. Но пусть он снизойдет до того, чтобы хоть раз задать себе этот вопрос: почему я обязан постоянно отличать практику от теории? Почему они не гармонируют?

Мсье Бланки, как любитель мира и гармонии, поддерживает ученого Мсье Дюнуайе, то есть теорию. Тем не менее он считает, вместе с г—ном Дюпеном, — то есть с практикой, - что конкуренция не освобождена ОТ УПРЕКОВ. Так боится господин Бланки клеветы и разжигания огня!

Мсье Дюпен упрям в своем мнении. В качестве зла, за которое несет ответственность конкуренция, он называет мошенничество, продажу с фальшивыми весами, эксплуатацию детей. И все это, несомненно, для того, чтобы доказать, что конкуренция ВНУТРИ СТРАНЫ может быть полезной!

Месье Пасси со свойственной ему логикой замечает, что всегда найдутся нечестные люди, которые и т.д. Он плачет, обвиняя человеческую природу, но не конкуренцию.

С самого начала логика месье Пасси отклоняется от сути вопроса. Конкуренцию упрекают в неудобствах, проистекающих из ее природы, а не в мошенничестве, поводом или предлогом для которого она является. Фабрикант находит способ заменить рабочего, который обходится ему в три франка в день, женщиной, которой он дает всего один франк. Этот прием - единственный, с помощью которого он может противостоять падающему рынку и поддерживать свое заведение в движении. Вскоре к работающим женщинам он добавит детей. Затем, вынужденный нуждами войны, он постепенно снизит заработную плату и увеличит количество рабочих часов. Где здесь виноватая сторона? Этот аргумент можно использовать сотнями способов и применять ко всем отраслям промышленности, не давая никаких оснований для обвинения человеческой природы.

Сам месье Пасси вынужден признать это, когда добавляет: "Что касается принудительного труда детей, то вина лежит на родителях". Совершенно верно. А вина родителей на ком?

"В Ирландии, - продолжает этот оратор, - нет конкуренции, и все же бедность является крайней".

В этом пункте обычная логика мсье Пасси была обманута поразительным отсутствием памяти. В Ирландии существует полная, всеобщая монополия на землю и неограниченная, отчаянная конкуренция за фермы. Конкуренция-монополия - это два мяча, которые несчастная Ирландия тащит по одному после каждой ноги.

Когда экономистам надоедает обвинять человеческую природу, жадность родителей и буйство радикалов, они находят удовольствие в изображении счастья пролетариата. Но и здесь они не могут прийти к согласию друг с другом или с самими собой; и ничто так не иллюстрирует анархию конкуренции, как беспорядок их идей.

Сегодня жена рабочего носит элегантные платья, которыми в прошлом веке не побрезговали бы знатные дамы.—М. Шевалье: Лекция 4.

И это тот же самый мсье Шевалье, который, согласно его собственным расчетам, оценивает совокупный национальный доход в тринадцать центов в день на каждого человека. Некоторые экономисты даже снижают эту цифру до одиннадцати центов. Теперь, поскольку все, что идет на создание крупных состояний, должно складываться из этой суммы, мы можем принять оценку г-на де Морюга, согласно которой ежедневный доход половины французов не превышает пяти центов на каждого.

"Но, - продолжает господин Шевалье с мистическим восторгом, - разве счастье не заключается в гармонии желаний и удовольствий, в равновесии потребностей и удовлетворений? Не заключается ли это в определенном состоянии души, предотвращать которое не входит в функции политической экономии и порождать которое не входит в ее задачу? Это работа религии и философии".

Экономист, Гораций сказал бы М.: Шевалье, если бы он жил в наши дни, позаботься просто о моих доходах и предоставь мне заботиться о своей душе: *Det vitam, det opes; quum mi animum ipse parabo.*

Слово снова имеет г-н Дюнуайе:

Во многих городах в праздничные дни было бы легко спутать рабочий класс с классом буржуазии (почему существует два класса?), настолько изысканна одежда первых. Не меньшим прогрессом стал и в области питания. Пища стала одновременно более обильной, более сытной и более разнообразной. Хлеб везде вкуснее. Мясо, суп, белый хлеб стали во многих фабричных городах бесконечно более привычными, чем раньше. Короче говоря, средняя продолжительность жизни была увеличена с тридцати пяти лет до сорока.

Далее мсье Дюнуайе дает картину состояния Англии по Маршаллу. Из этой фотографии следует, что в Англии доход двух миллионов пятисот тысяч семей составляет всего двести сорок долларов. Так вот, в Англии доход в двести сорок долларов соответствует доходу в сто сорок шесть долларов в нашей стране, который, будучи разделен между четырьмя лицами, дает каждому по тридцать шесть с половиной долларов, или десять центов в день. Это недалеко от тринадцати центов, которые г-н Шевалье разрешает каждому гражданину Франции: разница в пользу последнего проистекает из того факта, что, поскольку рост благосостояния во Франции менее высок, бедность также меньше. Что следует думать о пышных описаниях экономистов или об их цифрах?

"Пауперизм в Англии возрос до такой степени, - признается г-н Бланки, - что английскому правительству пришлось искать убежища в этих ужасных рабочих домах". . . .

На самом деле, эти мнимые рабочие дома, где работа заключается в нелепых и бесплодных занятиях, являются, что ни говори, просто домами пыток. Ибо для разумного существа нет пытки лучше, чем вращать мельницу без зерна и без муки, с единственной целью избежать отдыха, не избавляясь тем самым от безделья.

"Эта организация [организация конкуренции], - продолжает Бланки, - стремится к тому, чтобы вся прибыль от труда переходила в руки капитала... Именно в Реймсе, Мюлузе, Сен-Кантене, как и в Манчестере, Лидсе, Спиталфилдсе существование рабочих наиболее ненадежно". . . .

Далее следует ужасающая картина нищеты рабочих. Мужчины, женщины, дети, молодые девушки проходят перед вами, изголодавшиеся, побледневшие, оборванные, изможденные и дикие. Описание заканчивается таким штрихом:

Рабочие механической промышленности больше не могут поставлять рекрутов для армии.

Кажется, что белый хлеб и суп месье
Дюнуайе не приносят им особой пользы.

М. Виллерме считает распущенность молодых работающих девушек НЕИЗБЕЖНОЙ. Наложничество является их обычным статусом; они полностью субсидируются работодателями, клерками и студентами. Хотя в целом брак более привлекателен для народа, чем для буржуазии, есть много пролетариев, мальтузианцев, которые, сами того не подозревая, боятся семьи и плывут по течению. Таким образом, как рабочие - плоть для пушки, так и работницы - плоть для проституции: этим объясняется элегантная одежда по воскресеньям. В конце концов, почему от этих молодых женщин следует ожидать большей добродетели, чем от их любовниц?

Г-н Бюре, коронованный Академией:

Я утверждаю, что рабочий класс душой и телом отдается на благо промышленности.

Тот же автор говорит в другом месте:

Самые незначительные попытки спекуляции могут привести к колебанию цен на хлеб на цент за фунт и более, что составляет 124 100 долларов на тридцать четыре миллиона человек.

Могу мимоходом заметить, что столь оплакиваемый Бюре считал идею существования монополистов распространенным предрассудком. Ну и софист! монополист или спекулянт, какое значение имеет название, если вы признаете это?

Такими цитатами можно было бы заполнить тома. Но цель этого трактата не в том, чтобы излагать противоречия экономистов и вести бесплодную войну с людьми. Наша цель более высока и достойна: она состоит в том, чтобы раскрыть Систему Экономических противоречий, а это совсем другое дело. Поэтому мы закончим этот печальный обзор здесь; и, прежде чем завершить, мы бросим взгляд на различные предлагаемые средства устранения неудобств конкуренции.

% 3.—Средства защиты от конкуренции.

Можно ли отменить конкуренцию в сфере труда?

С таким же успехом стоило бы спросить, могут ли подавляться личность, свобода, индивидуальная ответственность.

Конкуренция, по сути, является выражением коллективной деятельности; точно так же, как заработная плата, рассматриваемая в самом высоком смысле, является выражением достоинств и недостатков, одним словом, ответственности работника. Бесполезно декламировать и бунтовать против этих двух основных форм свободы и дисциплины в труде. Без теории заработной платы нет распределения, нет справедливости; без организации конкуренции нет социальных гарантий, следовательно, нет солидарности.

Социалисты смешали две по сути разные вещи, когда, противопоставляя союз домашнего очага промышленной конкуренции, спросили себя, не может ли общество быть устроено точно так же, как большая семья, все члены которой были бы связаны кровными узами, а не как своего рода коалиция, в которой каждый сдерживается законом своих собственных интересов.

Семья не является, если я осмелюсь так выразиться, типом, органической молекулой общества. В семье, как очень хорошо заметил г-н де Бональд, существует только одно нравственное существо, один разум, одна душа, я чуть было не сказал, согласно Библии, одна плоть. Семья - это тип и колыбель монархии и патрициата: в ней живет и сохраняется идея власти и суверенитета, которая все больше и больше стирается в государстве. Именно по модели семьи были организованы все древние и феодальные общества, и именно против этой старой патриархальной конституции протестует и восстает современная демократия.

Основной ячейкой общества является мастерская.

Итак, семинар обязательно подразумевает интересы всего организма и частные интересы, коллективной личности и отдельных лиц. Отсюда система отношений, неизвестных в семье, среди которых на первый план выходит противостояние коллективной воли, представленной РАБОТОДАТЕЛЕМ, и индивидуальной воли, представленной ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Затем возникают отношения от магазина к магазину, от столицы к столице - другими словами, конкуренция и ассоциация. Ибо конкуренция и ассоциация поддерживаются друг другом; они не существуют независимо; они очень далеки от того, чтобы исключать друг друга, они даже не расходятся. Тот, кто говорит, что конкуренция, уже предполагает общую цель; следовательно, конкуренция - это не эгоизм, и самая прискорбная ошибка социализма состоит в том, что он рассматривал ее как подрыв общества.

Следовательно, здесь не может быть и речи об уничтожении конкуренции, так же невозможно, как уничтожить свободу; проблема состоит в том, чтобы найти ее равновесие, я бы охотно сказал, ее охрану. Ибо каждая сила, каждая форма спонтанности, будь то индивидуальная или коллективная, должна получить свое определение: в этом отношении с конкуренцией происходит то же самое, что с интеллектом и свободой. Как же тогда конкуренция будет гармонично определяться в обществе?

Мы слышали ответ М. Дюнуайе, выступающего от имени политической экономии: конкуренция должна определяться сама по себе. Другими словами, согласно М. Дюнуайе и все экономисты считают, что средством от неудобств конкуренции является усиление конкуренции; и, поскольку политическая экономия - это теория собственности, абсолютного права пользования

и злоупотребления, ясно, что у политической экономии нет другого ответа. Это все равно, как если бы притворялись, что воспитание свободы осуществляется свободой, обучение разума разумом, определение ценности ценностью - все эти утверждения явно тавтологичны и абсурдны.

И в самом деле, если ограничиться обсуждаемым предметом, то очевидно, что конкуренция, практикуемая сама по себе и не имеющая иной цели, кроме поддержания неопределенной и противоречивой независимости, не может закончиться ничем и что ее колебания вечны. В соревновании борющимися элементами являются капитал, техника, процессы, талант и опыт, то есть снова капитал; победа обеспечена самым тяжелым батальонам. Таким образом, если конкуренция осуществляется только в интересах частных лиц и если ее социальные последствия не были определены наукой и не были зарезервированы государством, в конкуренции, как и в демократии, будет наблюдаться постоянная тенденция от гражданской войны к олигархии, от олигархии к деспотизму, а затем распад и возвращение к гражданской войне, без конца и без отдыха. Вот почему конкуренция, предоставленная самой себе, никогда не сможет прийти к своей собственной конституции: как и ценность, она нуждается в высшем принципе, который социализировал бы и определял ее. Эти факты отныне достаточно хорошо установлены, чтобы дать нам право считать их выше всякой критики и извинить нас за то, что мы к ним возвращаемся. Политическая экономия, поскольку речь идет о политике конкуренции, не имеющей никаких средств, кроме самой конкуренции, и неспособной иметь никаких других, оказывается бессильной.

Теперь остается выяснить, какое решение предполагает социализм. Один-единственный пример даст представление о его возможностях и позволит нам прийти к общим выводам относительно него.

Из всех современных социалистов М. Луи Блан, возможно, благодаря своему замечательному таланту добился наибольшего успеха в привлечении внимания общественности к своим трудам. В своей "Организации труда", сведя проблему объединения к одному пункту - конкуренции, он без колебаний высказывается за ее отмену. Из этого мы можем судить, до какой степени этот писатель, обычно такой осторожный, заблуждается относительно ценности политической экономии и масштабов социализма. С одной стороны, Мсье Блан, получающий свои идеи в готовом виде не знаю из какого источника, отдающий все своему веку и ничего истории, абсолютно отвергает политическую экономию по существу и форме и лишает себя самих организационных материалов; с другой стороны, он приписывает тенденциям, возрожденным из всех прошлых эпох, которые он принимает за новые, реальность, которой они не обладают, и неверно понимает природу социализма, которая исключительно критична. Мсье Блан, таким образом, показал нам живое воображение, готовое противостоять невозможному; он поверил в предсказание будущего. гениален; но он должен был понимать, что наука не импровизирует сама по себе и что, кого бы ни звали Адольфом Буайе, Луи Бланком или Ж.-Ж. Руссо, при условии, что нет ничего в опыте, нет ничего и в уме.

Мсье Бланк начинает с такого заявления:

Мы не можем понять тех, кто вообразил, не знаю, какое таинственное соединение двух противоположных принципов. Заменять ассоциацию конкуренцией - плохая идея: это все равно что заменять евнухов гермафродитами.

У мсье Блана всегда будут причины сожалеть об этих трех строчках. Они доказывают, что, когда он опубликовал четвертое издание своей книги, он был так же мало продвинут в логике, как и в политической экономии, и что он рассуждал и о том, и о другом, как слепой рассуждал бы о цветах. Гермафродизм в политике заключается именно в исключении, потому что исключение всегда восстанавливает, в той или иной форме и в той же степени, исключенную идею; и М. Блан был бы очень удивлен, если бы ему показали, благодаря постоянному смешению в его книге самых противоположных принципов — власти и права, собственности и коммунизма, аристократии и равенства, труда и капитала, вознаграждения и самопожертвования, свободы и диктатуры, свободного исследования и религиозной веры, — что настоящим гермафродитом, двуполым публицистом является он сам. М. Блан, помещенный на границе демократии и социализма, на одну ступень ниже Республики, на две ступени ниже господина Барро, на три ниже М. Тьер также, что бы он ни говорил и что бы ни делал, является потомком через четыре поколения Гизо, доктринера.

"Конечно, - восклицает г-н Бланк, - мы не из тех, кто предаёт анафеме принцип авторитета. Этот принцип нам тысячу раз доводилось защищать от нападков, столь же опасных, сколь и абсурдных. Мы знаем, что, когда организованной силы в обществе нет нигде, деспотизм существует повсюду".

Таким образом, по словам М. Блан, средство борьбы с конкуренцией или, скорее, средство ее уничтожения состоит во вмешательстве власти, в замене индивидуальной свободы государством: это противоположно системе экономистов.

Мне бы не хотелось, чтобы г-н Бланк, общественные наклонности которого хорошо известны, обвинил меня в том, что я веду с ним невежливую войну, опровергая его. Я отдаю должное г-ну Бланку. Благородные намерения Блана; Я люблю и читаю его работы, и я особенно благодарен ему за услугу, которую он оказал, раскрыв в своей "Десятилетней истории" безнадежную нищету своей партии. Но никто не может согласиться показаться простофилей или слабоумным: теперь, полностью отбросив личность, что может быть общего между социализмом, этим всеобщим протестом, и мешаниной старых предрассудков, составляющих республику М. Блана? М. Блан никогда не устает апеллировать к власти, а социализм громогласно объявляет себя анархистом; М. Блан ставит власть выше общества, а социализм стремится подчинить ее обществу; М. Блан низводит социальную жизнь сверху, а социализм утверждает, что она возникает и разрастается снизу; М. Блан гонится за политикой, а социализм - это анархизм. в поисках науки. Позвольте мне сказать М.: Больше никакого лицемерия. Бланк: вы не желаете ни католицизма, ни монархии, ни дворянства, но у вас должны быть Бог, религия, диктатура, цензура, иерархия, различия и ранги. Со своей стороны, я отрицаю вашего Бога, вашу власть, ваш суверенитет, ваше правовое государство и все ваши репрезентативные мистификации; Я не хочу ни кадила Робеспьера, ни розги Марата; и, вместо того чтобы подчиняться вашей андрогинной демократии, я бы поддержал статус-кво. Шестнадцать лет ваша партия сопротивлялась прогрессу и блокировала общественное мнение; шестнадцать лет она демонстрировала свое деспотическое происхождение, следуя в кильватере власти на краю левого центра: ей пора отречься от престола или претерпеть метаморфозу.

Неумолимые теоретики власти, что же вы тогда предлагаете такого, чего правительство, с которым вы ведете войну, не может осуществить более терпимым способом, чем ваш?

СИСТЕМУ М. Блана можно резюмировать в трех пунктах:

1. Придать власти большую инициативность, то есть, говоря простым английским языком, сделать абсолютизм всемогущим для реализации утопии.
2. Основать общественные мастерские и снабдить их капиталом за счет государства.
3. Уничтожить частную промышленность путем конкуренции национальной промышленности.

И это все.

Касался ли мсье Блан проблемы ценности, которая сама по себе включает в себя все остальные? Он даже не подозревает о ее существовании.

Дал ли он теорию распределения? Нет. Разрешил ли он антиномию разделения труда, вечную причину невежества, безнравственности и бедности рабочих? Нет. Вызвал ли он исчезновение противоречия между машинами и заработной платой и примирил ли права ассоциации с правами свободы? Напротив, М. Блан освящает это противоречие. Находясь под деспотической защитой государства, он в принципе признает неравенство званий и заработной платы, добавляя к этому в качестве компенсации избирательный бюллетень. Разве рабочие, которые голосуют за свои правила и избирают своих лидеров, не свободны? Весьма вероятно, что эти рабочие с правом голоса не признают никакого командования или разницы в оплате труда между собой: тогда, поскольку ничего не будет предоставлено для удовлетворения производственных потребностей, при сохранении политического равенства, в цехах воцарится распад, и в отсутствие вмешательства полиции каждый вернется к своим собственным делам. Эти опасения не кажутся М. Бланку ни серьезными, ни обоснованными: он спокойно переживает испытание, совершенно уверенный, что общество не станет ему перечить.

А такие сложные и запутанные вопросы, как налогообложение, кредит, международная торговля, собственность, наследственность, — постиг ли их мсье Блан? Решил ли он проблему народонаселения? Нет, нет, нет, тысячу раз нет: когда мсье Бланк не может разрешить трудность, он устраняет ее. Что касается населения, он говорит:

Поскольку плодovита только бедность, и поскольку социальный семинар приведет к исчезновению бедности, нет причин думать об этом.

Напрасно г-н де Сисмонди, опираясь на всеобщий опыт, взывает к нему:

У нас нет доверия к тем, кто осуществляет делегированные полномочия. Мы считаем, что любая корпорация будет вести свой бизнес хуже, чем те, кто руководствуется личными интересами; что со стороны директоров будут наблюдаться небрежность, показуха, расточительство, фаворитизм, боязнь компромисса, короче говоря, все недостатки, которые следует отметить в управлении общественным богатством в отличие от частного богатства. Далее, мы считаем, что в собрании акционеров можно обнаружить только беспечность, каприз, халатность и что коммерческое предприятие постоянно подвергалось бы риску и вскоре разорилось, если бы зависело от совещательного коммерческого собрания.

Господин Бланк ничего не слышит; он заглушает все остальные звуки своими собственными звучными фразами; частный интерес он заменяет преданностью общественному благу; конкуренцию он заменяет соперничеством и вознаграждением. После того, как он провозгласил промышленную иерархию в качестве принципа, являющегося необходимым

следствием его веры в Бога, авторитет и гениальность, он отдает себя мистическим силам, идолам своего сердца и своего воображения.

Таким образом, М. Блан начинает с государственного переворота, или, скорее, согласно его первоначальному выражению, с применения СИЛЫ ИНИЦИАТИВЫ, которую он придает власти; и он взимает чрезвычайный налог с богатых, чтобы снабдить пролетариат капиталом. Логика М. Блана очень проста — это логика Республики: власть может добиться того, чего хочет народ, а то, чего хочет народ, правильно. Своеобразный способ реформирования общества, заключающийся в подавлении его наиболее спонтанных тенденций, отрицании его наиболее подлинных проявлений и, вместо того чтобы обеспечивать комфорт путем регулярного развития традиций, вытеснять труд и доходы! Но, по правде говоря, что хорошего в этих маскировках? Зачем столько ходить вокруг да около? Не проще ли было сразу принять аграрный закон? Не могла бы власть, в силу своей инициативности, сразу объявить весь капитал и инструменты собственностью государства, за исключением компенсации, которая должна быть предоставлена нынешним владельцам в качестве переходной меры? Посредством этой безапелляционной, но откровенной политики экономическое поле было бы расчищено; утопии это обошлось бы не дороже, и г-н Блан мог бы тогда спокойно и без каких-либо помех приступить к организации общества.

Но что я должен сказать? организуйте! Вся органическая работа мсье Блана состоит в этом великом акте экспроприации, или замещения, если вам больше нравится: промышленность после вытеснения и республиканизации и установления великой монополии мсье Блан не сомневается, что производство будет идти именно так, как хотелось бы; он не считает возможным, чтобы кто-то мог создать хотя бы одну трудность на пути того, что он называет своей СИСТЕМОЙ. И, в самом деле, какие возражения можно выдвинуть против концепции, столь радикально ничтожной, столь неосязаемой, как концепция М. Бланка? Самая любопытная часть его книги содержится в избранном сборнике возражений, выдвинутых некоторыми недоверчивыми людьми, на которые он, как можно себе представить, отвечает с триумфом. Эти критики не видели, что, обсуждая СИСТЕМУ М. Блана, они спорили о размерах, весе и форме математической точки. Теперь, как это случилось, полемика, которую вел мсье Бланк, научила его большему, чем его собственные размышления; и можно видеть, что, если бы возражения продолжались, он закончил бы открытием того, что, как ему казалось, он изобрел, — организации труда.

Но, в конце концов, достигнута ли цель, какой бы узкой она ни была, которую преследовал М. Блан, а именно уничтожение конкуренции и гарантия успеха предприятию, покровительствуемому и поддерживаемому государством? По этому поводу я процитирую размышления талантливого экономиста М. Жозефа Гарнье, к словам которого я позволю себе добавить несколько комментариев.

Правительство, по словам М. Блана, выбрало бы **НРАВСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ** и назначило бы им **ХОРОШУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ**.

Значит, у мсье Блана, должно быть, есть люди, созданные специально для него: он не льстит себе мыслью, что может действовать в соответствии с любым темпераментом. Что касается заработной платы, мсье Блан обещает, что она будет **ХОРОШЕЙ**; это проще, чем определять ее размер.

М. Бланк допускает в своей гипотезе, что эти мастерские давали бы чистый продукт и, кроме того, настолько успешно конкурировали бы с частной промышленностью, что последняя превратилась бы в национальные мастерские.

Как это может быть, если стоимость национальных семинаров выше, чем стоимость бесплатных семинаров? В третьей главе я показал, что триста рабочих на фабрике не приносят своему нанимателю, в общей сложности, регулярного чистого дохода в двадцать тысяч франков и что эти двадцать тысяч франков, распределенные между тремя сотнями рабочих, прибавили бы к их доходу всего восемнадцать сантимов в день. Это верно для всех отраслей. Как национальная мастерская, которая должна СВОИМ РАБОЧИМ ХОРОШУЮ заработную плату, восполнит этот дефицит? Говорит М. Бланк, путем подражания.

Мсье Блан с чрезвычайным самодовольством указывает на истеблишмент Леклера, общество маляров, ведущих очень успешный бизнес, которое он рассматривает как живую демонстрацию своей системы. Мсье Блан мог бы добавить к этому примеру множество подобных обществ, которые доказали бы не меньше, чем истеблишмент Леклера, то есть не больше. Истеблишмент Леклера - это коллективная монополия, поддерживаемая великим обществом, которое его окружает. Теперь вопрос в том, может ли все общество стать монополией в понимании М. Блана и по образцу истеблишмента Леклера: я это категорически отрицаю. Но факт, более тесно касающийся стоящего перед нами вопроса, и который мсье Блан не принял во внимание, заключается в том, что из отчетов о распределении, представленных истеблишментом Леклера, следует, что, поскольку выплачиваемая заработная плата намного превышает средний уровень в целом, первое, что нужно сделать при реорганизации общества, - это начать конкуренцию с истеблишментом Леклера либо среди его собственных работников, либо за их пределами.

Зарплата будет регулироваться правительством. Члены социальной мастерской распоряжались бы ими, как им заблагорассудится, и НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ НЕ ЗАСТАВИЛО БЫ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ, ЗАСТАВИВ ТРУДОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРОДИТЬ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИИ.

Месье Бланк коммунист, да или нет? Пусть он заявит о себе раз и навсегда, вместо того чтобы откладывать; и если коммунизм не сделает его более понятным, мы, по крайней мере, будем знать, чего он хочет.

Читая приложение, в котором г-н Блан счел нужным опровергнуть возражения, выдвинутые некоторыми журналами, мы яснее видим неполноту его концепции, дочери по крайней мере трех отцов - сен-симонизма, фурьеризма и коммунизма, - с помощью политики и немного, очень немного политической экономии.

Согласно его объяснениям, государство будет всего лишь регулирующим органом, законодателем, защитником промышленности, а не универсальным производителем. Но поскольку он защищает исключительно общественные мастерские, чтобы уничтожить частную промышленность, он неизбежно возвращается к монополии и невольно возвращается к теории Сен-Симона, по крайней мере, в том, что касается производства.

Мсье Бланк не может этого отрицать: его СИСТЕМА направлена против частной промышленности; и у него власть, благодаря своей силе инициативы, стремится подавить всякую индивидуальную инициативу, запретить свободный труд. Соединение противоположностей ненавистно М. Бланку: соответственно, мы видим, что, пожертвовав конкуренцией ради ассоциации, он жертвует ей также и свободой. Я жду, когда он уничтожит семью.

Тем не менее иерархия вытекала бы из выборного принципа, как в фурьеризме, так и в конституционной политике. Но опять же, эти общественные мастерские, регулируемые законом, — будут ли они чем-то иным, кроме корпораций? Что связывает корпорации? Закон. Кто будет издавать закон? Правительство. Вы полагаете, что это будет хорошо? Что ж, опыт показывает, что регулирование бесчисленных промышленных аварий никогда не приводило к успеху. Вы говорите нам, что это установит норму прибыли, уровень заработной платы; вы надеетесь, что это будет сделано таким образом, что рабочие и капитал найдут убежище в общественной мастерской. Но вы не говорите нам, как будет установлено равновесие между этими мастерскими, которые будут стремиться к совместной жизни, к фаланстерии; вы не говорите нам, как эти мастерские будут избегать конкуренции внутри и вовне; как они будут обеспечивать избыток населения по отношению к капиталу; чем производственные общественные мастерские будут отличаться от полевых; и многое другое помимо этого. Я хорошо знаю, что вы ответите: В силу конкретного закона! А если ваше правительство, ваш штат, не знает, как это сделать? Разве вы не видите, что скатываетесь вниз по склону и что вы обязаны ухватиться за что-то похожее на существующий закон? Читая вас, легко увидеть, что вы особенно преданы изобретению силы, пригодной для применения в вашей системе; но я заявляю, внимательно прочитав вас, что, по моему мнению, у вас пока нет ясного и четкого представления о том, что вам нужно. Чего вам, как и всем нам, не хватает, так это истинной концепции свободы и равенства, от которой вы не хотели бы отречься и которой вы обязаны пожертвовать, какие бы меры предосторожности вы ни предприняли.

Незнакомый с природой и функциями власти, вы не осмелились остановиться ни на одном объяснении; вы не привели ни малейшего примера.

Предположим, мы признаем, что мастерские преуспевают как производители; будут также коммерческие мастерские для запуска продукции в обращение и осуществления обмена. И кто тогда будет регулировать цены? Опять закон? По правде говоря, я говорю вам, вам нужно будет по-новому появиться на горе Синай; иначе вы никогда не выберетесь из своих трудностей, вы, ваш Государственный совет, ваша палата представителей или ваш ареопаг сенаторов.

Правильность этих размышлений не подлежит сомнению. Г-н Бланк, с его государственной организацией, вынужден всегда заканчивать там, где ему следовало бы начать (начав так, он был бы избавлен от необходимости писать свою книгу), то есть ИЗУЧАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ. Как очень хорошо сказал его критик: "М. Блан совершил серьезную ошибку, используя политическую стратегию при решении вопросов, которые не подлежат подобному рассмотрению"; он попытался призвать правительство к выполнению своих обязательств, и ему удалось лишь более ясно, чем когда-либо, продемонстрировать несовместимость социализма с разглагольствованиями и парламентской демократией. Его брошюра, сплошь покрытая красноречивыми страницами, делает честь его литературным способностям: что касается

философской ценности книги, то она была бы абсолютно такой же, если бы автор ограничился написанием на каждой странице крупными буквами одной-единственной фразы: я ПРОТЕСТУЮ.

Подводя итог:

Конкуренция как экономическое состояние или фаза, рассматриваемая с точки зрения ее происхождения, является необходимым результатом вмешательства машин, создания мастерской и теории снижения общих издержек; рассматриваемая в своем собственном значении и в своей тенденции, она является способом проявления и осуществления коллективной деятельности, выражением социальной спонтанности, эмблемой демократии и равенства, наиболее энергичным инструментом установления ценности, поддержкой ассоциации. Как проявление индивидуальных сил, это гарантия их свободы, первый момент их гармонии, форма ответственности, которая объединяет их всех и делает их солидарными.

Но конкуренция, предоставленная самой себе и лишенная направления высшего и эффективного принципа, — это всего лишь смутное движение, бесконечное колебание промышленной мощи, вечно мечущейся между двумя одинаково губительными крайностями: с одной стороны, корпорациями и патронажем, которые, как мы видели, породили мастерские, и, с другой стороны, монополией, о которой пойдет речь в следующей главе.

Социализм, хотя и протестует, и не без оснований, против этой анархической конкуренции, пока что не предложил ничего удовлетворительного для ее регулирования, о чем свидетельствует тот факт, что мы повсюду встречаем в утопиях, увидевших свет, передачу определения или обобществления ценностей произвольному контролю, а все реформы заканчиваются то иерархической корпорацией, то государственной монополией, то тиранией коммунизма.

ГЛАВА VI.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК.—МОНОПОЛИЯ.

Монополия, исключительная торговля, эксплуатация или пользование вещью.

Монополия - естественная противоположность конкуренции. Этого простого наблюдения достаточно, как мы уже отмечали, чтобы опровергнуть утопии, основанные на идее уничтожения конкуренции, как если бы ее противоположностью были ассоциация и братство. Конкуренция - это жизненная сила, оживляющая коллективное существо: уничтожить ее, если бы такое предположение было возможно, означало бы убить общество.

Но в тот момент, когда мы признаем конкуренцию как необходимость, это подразумевает идею монополии, поскольку монополия является, так сказать, пристанищем каждой конкурирующей индивидуальности. Соответственно, экономисты продемонстрировали — и М. Росси официально признал это, — что монополия - это форма общественного владения, вне которой нет ни труда, ни продукта, ни обмена, ни богатства. Каждое землевладение является монополией; каждая промышленная утопия стремится утвердиться в качестве монополии; и то же самое следует сказать о других функциях, не включенных в эти две категории.

Таким образом, монополия сама по себе не несет идеи несправедливости; фактически, в ней есть нечто такое, что, относящееся как к обществу, так и к человеку, узаконивает ее: это ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ сторона принципа, который мы собираемся исследовать.

Но монополия, как и конкуренция, становится антисоциальной и губительной: как это происходит? Из-ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, отвечают экономисты. И именно к определению и пресечению злоупотреблений монополией стремятся государственные деятели; именно в их осуждении прославляется новая школа экономистов.

Мы покажем, что так называемые злоупотребления монополией являются лишь следствием развития легальной монополии в НЕГАТИВНОМ смысле; что их нельзя отделить от их принципа, не разрушив этот принцип; следовательно, они недоступны закону и что все репрессии в этом направлении произвольны и несправедливы. Таким образом, монополия, конституирующий принцип общества и условие богатства, является в то же время и в той же степени принципом грабежа и пауперизма; что чем больше добра она вынуждена производить, тем больше зла от нее получают; что без нее прогресс останавливается, а с ней труд становится неподвижным и цивилизация исчезает.

% 1.Необходимость монополии.

Таким образом, монополия - это неизбежный конец конкуренции, которая порождает ее постоянным отрицанием самой себя: это порождение монополии уже является ее оправданием. Ибо, поскольку конкуренция присуща обществу, как движение живым существам, монополия, которая приходит вслед за ней, которая является ее объектом и ее целью и без которой конкуренция была бы неприемлема, монополия является и будет оставаться законной до тех пор, пока конкуренция, пока механические процессы и промышленные комбинации, фактически до тех пор, пока разделение труда и установление ценностей будут необходимостью и законами.

Следовательно, монополия на его логическое порождение оправдана одним фактом. Тем не менее это оправдание казалось бы малоубедительным и привело бы лишь к более энергичному неприятию конкуренции, чем когда-либо, если бы монополия, в свою очередь, не могла позиционировать себя сама по себе и как принцип.

В предыдущих главах мы видели, что разделение труда - это характеристика рабочего, рассматриваемого прежде всего как интеллект; что создание машин и организация мастерской выражают его свободу; и что благодаря конкуренции человек, или свобода разума, вступает в действие. Итак, монополия - это выражение победившей свободы, награда за борьбу, прославление гения; это сильнейший стимулятор всех шагов прогресса, предпринятых с начала мира: это настолько верно, что, как мы только что сказали, общество, которое не может существовать с ней, не сформировалось бы без нее.

Откуда же тогда у монополии это исключительное достоинство, которое этимология слова и вульгарный аспект вещи никогда не заставили бы нас заподозрить?

Монополия - это, по сути, просто автократия человека над самим собой: это диктаторское право, предоставленное природой каждому производителю использовать свои способности по своему усмотрению, давать волю своей мысли в любом направлении, которое она предпочитает, спекулировать в той области, которую ему заблагорассудится выбрать, со всей мощностью своих ресурсов, суверенно распоряжаться созданными им инструментами и капиталом, накопленным его экономикой, для любого предприятия, риск которого он сочтет нужным принять на себя, при четком условии единоличного пользования плодами своего открытия и прибылью от своего предприятия.

Это право настолько полно соответствует сущности свободы, что отрицать его - значит калечить человека в его теле, в его душе и в осуществлении его способностей, и общество, прогрессирующее только благодаря свободной инициативе отдельных людей, вскоре лишенное исследователей, оказывается остановленным в своем поступательном движении.

Пришло время подкрепить все эти идеи доказательствами фактов.

Я знаю коммуну, где с незапамятных времен не было дорог ни для расчистки земель, ни для связи с внешним миром. В течение трех четвертей года любой ввоз или вывоз товаров был запрещен; барьер из грязи и болота служил защитой одновременно от любого вторжения извне и от любой вылазки обитателей святой общины. Шести лошадей в самую хорошую погоду едва хватало, чтобы перевезти груз, который любой нефрит мог бы легко унести по хорошей дороге. Мэр решил, вопреки решению совета, построить дорогу через город. Долгое время его высмеивали, проклинали, проклинали. До его правления они достаточно хорошо обходились без дорог: зачем ему тратить деньги коммуны и тратить время фермеров на дорожные сборы, извоз и обязательную службу? Именно для удовлетворения своей гордости месье мэр пожелал за счет бедных фермеров открыть такую прекрасную аллею для своих городских друзей, которые приезжали к нему в гости! Несмотря ни на что, дорога была проложена, и крестьяне аплодировали! Какая разница! они сказали: " раньше требовалось восемь лошадей, чтобы отвезти тридцать мешков на рынок, и нас не было три дня; теперь мы отправляемся утром на двух лошадях и возвращаемся вечером. Но во всех этих замечаниях о мэре больше ничего не было слышно. Это событие оправдало его, и они больше не говорили о нем: большинство из них, как я выяснил, на самом деле испытывали к нему неприязнь.

Этот мэр действовал в манере Аристиды. Предположим, что, устав от абсурдной шумихи, он с самого начала предложил своим избирателям построить дорогу за его счет при условии, что они будут платить ему пошлину в течение пятидесяти лет, при этом каждый из них, однако, останется свободным передвигаться по полям, как и в прошлом: в каком отношении эта сделка была бы мошеннической?

Такова история общества и монополистов.

Не каждый в состоянии подарить своим согражданам дорогу или машину: обычно изобретатель, истощив свое здоровье и материальные средства, ожидает вознаграждения. Тогда Аркрайту, Уатту и Жаккарду, продолжая насмехаться над ними, будет отказано в привилегии их открытий; они запрутся, чтобы работать, и, возможно, унесут свой секрет в могилу. Откажете поселенцу во владении землей, которую он расчищает, и никто не будет ее расчищать.

Но, говорят они, является ли это истинным правом, социальным правом, братским правом?

То, что простительно при выходе из первобытного коммунизма, как следствие необходимости, является лишь временным средством, которое должно исчезнуть перед лицом более полного понимания прав и обязанностей человека и общества.

Я не отвергаю никаких гипотез: давайте посмотрим, давайте исследуем. Уже то, что оппоненты признают, что в первый период цивилизации все не могло сложиться иначе, является важным моментом. Остается выяснить, действительно ли институты этого периода, как уже было сказано, являются лишь временными, или же они являются результатом законов, имманентных

обществу и вечных. Итак, тезис, которого я придерживаюсь в данный момент, тем более труден, что находится в прямом противоречии с общей тенденцией и потому, что я сам должен прямо опровергнуть его своим противоречием.

Тогда я молюсь, чтобы мне объяснили, как можно апеллировать к принципам общительности, братства и солидарности, когда само общество отвергает все солидарные и братские сделки? В начале развития каждой отрасли, при первом проблеске открытия, изобретатель оказывается в изоляции; общество бросает его и остается на заднем плане. Проще говоря, этот человек по отношению к идее, которую он задумал и к реализации которой он стремится, сам по себе становится целым обществом. У него больше нет ни партнеров, ни соратников, ни поручителей; все избегают его: на нем одном лежит ответственность; следовательно, только ему принадлежат выгоды от спекуляции.

Но, настаивают, это слепота со стороны общества, отказ от его самых священных прав и интересов, от благополучия будущих поколений; и спекулянт, более информированный или более удачливый, не может справедливо извлечь выгоду из монополии, которую всеобщее невежество отдает в его руки.

Я утверждаю, что такое поведение со стороны общества является, насколько это касается настоящего, актом высшей осмотрительности; а что касается будущего, я докажу, что оно от этого не теряет. Я уже показал во второй главе на примере решения антиномии ценности, что польза от каждого полезного открытия несравненно меньше для изобретателя, что бы он ни делал, чем для общества; я довел демонстрацию этого тезиса даже до математической точности. Позже я покажу далее, что в дополнение к прибыли, обеспечиваемой ему каждым открытием, общество предъявляет к привилегиям, которые оно предоставляет, будь то временно или постоянно, требования нескольких видов, которые в значительной степени смягчают избыток определенных частных состояний и результатом которых является быстрое восстановление равновесия. Но давайте не будем предвосхищать.

Таким образом, я наблюдаю, что социальная жизнь проявляется двояким образом — **СОХРАНЕНИЕМ** и **РАЗВИТИЕМ**.

Развитие осуществляется за счет свободной игры индивидуальных энергий; масса по своей природе бесплодна, пассивна и враждебна всему новому. Это, если я осмелюсь использовать сравнение, матка, стерильная сама по себе, но в которую попадают зародыши, созданные частной деятельностью, которая в обществе гермафродитов действительно выполняет функцию мужского органа.

Но общество сохраняет себя лишь постольку, поскольку оно избегает солидарности с частными спекуляциями и оставляет каждое новшество исключительно на риск отдельных людей. Потребовалось бы всего несколько страниц, чтобы вместить список полезных изобретений. Предприятия, доведенные до успешного завершения, можно перечислить; никакая цифра не выразит того множества ложных идей и неосмотрительных авантюр, которые каждый день вынашиваются в человеческих мозгах. Нет изобретателя, нет рабочего, который из-за одной здоровой и правильной концепции не породил бы тысячи химер; нет интеллекта, который из-за одной искры разума не испускал бы клубы дыма. Если бы было возможно разделить все продукты человеческого разума на две части, поместив с одной стороны те, которые полезны, а с другой - те, на которые по ошибке были потрачены силы, мысль, капитал и время, мы были бы

поражены открытием, что превышение последних над первыми составляет, возможно, миллиард процентов. Что стало бы с обществом, если бы ему пришлось выполнять эти обязательства и урегулировать все эти банкротства? Что, в свою очередь, стало бы с ответственностью и достоинством рабочего, если бы, обеспеченный социальными гарантиями, он мог без личного риска отдаться на волю буйного воображения и в каждый момент пренебрегать существованием человечества?

Отсюда я заключаю, что то, что практиковалось с самого начала, будет практиковаться до конца, и что в этом вопросе, как и в любом другом, если нашей целью является примирение, абсурдно думать, что что-либо существующее может быть упразднено. Поскольку мир идей бесконечен, как природа, и люди сегодня, как никогда, подвержены спекуляциям, то есть ошибкам, у индивидов есть постоянный стимул к спекуляциям, а у общества — постоянная причина быть подозрительным и осторожным, поэтому монополия никогда не испытывает недостатка в материале.

Что предлагается, чтобы избежать этой дилеммы? Компенсация? Во-первых, компенсация невозможна: поскольку все ценности монополизированы, откуда общество возьмет средства для возмещения убытков монополистам? В чем будет заключаться его залог? С другой стороны, компенсация была бы совершенно бесполезной: после того, как все монополии были бы компенсированы, оставалось бы организовать промышленность. Где система? На чем основывается мнение? Какие проблемы были решены? Если организация должна быть иерархического типа, мы возвращаемся в систему монополии; если демократической, мы возвращаемся к исходной точке, поскольку компенсируемые отрасли перейдут в общественное достояние, то есть в сферу конкуренции, и постепенно снова станут монополиями; если, наконец, коммунистической, мы просто перейдем от одной невозможности к другой, поскольку, как мы продемонстрируем в свое время, коммунизм, как конкуренция и монополия, антиномичен, невозможен.

Чтобы не вовлекать общественное богатство в неограниченную и, следовательно, губительную солидарность, будут ли они довольствоваться навязыванием правил духу изобретательности и предприимчивости? Установят ли они цензуру, чтобы отличать гениальных людей от дураков? Это означает предположить, что общество заранее точно знает, что должно быть обнаружено. Представлять проекты интриганов на предварительную экспертизу - это априори запрет на любые передвижения. Ибо, опять же, относительно цели, которую он имеет в виду, наступает момент, когда каждый фабрикант представляет в своем собственном лице само общество, видит лучше и дальше, чем все остальные люди, вместе взятые, и часто не будучи в состоянии объяснить или сделать так, чтобы его поняли. Когда Коперник, Кеплер и Галилей, предшественники Ньютона, пришли к тому, что сказали христианскому обществу, в то время представленному Церковью: "Библия ошибочна; земля вращается, а солнце неподвижно", они были правы против общества, которое, в силу своих чувств и традиций, противоречило им. Могло ли тогда общество согласиться на солидарность с системой Коперника? Она так мало могла сделать, что эта система открыто отрицала свою веру, и в ожидании согласия разума и откровения Галилей, один из ответственных изобретателей, подвергся пыткам в доказательство новой идеи. Я полагаю, мы более терпимы; но сама эта терпимость доказывает, что, предоставляя большую свободу гению, мы не хотим быть менее осмотрительными, чем наши предки. Патенты сыплются дождем, но БЕЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ. Права собственности передаются на хранение гражданам, но ни список собственности, ни хартия не

гарантируют их ценности: сделать их ценными должен труд. А что касается научных и других миссий, которые правительство иногда решает доверить исследователям без гроша в кармане, то это еще один грабеж и коррупция.

Фактически, общество никому не может гарантировать капитал, необходимый для экспериментальной проверки идеи; по праву, оно не может претендовать на результаты предприятия, на которое оно не подписывалось: следовательно, монополия нерушима. В остальном солидарность не принесла бы никакой пользы: поскольку каждый может требовать для удовлетворения своих прихотей солидарности всех и будет иметь такое же право получить незаполненную подпись правительства, мы вскоре пришли бы к всеобщему господству каприза, то есть к чистому и незатейливому положению вещей.

Некоторые социалисты, к несчастью, вдохновленные — я говорю это со всей силой моей совести — евангельскими абстракциями, полагают, что они разрешили трудность этими прекрасными сентенциями: "Неравенство способностей доказывает неравенство обязанностей"; "Ты получил больше от природы, дай больше своим братьям" и другими высокопарными и трогательными фразами, которые никогда не перестают действовать на пустые головы, но которые, тем не менее, настолько просты, насколько это вообще возможно вообразить. Практическая формула, выводимая из этих замечательных изречений, состоит в том, что каждый работник всем своим временем обязан обществу и что общество должно возвращать ему взамен все, что необходимо для удовлетворения его потребностей, пропорционально имеющимся в его распоряжении ресурсам.

Да простят меня мои друзья-коммунисты! Я был бы менее строг к их идеям, если бы не был необратимо убежден разумом и сердцем, что коммунизм, республиканизм и все социальные, политические и религиозные утопии, пренебрегающие фактами и критикой, являются величайшим препятствием, которое прогрессу сейчас предстоит преодолеть. Почему они никогда не поймут, что братство может быть установлено только справедливостью; что только справедливость, условие, средство и закон свободы и братства, должна быть объектом нашего изучения; и что ее определение и формула должны соблюдаться без послаблений, даже в мельчайших деталях? Почему авторы, знакомые с экономическим языком, забывают, что превосходство талантов синонимично превосходству потребностей, и что, вместо того чтобы ожидать большего от энергичных, чем от обычных личностей, общество должно постоянно следить за тем, чтобы они не получали больше, чем отдают, когда массе человечества и так трудно отдавать все, что оно получает? Куда бы вы ни повернулись, вы всегда должны возвращаться к кассовой книге, к счету поступлений и расходов - единственной гарантии как против крупных потребителей, так и против мелких производителей. Рабочий постоянно живет ОПЕРЕЖЕНИЕМ своего производства; он всегда стремится получить КРЕДИТ, залезть В ДОЛГИ и ОБАНКОТИТЬСЯ; ему постоянно необходимо напоминать афоризм Сэя: ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТСЯ ТОЛЬКО ЗА ПРОДУКТЫ.

Предполагать, что рабочий больших способностей будет довольствоваться в пользу слабых половиной своего жалованья, оказывать свои услуги безвозмездно и производить, как говорят в народе, ДЛЯ КОРОЛЯ ПРУССИИ - то есть для той абстракции, которая называется обществом, сувереном или моими братьями, — значит основывать общество на чувстве, я не говорю, недоступном человеку, но таком, которое, систематически возведенное в принцип, является

всего лишь ложной добродетелью, опасным лицемерием. Благотворительность рекомендуется нам как средство возмещения недугов, от которых случайно страдают наши собратья, и, рассматривая это в этом свете, я вижу, что благотворительность может быть организована; я вижу, что, вырастая из самой солидарности, она может стать просто справедливостью. Но благотворительность, взятая как инструмент равенства и закон равновесия, привела бы к распаду общества. Равенство между людьми достигается строгим и негибким законом труда, пропорциональностью ценностей, искренностью обмена и эквивалентностью функций, короче говоря, математическим решением всех антагонизмов.

Вот почему благотворительность, главная добродетель христианина, законная надежда социалиста, объект всех усилий экономиста, становится социальным пороком в тот момент, когда она становится конституционным принципом и законом; вот почему некоторые экономисты смогли сказать, что законная благотворительность причинила обществу больше зла, чем узурпация собственности. Человек, как и общество, частью которого он является, ведет постоянный счет сам с собой; все, что он потребляет, он должен производить. Таково общее правило, которого никто не может избежать, не будучи *ipso facto* обесщещенным или заподозренным в мошенничестве. Поистине странная идея — провозгласить под предлогом братства относительную неполноценность большинства людей! После этого прекрасного заявления ничего не останется, кроме как сделать выводы о его последствиях; и вскоре, благодаря братству, аристократия будет восстановлена.

Удвойте нормальную заработную плату рабочего, и вы обрекнете его на праздность, унижите его достоинство и деморализуете его совесть; отнимите у него законную цену его усилий, и вы либо вызовете его гнев, либо возвысите его гордыню. В любом случае вы раните его братские чувства. Напротив, поставьте наслаждение в зависимость от труда, единственного способа, предусмотренного природой, объединить людей и сделать их хорошими и счастливыми, и вы вернетесь к закону экономического распределения, КОГДА ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТСЯ ЗА ПРОДУКТЫ. Коммунизм, как я часто жаловался, - это само отрицание общества в его основе, которая заключается в прогрессивном равенстве функций и способностей. Коммунисты, к которым стремится весь социализм, не верят в равенство по природе и воспитанию; они обеспечивают его суверенными декретами, которые они не могут выполнить, что бы они ни делали. Вместо того чтобы искать справедливость в гармонии фактов, они исходят из своих чувств, называя справедливостью все, что кажется им любовью к ближнему, и постоянно смешивая вопросы разума с вопросами чувств.

Зачем же тогда постоянно вешивать братство, благотворительность, самопожертвование и Бога в обсуждение экономических вопросов? Не может ли быть так, что утопистам легче распространяться об этих великих словах, чем серьезно изучать социальные проявления?

Братство! Братья, сколько вам заблагорассудится, при условии, что я старший брат, а вы младший; при условии, что общество, наша общая мать, чтит мое первородство и мои заслуги, удваивая мою долю. Вы говорите, что будете удовлетворять мои потребности пропорционально вашим ресурсам. Напротив, я намереваюсь, чтобы такое обеспечение было пропорционально моему труду; в противном случае я прекращаю трудиться.

Благотворительность! Я отрицаю благотворительность; это мистицизм. Напрасно вы говорите мне о братстве и любви: я по-прежнему убежден, что вы меня мало любите, и я совершенно уверен, что не люблю вас. Твоя дружба - всего лишь уловка, и если ты любишь меня, то только из

корысти. Я прошу все, во что мне обходятся мои продукты, и только то, во что они мне обходятся: почему вы мне отказываете?

жертвоприношение! Я отрицаю жертвоприношение; это мистицизм. Поговори со мной о ДОЛГЕ и КРЕДИТЕ, единственном в моих глазах критерии справедливого и несправедливого, добра и зла в обществе. Сначала каждому по его делам; и если при случае я буду вынужден помочь вам, я сделаю это с благосклонностью; но я не буду принужден. Принуждать меня к самопожертвованию - значит убивать меня.

Боже! Я не знаю Бога; снова мистицизм. Начните с того, что вычеркните это слово из своих замечаний, если хотите, чтобы я вас выслушал; ибо трехтысячелетний опыт научил меня, что всякий, кто говорит со мной о Боге, имеет виды на мою свободу или на мой кошелек. Сколько ты мне должен? Сколько я тебе должен? Это моя религия и мой Бог.

Монополия обязана своим существованием как природе, так и человеку: она имеет свой источник одновременно в глубочайших глубинах нашего сознания и во внешнем факте нашей индивидуализации. Точно так же, как в нашем теле и нашем разуме все имеет свою специфику и свойство, так и наш труд приобретает надлежащий и специфический характер, который составляет его качество и ценность. И поскольку труд не может проявляться без материала или объекта для его осуществления, человек обязательно привлекает вещь, монополия устанавливается от субъекта к объекту так же безошибочно, как длительность устанавливается от прошлого к будущему. Пчелы, муравьи и другие животные, живущие в обществе, по-видимому, индивидуально наделены только автоматизмом; у них душа и инстинкт почти исключительно коллективны. Вот почему среди таких животных не может быть места привилегиям и монополии; вот почему даже в своих самых волевых действиях они не консультируются и не обдумывают. Но поскольку человечество индивидуализировано в своей множественности, человек неизбежно становится монополистом, поскольку, если не монополистом, то он ничто; и социальная проблема состоит в том, чтобы выяснить, не как отменить, а как примирить все монополии.

Наиболее примечательными и наиболее непосредственными последствиями монополии являются:

1. В политическом порядке классификация человечества на семьи, племена, города, нации, государства: это элементарное разделение человечества на группы и подгруппы работников, различающихся по расе, языку, обычаям и климату. Человеческая раса завладела земным шаром благодаря монополии, и именно благодаря ассоциации она станет его полным властелином.

Политическое и гражданское право, как оно понимается всеми законодателями без исключения и формулируется юристами, порожденными этой патриотической и национальной организацией обществ, образует в ряду социальных противоречий первую и обширную отрасль, изучение которой само по себе потребовало бы в четыре раза больше времени, чем мы можем уделить ей при обсуждении вопроса промышленной экономики, выдвинутого Академией.

2. В экономическом порядке монополия способствует повышению комфорта, в первую очередь путем увеличения общего богатства за счет совершенствования методов, а затем путем КАПИТАЛИЗАЦИИ, то есть путем консолидации завоеваний труда, полученных в результате

разделения, машинного оборудования и конкуренции. Из этого эффекта монополии возникла экономическая фикция, согласно которой капиталист считается производителем, а капитал - агентом производства; затем, как следствие этой фикции, возникла теория ЧИСТОГО и ВАЛОВОГО ПРОДУКТА.

По этому поводу у нас есть несколько соображений. Сначала процитируем Дж. Б. Сэя:

Произведенная стоимость является ВАЛОВЫМ продуктом: после вычета затрат на производство эта стоимость является ЧИСТЫМ продуктом.

Рассматривая нацию в целом, можно сказать, что у нее нет чистого продукта; поскольку продукты не имеют ценности, кроме издержек производства, когда эти издержки сокращаются, сокращается и вся стоимость продукта. Таким образом, национальное производство, годовой объем производства, всегда следует понимать как валовой объем производства.

Годовой доход - это валовой доход.

Термин "чистое производство" применим только при рассмотрении интересов одного производителя в противовес интересам других производителей. Менеджер предприятия получает ПРИБЫЛЬ от ПРОИЗВЕДЕННОЙ стоимости после вычета ПОТРЕБЛЕННОЙ стоимости. Но то, что для него является потребленной стоимостью, такой как покупка продуктивной услуги, является таким же доходом для исполнителя услуги.Трактат по политической экономии: Аналитическая таблица.

Эти определения безукоризненны. К несчастью, Дж. Б. Сэй не видел их значения в полной мере и не мог предвидеть, что однажды его непосредственный преемник во Французском колледже нападет на них. М. Росси сделал вид, что опровергает предположение Дж. Б. Сэя о ТОМ, что ДЛЯ НАЦИИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ — ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ, исходя из этого соображения, - что нации, не более чем предприимчивые индивидуумы, могут производить без авансов, и что, если бы формула Дж. Б. Сэя была верна, из этого следовало бы, что аксиома *Ex nihilo nihil fit*, неверна

Так вот, именно это и происходит. Человечество, подражая Богу, производит все из ничего, *de nihilo hilum*, точно так же, как оно само является продуктом из ничего, точно так же, как его мысль возникает из пустоты; и М. Росси не совершил бы такой ошибки, если бы, подобно физиократам, он не смешивал продукты ПРОМЫШЛЕННОГО ЦАРСТВА с продуктами животного, растительного и минерального царств. Политическая экономия начинается с труда; она развивается трудом; и все, что не является результатом труда, попадая в область чистой полезности, то есть в категорию вещей, подчиненных действию человека, но еще не ставших предметом обмена с помощью труда, остается радикально чуждым политической экономии. Сама монополия, полностью установленная чистым актом коллективной воли, нисколько не меняет этих отношений, поскольку, согласно истории, писаному закону и экономической теории, монополия существует или считается существующей только после появления рабочей силы.

Таким образом, доктрина Сэя неопровержима. Относительно предприимчивого человека, специальность которого всегда предполагает сотрудничество с ним других производителей, прибыль - это то, что остается от произведенной стоимости после вычета потребленных ценностей, к которым должна быть отнесена заработная плата предприимчивого человека,

другими словами, его заработная плата. Относительно общества, в котором представлены все возможные специальности, чистый продукт идентичен валовому продукту.

Но есть момент, объяснение которого я тщетно искал у Сэя и других экономистов, а именно, как устанавливается реальность и легитимность чистого продукта. Ибо ясно, что для того, чтобы вызвать исчезновение чистого продукта, было бы достаточно увеличить заработную плату рабочих и цену потребляемых ценностей при неизменной отпускной цене. Таким образом, поскольку, по-видимому, нет ничего, что отличало бы чистый продукт от суммы, удерживаемой при выплате заработной платы, или, что то же самое, от предварительной оценки, возложенной на потребителя, чистый продукт имеет все признаки вымогательства, произведенного силой и без малейшего права.

Эта трудность была заранее решена в нашей теории пропорциональности ценностей.

Согласно этой теории, каждого эксплуататора машины, идеи или капитала следует рассматривать как человека, который увеличивает с равными затратами количество определенного вида продукции и, следовательно, увеличивает общественное богатство за счет экономии времени. Принцип легитимности чистого продукта лежит, таким образом, в процессах, которые использовались ранее: если новое устройство окажется успешным, возникнет избыток ценностей и, следовательно, прибыль, то есть чистый продукт; если предприятие опирается на ложную основу, возникнет дефицит валового продукта, а в долгосрочной перспективе - крах и банкротство. Даже в том случае — и это наиболее частый случай, — когда со стороны предприимчивого человека нет инноваций, правило чистого продукта остается применимым, поскольку успех отрасли зависит от того, как она осуществляется. Теперь, поскольку в соответствии с природой монополии риск каждого предприятия должен брать на себя инициатор, из этого следует, что чистый продукт принадлежит ему по самому священному праву, признанному среди людей, — труду и интеллекту.

Бесполезно напоминать о том факте, что чистый продукт часто преувеличивается либо путем обманного снижения заработной платы, либо каким-либо другим способом. Это злоупотребления, которые проистекают не из принципа, а из человеческой алчности и которые остаются за пределами области теории. В остальном, я показал при обсуждении структуры стоимости (глава II, § 2): 1, как чистый продукт никогда не может превышать разницу, возникающую в результате неравенства средств производства; 2, как прибыль, которую общество получает от каждого нового изобретения, несравненно больше, чем прибыль его создателя. Поскольку эти пункты исчерпаны раз и навсегда, я не буду повторять их снова; я просто замечу, что в результате промышленного прогресса чистый продукт изобретательных людей имеет тенденцию неуклонно уменьшаться, в то время как, с другой стороны, их комфорт возрастает по мере того, как концентрические слои, составляющие ствол дерева, становятся тоньше по мере роста дерева и по мере удаления от центра.

Говоря о чистом продукте, естественном вознаграждении работника, я указал в качестве одного из самых счастливых последствий монополии на КАПИТАЛИЗАЦИЮ ценностей, из которой рождается другой вид прибыли, а именно ПРОЦЕНТ, или наем капитала. Что касается РЕНТЫ, то, хотя ее часто путают с процентом и хотя на обычном языке она включается вместе с прибылью и процентом в общее выражение "ДОХОД", она отличается от процента; это

следствие не монополии, а собственности; это зависит от специальной теории, о которой мы будем говорить в своем месте.

Что же тогда представляет собой эта реальность, известная всем народам и, тем не менее, все еще столь плохо определенная, которая называется процентом или ценой займа и которая порождает фикцию производительности капитала?

Всем известно, что подрядчик, когда он рассчитывает свои производственные издержки, обычно делит их на три класса: 1. потребленные ценности и оплаченные услуги; 2. его личная заработная плата; 3. возврат его капитала с процентами. Из этого последнего класса издержек рождается различие между подрядчиком и капиталистом, хотя эти два названия всегда выражают только одно свойство - монополию.

Таким образом, промышленное предприятие, которое приносит только проценты на капитал и ничего на чистый продукт, является незначительным предприятием, результатом которого является только преобразование ценностей, ничего не добавляя к богатству, — короче говоря, предприятием, у которого нет дальнейших причин для существования и которое немедленно забрасывается. Почему же тогда этот процент на капитал не рассматривается как достаточное дополнение к чистому продукту? Почему он сам по себе не является чистым продуктом?

И здесь философия экономистов недостаточна. Чтобы защитить ростовщичество, они притворились, что капитал является производительным, и превратили метафору в реальность. Социалистам, выступающим против собственности, не составило труда опровергнуть их софистику; и из-за этой полемики теория капитала попала в такую немилость, что сегодня в умах людей КАПИТАЛИСТ и БЕЗДЕЛЬНИК являются синонимами. Конечно, в мои намерения не входит отказываться от того, что я сам утверждал вслед за столькими другими, или реабилитировать класс граждан, который так странно неправильно понимает свои обязанности: но интересы науки и самого пролетариата обязывают меня завершить мои первые утверждения и придерживаться истинных принципов.

1. Всякое производство осуществляется с целью потребления, то есть получения удовольствия. В обществе соответствующие термины "производство" и "потребление", такие как "чистый продукт" и "валовой продукт", идентично обозначают одно и то же. Если бы, таким образом, после того, как рабочий реализовал чистый продукт, вместо того, чтобы использовать его для повышения своего комфорта, он ограничился бы своей заработной платой и неуклонно направлял свой излишек на новое производство, как это делают многие люди, которые зарабатывают только для того, чтобы покупать, производство увеличивалось бы бесконечно, в то время как комфорт и, рассуждая с точки зрения общества, численность населения оставались бы неизменными. Итак, проценты на капитал, вложенный в промышленное предприятие и постепенно формирующийся за счет накопления чистого продукта, представляют собой своего рода компромисс между необходимостью увеличения производства, с одной стороны, и повышением комфорта, с другой; это метод одновременного воспроизводства и потребления чистого продукта. Вот почему некоторые индустриальные общества выплачивают своим акционерам дивиденды еще до того, как предприятие что-либо принесло. Жизнь коротка, успех приходит медленно; с одной стороны, труд повелевает, с другой - человек хочет наслаждаться. Для удовлетворения всех этих потребностей чистый продукт должен быть направлен на производство, но тем временем (между делом) - то есть в ожидании нового продукта - капиталист должен наслаждаться.

Таким образом, поскольку величина чистого продукта знаменует рост благосостояния, процент на капитал, без которого чистый продукт был бы бесполезен и даже не существовал бы, знаменует рост комфорта. Какова бы ни была форма правления, которая может быть установлена среди людей; живут ли они при монополии или при коммунизме; ведет ли каждый рабочий свой счет по кредиту и дебету или его труд и удовольствия распределены между ним сообществом, — закон, который мы только что выделили, всегда будет выполняться. Наши процентные счета только и делают, что свидетельствуют об этом.

2. Ценности, создаваемые чистым продуктом, классифицируются как сбережения и капитализируются в наиболее легко обмениваемой форме, в форме, которая наиболее свободна и наименее подвержена обесцениванию, — одним словом, в форме наличных денег, единственной конституируемой стоимости. Теперь, если капитал покинет это состояние свободы и ЗАЙМЕТСЯ САМОРАЗВИТИЕМ, то есть примет форму машин, зданий и т.д., Он по—прежнему будет подвержен обмену, но гораздо более подвержен, чем раньше, колебаниям спроса и предложения. Однажды задействованный капитал не может быть без труда высвобожден; и единственным ресурсом его владельца будет эксплуатация. Только эксплуатация способна поддерживать задействованный капитал на уровне его номинальной стоимости; она может увеличивать его, может уменьшать. Преобразованный таким образом капитал подобен капиталу, которым рисковали в морском предприятии: проценты - это страховая премия, уплаченная за капитал. И эта премия будет больше или меньше в зависимости от нехватки или изобилия капитала.

Позже также будет проведено различие между страховой премией и процентами на капитал, и в результате этого разделения появятся новые факты: таким образом, история человечества - это просто постоянное различие концепций разума.

3. Проценты на капитал не только позволяют рабочему наслаждаться плодами своего труда и страховать свои сбережения, но и — и это самое удивительное действие процента — вознаграждая производителя, они обязывают его работать непрерывно и никогда не останавливаться.

Если подрядчик является своим собственным капиталистом, может случиться так, что он удовлетворится прибылью, равной процентам на свои инвестиции: но в этом случае несомненно, что его отрасль больше не добивается прогресса и, следовательно, страдает. Это мы видим, когда капиталист отличается от подрядчика: ибо тогда, после выплаты процентов, прибыль производителя составляет абсолютно ничего; его промышленность становится для него постоянной опасностью, от которой ему важно освободиться как можно скорее. Ибо, как комфорт общества должен развиваться в неопределенной прогрессии, так и закон производителя состоит в том, что он должен постоянно создавать избыток: в противном случае его существование становится ненадежным, монотонным, утомительным. Проценты, причитающиеся производителю с капиталиста, подобны удару плети плантатора по голове спящего раба; это голос прогресса, вопиющий: "Вперед, вперед! Трудись, трудись!" Судьба человека толкает его к счастью: вот почему она лишает его покоя.

4. Наконец, процент на деньги является условием обращения капитала и главным фактором промышленной солидарности. Этот аспект учитывался всеми экономистами, и мы уделим ему особое внимание, когда будем иметь дело с кредитом.

Я доказал, и, полагаю, лучше, чем это когда-либо было доказано прежде:

Эта монополия необходима, поскольку она является антагонизмом конкуренции;

Что это необходимо обществу, поскольку без этого общество никогда бы не вышло из первобытных лесов и без этого быстро пошло бы вспять;

Наконец, что это венец производителя, когда, будь то за счет чистого продукта или за счет процентов на капитал, который он вкладывает в производство, это приносит монополисту то повышение комфорта, которого заслуживают его предусмотрительность и его усилия.

Должны ли мы тогда вместе с экономистами прославлять монополию и посвящать ее интересам хорошо обеспеченных консерваторов? Я согласен, при условии, что они, в свою очередь, признают мои претензии в том, что должно последовать, как я признал их претензии в том, что предшествовало.

% 2.—Бедствия в сфере труда и извращение идей, вызванные монополией.

Подобно конкуренции, монополия подразумевает противоречие в своем названии и определении. Фактически, поскольку потребление и производство в обществе - это тождественные вещи, и поскольку продажа является синонимом покупки, тот, кто говорит о привилегии продажи или эксплуатации, обязательно говорит о привилегии потребления и покупки, что заканчивается отрицанием того и другого. Отсюда запрет на потребление, так же как и на производство, наложенный монополией на получателей заработной платы. Конкуренция была гражданской войной, монополия - массовым убийством заключенных.

Эти различные утверждения подтверждаются всевозможными доказательствами — физическими, алгебраическими и метафизическими. То, что я добавлю, будет лишь расширенным изложением: их простое объявление демонстрирует их.

Каждое общество, рассматриваемое с точки зрения его экономических отношений, естественным образом делится на капиталистов и рабочих, работодателей и получателей заработной платы, распределяемых по шкале, степени которой определяют доход каждого, независимо от того, состоит ли этот доход из заработной платы, прибыли, процентов, ренты или дивидендов.

Из этого иерархического распределения людей и доходов следует, что только что упомянутый принцип Сэя: В СТРАНЕ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ РАВЕН ВАЛОВОМУ ПРОДУКТУ, больше не соответствует действительности, поскольку вследствие монополии ОТПУСКНАЯ ЦЕНА намного выше СЕБЕСТОИМОСТИ. Теперь, поскольку, тем не менее, продажная цена должна оплачиваться по себестоимости, поскольку у нации действительно нет рынка, кроме нее самой, из этого следует, что обмен, а следовательно, обращение и жизнь, невозможны.

Во Франции двадцать миллионов рабочих, занятых во всех отраслях науки, искусства и промышленности, производят все, что полезно человеку. Их совокупная годовая заработная плата составляет, по оценкам, двадцать тысяч миллионов; но вследствие прибыли (чистого продукта и процентов), получаемой монополистами, за их продукцию должно быть выплачено двадцать пять тысяч миллионов. Теперь, поскольку у нации нет других покупателей, кроме своих наемных работников, и поскольку последние не платят за первых, и поскольку отпускная цена товара одинакова для всех, ясно, что для обеспечения возможности обращения рабочему

пришлось бы заплатить пять долларов за то, за что он получил всего четыре.—Что такое собственность: Глава IV.[17]

[17] Сравнение этого отрывка, приведенного здесь, с английским переводом "Что такое собственность" покажет заметные различия в языке. Это объясняется тем фактом, что автор, воспроизводя отрывок, значительно изменил его.

То же самое относится и к другой цитате из той же работы, которая будет найдена несколькими страницами дальше.—Переводчик.

Таким образом, это причина, по которой богатство и бедность взаимосвязаны, неразделимы не только в идее, но и на самом деле; это причина, по которой они существуют одновременно; это то, что оправдывает притязания получателя заработной платы на то, что богатый человек обладает не больше, чем бедный, за исключением того, чего последний был обманом лишен. После того как монополист составил свой отчет о затратах, прибыли и процентах, потребитель, получающий заработную плату, составляет свой; и он обнаруживает, что, хотя обещанная заработная плата указана в контракте как сто, на самом деле ему дали всего семьдесят пять. Монополия, таким образом, приводит получателей заработной платы к банкротству, и совершенно верно, что она живет за счет добычи.

Шесть лет назад я выявил это ужасающее противоречие: почему это не было растиражировано в прессе? Почему известные учителя не предупредили общественное мнение? Почему те, кто требует политических прав для рабочего, не заявили, что его обкрадывают?

Почему экономисты хранили молчание? Почему?

Наша революционная демократия так шумит только потому, что боится революций; но, игнорируя опасность, которой она не смеет взглянуть в лицо, она преуспевает только в ее увеличении. "Мы похожи, - говорит мсье Бланки, - на пожарных, которые увеличивают количество пара и одновременно прикладывают груз к предохранительному клапану". Жертвы монополии, утешьтесь! Если ваши мучители не хотят слушать, это потому, что Провидение решило нанести им удар:

Библия гласит, что Бог не слышит, что происходит на западе.

Поскольку продажа не в состоянии выполнить условия монополии, товары накапливаются; труд производит за год столько, сколько его заработная плата не позволит ему потребить менее чем за пятнадцать месяцев: следовательно, он должен оставаться бездействующим одну четвертую часть года. Но если оно бездействует, оно ничего не зарабатывает: как оно вообще сможет покупать? А если монополист не может избавиться от своей продукции, как выживет его предприятие? Логическая невозможность множится по всему цеху; факты, которые ее воплощают, есть повсюду.

"Чулочки Англии, - говорит Эжен Бюре, - дошли до того, что ели не чаще, чем через день. Такое положение вещей продолжалось восемнадцать месяцев". И он приводит множество подобных случаев.

Но удручающей чертой в зрелище последствий монополии является зрелище несчастных рабочих, обвиняющих друг друга в своих несчастьях и воображающих, что, объединившись и поддерживая друг друга, они предотвратят снижение заработной платы.

"Ирландцы, - говорит наблюдатель, - преподали пагубный урок рабочему классу Великобритании. . . . Они научили наших рабочих роковой тайне ограничивать свои потребности поддержанием только животного образа жизни и довольствоваться, подобно дикарям, минимумом средств существования, достаточным для продления жизни Наученные этим роковым примером, частично уступая необходимости, рабочие классы утратили ту похвальную гордость, которая заставляла их должным образом обставлять свои дома и умножать в них приличные удобства, способствующие счастью ".

Я никогда не читал ничего более прискорбного и более глупого. И что бы вы хотели, чтобы сделали эти рабочие? Пришли ирландцы: их следовало уничтожить? Заработная плата была снижена: следовало ли принять смерть вместо нее? Необходимость повелевала, как вы сами говорите. Затем последовали нескончаемые часы работы, болезни, уродства, деградация, уничтожение и все признаки промышленного рабства: все эти бедствия порождены монополией и ее печальными предшественниками — конкуренцией, машинами и разделением труда: и вы вините ирландцев!

В других случаях рабочие винят свою удачу и призывают себя к терпению: это аналог благодарности, с которой они обращаются к Провидению, когда труда в избытке и заработная плата достаточна.

Я нахожу в статье, опубликованной М. Леоном Фоше в "Journal des Economistes" (сентябрь 1845 г.), что английские рабочие некоторое время назад утратили привычку объединяться, что, несомненно, является прогрессивным шагом, с которым их можно только поздравить, но что это улучшение морального состояния рабочих связано прежде всего с их экономическим образованием.

"Заработная плата зависит не от производителей, - воскликнул прядильщик на митинге в Болтоне. В периоды депрессии работодатели, так сказать, являются лишь плетью, которой вооружена необходимость; и хотя бы они того или нет, им приходится бастовать. Регулирующим принципом является соотношение спроса и предложения; а работодатели не обладают такой властью . . . Давайте же действовать осмотрительно; давайте научимся смиряться с невезением и максимально использовать удачу: поддерживая прогресс нашей промышленности, мы будем полезны не только самим себе, но и всей стране ". (Аплодисменты.)

Очень хорошо: хорошо обученные, образцовые рабочие, эти! Какими людьми должны быть эти прядильщики, чтобы безропотно подчиняться УДАРАМ НЕОБХОДИМОСТИ, потому что регулирующим принципом заработной платы являются СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Г-н Леон Фоше добавляет с очаровательной простотой:

Английские рабочие - бесстрашные мыслители. Дайте им ЛОЖНЫЙ ПРИНЦИП, и они математически доведут его до абсурда, не останавливаясь и не пугаясь, как если бы они маршировали к торжеству истины.

Со своей стороны, я надеюсь, что, несмотря на все усилия экономической пропаганды, французские рабочие никогда не станут мыслителями такой силы. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, а также ГНЕВ НЕОБХОДИМОСТИ больше не имеют власти над их умами. Это было единственное несчастье, которого не хватало Англии: она не пересечет ла-Манш.

Благодаря совокупному эффекту разделения, машин, чистого продукта и процента монополия расширяет свои завоевания во все возрастающей прогрессии; ее развитие охватывает сельское хозяйство, а также торговлю и промышленность и все виды продукции. Всем известна фраза Плиния о земельной монополии, которая определила падение Италии, *latifundia perdidere Italiam*. Именно эта монополия до сих пор разоряет и делает непригодной для жизни римскую Кампанию и образует порочный круг, в котором судорожно движется Англия; именно эта монополия, установленная насильственным путем после войны рас, порождает все зло Ирландии и причиняет столько испытаний О'Коннеллу, бессильному, при всем его красноречии, провести своих похитителей через этот лабиринт. Высокопарные чувства и риторика - худшее средство от социального зла: О'Коннеллу было бы легче перевезти Ирландию и ирландцев от Северного моря до Австралийского океана, чем свергнуть дыханием своих разглагольствований монополию, которая держит их в своих руках. Общие причастия и проповеди больше не помогут: если только религиозное чувство все еще поддерживает моральный дух ирландского народа, то давно пора, чтобы хоть немного этой нечестивой науки, столь презираемой Церковью, пришло на помощь ягнятам, которых ее посох больше не защищает.

Вторжение монополий в торговлю и промышленность слишком хорошо известно, чтобы требовать от меня сбора доказательств: более того, какой смысл так много спорить, когда результаты говорят сами за себя? В описании Э. Бюре нищеты рабочего класса есть что-то фантастическое, что угнетает и пугает вас. Есть сцены, в которые воображение отказывается верить, несмотря на свидетельства и официальные отчеты. Совершенно голые пары, спрятавшиеся в глубине ниши без мебели, со своими голыми детьми; целые народы, которые больше не ходят в церковь по воскресеньям, потому что они голые; тела, которые хранят неделю перед похоронами, потому что умерший не оставил ни савана, в который его можно было бы завернуть, ни средств, чтобы заплатить за гроб и похоронному бюро (а доход епископа составляет от четырехсот до пятисот тысяч франков); семьи, скопившиеся над канализационными трубами, живущие в комнатах, занятых свиньями, и начинающие гнить еще при жизни, или обитающие в норах, как Альбиносы; восьмидесятилетние старики, спящие обнаженными на голых досках; и девственницы, и проститутки, умирающие в одной и той же наготе: повсюду отчаяние, чахотка, голод, еще раз голод! . . И этот народ, который искупает преступления своих хозяев, не восстает! Нет, клянусь пламенем Немезиды! когда у народа не остается мести, для этого больше нет никакого Провидения.

Массовое истребление монополией еще не нашло своих поэтов. Наши рифмоплеты, незнакомые с вещами этого мира, не терпящие пролетариата, продолжают вдыхать на луну свои меланхолические ВОСТОРГИ. Какой, однако, предмет для РАЗМЫШЛЕНИЙ - страдания, порождаемые монополией!

Именно Вальтер Скотт говорит:

Раньше, хотя и много лет назад, у каждого жителя деревни были своя корова и свинья, а также свой двор вокруг дома. Там, где сегодня возделывает землю один фермер, раньше жили тридцать мелких фермеров; так что на одного человека, который сам по себе богаче, правда, чем тридцать фермеров прежних времен, приходится теперь двадцать девять жалких поденщиков, не имеющих занятия для ума и рук, и число которых вдвое больше. Единственная

полезная функция, которую они выполняют, - это платить, КОГДА ОНИ МОГУТ, арендную плату в размере шестидесяти шиллингов в год за хижины, в которых они живут.[18]

[18] Эта выдержка из Скотта, а также выдержка из парламентского отчета, цитируемая несколькими абзацами позже, переведены здесь с французского и, следовательно, предположительно, несколько отличаются по форме от английского оригинала.—Переводчик.

Современная баллада, цитируемая Э. Буре, воспевает одиночество монополии:

Le rouet est silencieux dans la vallee:
C'en est fait des sentiments de famille.
Sur un peu de fumee le vieil aieul
Etend ses mains pales; et le foyer vide
Est aussi desole que son coeur.[19]

[19] Прялка молчит в долине: семейным чувствам пришел конец. Над небольшим количеством дыма престарелый дед простирает свои бледные руки; и пустой очаг так же безутешен, как и его сердце.—Переводчик.

Отчеты, представленные парламенту, соперничают с романистом и поэтом:

Жители Гленшейла, расположенного по соседству с долиной Данди, раньше отличались от всех своих соседей превосходством своих физических качеств. Мужчины были высокого роста, крепкие, активные и отважные; женщины миловидные и грациозные. Оба пола обладали необычайным вкусом к поэзии и музыке. Теперь, увы! длительный опыт бедности, длительное лишение достаточного количества пищи и подходящей одежды глубоко ухудшили состояние этой расы, когда-то такой замечательно прекрасной.

Это примечательный пример неизбежной деградации, на которую мы указывали в двух главах о разделении труда и машинах.

А наши литераторы заняты прекрасными вещами прошлого, как будто настоящее не соответствует их гению! Первый из них, кто отважился ступить на эти адские тропы, вызвал скандал в тусовке! Трусливые паразиты, мерзкие торговцы прозой и стихами, все достойны вознаграждения Марсия! О! если бы твое наказание длилось так же долго, как мое презрение, ты был бы вынужден поверить в вечность ада.

Монополия, которая только что казалась нам столь справедливо обоснованной, тем более несправедлива, что она не только делает заработную плату иллюзорной, но и обманывает рабочего в самой оценке его заработной платы, присваивая ему фальшивое звание, фальшивую способность.

Г-н де Сисмонди в своих "Исследованиях социальной экономики" где-то замечает, что, когда банкир выдает коммерсанту банковские билеты в обмен на его ценности, он вовсе не отдает коммерсанту кредит, напротив, он получает его от него.

"Этот кредит, - добавляет г-н де Сисмонди, - на самом деле настолько мал, что коммерсант едва ли утруждает себя вопросом, достоин ли банкир, тем более что банкир просит кредита, а не предоставляет его".

Итак, согласно М. де Сисмонди, при выпуске банковских бумаг функции коммерсанта и банкира меняются местами: первый является кредитором, а второй - кредитуемым.

Нечто подобное происходит между монополистом и получателем заработной платы.

Фактически, рабочие, подобно торговцу в банке, просят снизить стоимость их труда; по праву, подрядчик должен предоставить им облигации и обеспечение. Я объяснюсь сам.

При любой эксплуатации, какого бы рода она ни была, подрядчик не может законно претендовать, помимо своего личного труда, ни на что, кроме ИДЕИ: что касается ИСПОЛНЕНИЯ, результата сотрудничества многочисленных работников, то это результат коллективной силы, с помощью которой авторы, столь же свободные в своих действиях, как и руководитель, не могут произвести ничего, что должно достаться ему безвозмездно. Теперь вопрос состоит в том, чтобы установить, эквивалентен ли размер индивидуальной заработной платы, выплачиваемой подрядчиком, коллективному эффекту, о котором я говорю: ибо, если бы было иначе, аксиома Сэя О ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ ПРОДУКТ СТОИТ ТОГО, ЧЕГО ОН СТОИТ, была бы нарушена.

"Капиталист, - говорят они, - выплачивал рабочим их дневную заработную плату в согласованном размере; следовательно, он им ничего не должен". Чтобы быть точным, следует сказать, что он заплатил за один день столько же, сколько нанял рабочих, а это совсем не одно и то же. Ибо он ничего не заплатил за ту огромную власть, которая является результатом союза рабочих, сближения и гармонии их усилий; за ту экономию расходов, которая обеспечивается их объединением в мастерскую; за то умножение продукта, которое, правда, предвидел капиталист, но осуществлено свободными силами. Двести гренадеров, работая под руководством инженера, установилиobelisk на его основании за несколько часов; неужели вы думаете, что один человек мог бы выполнить ту же задачу за двести дней? Тем не менее, в бухгалтерских книгах капиталиста размер заработной платы в обоих случаях одинаков, потому что он присваивает себе выгоду от коллективной власти. Итак, из двух вещей одна: либо это узурпация с его стороны, либо это ошибка.—Что такое собственность: глава III.

Чтобы должным образом эксплуатировать мулов, нужны были инженеры, строители, клерки, бригады рабочих и работниц всех мастей. Во имя своей свободы, своей безопасности, своего будущего и будущего своих детей эти рабочие, нанявшись работать на фабрику, должны были делать резервы; где аккредитивы, которые они предоставили работодателям?

Где гарантии, которые они получили? Что! миллионы людей продали свое оружие и расстались со своей свободой, не зная смысла контракта; они взяли на себя обязательство выполнять непрерывную работу и получать соответствующее вознаграждение; они своими руками выполнили то, что задумали предприниматели; благодаря этому сотрудничеству они стали партнерами в предприятии; и когда монополия, неспособная или не желающая производить дальнейшие обмены, приостанавливает свое производство и оставляет эти миллионы рабочих без хлеба, им говорят, чтобы они смирились! Из-за новых процессов они потеряли девять дней своего труда из десяти; и в награду им указывают на то, что над ними нависла ПЛЕТЬ НЕОБХОДИМОСТИ! Затем, если они отказываются работать за более низкую заработную плату, им показывают, что они наказывают сами себя. Если они соглашаются на предложенную им плату, они теряют ТУ БЛАГОРОДНУЮ ГОРДОСТЬ, тот вкус к ПРИЛИЧНЫМ УДОБСТВАМ, которые составляют счастье и достоинство рабочего и дают ему право на симпатии богатых. Если они

объединятся, чтобы добиться повышения заработной платы, их бросят в тюрьму! В то время как они должны преследовать своих эксплуататоров в судах, суды отомстят им за нарушения свободы торговли! Жертвы монополии, они понесут заслуженное наказание по вине монополистов! О правосудие людей, глупая куртизанка, как долго под покровом своей богини ты будешь пить кровь убитого пролетария?

Монополия захватила все: землю, рабочую силу и орудия труда, продукты и распределение товаров.

Сама политическая экономия не смогла избежать признания этого.

"Вы почти всегда встречаете на своем пути, - говорит М. Росси, - какую-нибудь монополию. Едва ли существует продукт, который можно рассматривать как чистый и простой результат труда; соответственно, экономический закон, который соотносит цену с издержками производства, никогда не реализуется полностью. Это формула, которая глубоко МОДИФИЦИРУЕТСЯ вмешательством той или иной монополии, которой подчинены орудия производства. Курс политической экономии: Том I., стр. 143.

М. Росси занимает слишком высокий пост, чтобы придать своему языку всю точность, которая требуется науке, когда речь идет о монополии. То, что он так самодовольно называет МОДИФИКАЦИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ, является всего лишь длительным и отвратительным нарушением фундаментальных законов труда и обмена. Следствием монополии является то, что в обществе, где чистый продукт исчисляется сверх валового продукта, коллективный работник должен выкупать свой собственный продукт по цене, более высокой, чем та, по которой этот продукт обходится ему, что противоречиво и невозможно; что нарушается естественное равновесие между производством и потреблением; что рабочий обманывается не только в своих расчетах, но и в размере своей заработной платы; что в его случае прогресс в комфорте превращается в непрерывный прогресс в нищете: короче говоря, именно из—за монополии извращаются все представления о коммутативной справедливости и социальная несправедливость разрушается. экономика, вместо позитивной науки, которой она является, становится настоящей утопией.

Эта маскировка политической экономии под влияние монополии является фактом столь примечательным в истории социальных идей, что мы не должны пренебрегать приведением нескольких примеров.

Таким образом, с точки зрения монополии ценность больше не является тем синтетическим понятием, которое служит для выражения отношения особого полезного объекта к общей сумме богатства: при монопольной оценке вещей не в их отношении к обществу, а в их отношении к самой себе ценность теряет свой социальный характер и является не чем иным, как неопределенной, произвольной, эгоистической и существенно изменчивой вещью. Исходя из этого принципа, монополист расширяет термин "ПРОДУКТ", охватывая все виды рабства, и применяет идею КАПИТАЛА ко всем легкомысленным и постыдным отраслям промышленности, которые эксплуатируют его страсти и пороки. Прелести куртизанки, говорит Сэй, - это такой КАПИТАЛ, ПРОДУКТ КОТОРОГО подчиняется общему ЗАКОНУ ЦЕННОСТЕЙ, а именно СПРОСУ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Большинство работ по политической экономии полны таких приложений. Но поскольку проституция и состояние зависимости, из которого она проистекает, осуждаются моралью, г-н Росси предлагает нам обратить внимание на следующий факт, что политическая

экономия, изменив свою формулу вследствие вмешательства монополии, должна будет внести новую ПОПРАВКУ, хотя ее выводы сами по себе безукоризненны. Ибо, говорит он, политическая экономия не имеет ничего общего с моралью: мы сами должны принимать ее, изменять или исправлять ее формулы всякий раз, когда этого требует наше благополучие, благосостояние общества и интересы морали. Как много всего лежит между политической экономией и истиной!

Точно так же теория чистого продукта, столь в высшей степени социальная, прогрессивная и консервативная, была индивидуализирована, если можно так выразиться, монополией, и принцип, который должен обеспечивать благосостояние общества, приводит к ее краху. Монополист, всегда стремящийся к максимально возможному чистому продукту, больше не действует как член общества и в интересах общества; он действует с учетом своего исключительного интереса, независимо от того, противоречит этот интерес общественным интересам или нет. Это изменение точки зрения является причиной, которой г-н де Сисмонди приписывает сокращение численности населения римской Кампаньи. Из сравнительных исследований, которые он провел относительно продукта агро романо в состоянии обработки и его продукта, оставленного в виде пастбищ, он обнаружил, что ВАЛОВОЙ продукт в первом случае был бы в двенадцать раз больше, чем во втором; но, поскольку обработка требует относительно большего количества рук, он обнаружил также, что в первом случае ЧИСТЫЙ продукт был бы меньше. Этого расчета, который не ускользнул от владельцев, было достаточно, чтобы утвердить их в привычке оставлять свои земли необработанными, и, следовательно, римская Кампанья необитаема.

"Все части римских государств, - добавляет г-н де Сисмонди, - представляют собой одинаковый контраст между воспоминаниями об их процветании в средние века и их нынешним запустением. Город Церера, прославленный Ренцо да Кери, который поочередно защищал Марсель от Карла V и Женеву от герцога Савойского, представляет собой не что иное, как уединение. Во всех поместьях Орсини и Колонн - ни души. В лесах, окружающих прелестное озеро Вико, исчезла человеческая раса, а солдаты, с которыми грозный префект Вико так часто заставлял трепетать Рим в четырнадцатом веке, не оставили потомков. Кастро и Рончильоне опустошены". — Исследования по политической экономии.

Фактически, общество стремится к как можно большему валовому продукту и, следовательно, к как можно большему населению, потому что для него валовой продукт и чистый продукт идентичны. Монополия, напротив, неуклонно стремится к получению наибольшего чистого продукта, даже если может получить его только ценой истребления человеческой расы.

Под тем же влиянием монополии извращенная идея процента на капитал, в свою очередь, стала смертельным принципом для общества. Как мы уже объясняли, процент на капитал является, с одной стороны, формой, в которой рабочий наслаждается своим чистым продуктом, одновременно используя его в новых творениях; с другой стороны, этот процент является материальной связью солидарности между производителями, рассматриваемой с точки зрения увеличения богатства. Согласно первому аспекту, совокупный выплачиваемый процент никогда не может превышать сумму самого капитала; согласно второму, проценты допускают, в дополнение к возмещению, премию в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Ни в коем случае это не подразумевает вечности.

Но монополия, смешивая идею капитала, которая присуща только творениям человеческого труда, с идеей эксплуатируемого материала, данного нам природой и принадлежащего всем, и, более того, узурпируемого анархическим состоянием общества, в котором владение может существовать только при условии исключительности, суверенности и бессрочности, — монополия вообразила и провозгласила это принципом, что капитал, подобно земле, животным и растениям, сам по себе обладает собственной деятельностью, которая освобождает капиталиста от необходимости вносить что-либо еще в обмен и от необходимости принимать любое участие в работе мастерской. От этой ложной идеи монополии произошло греческое название ростовщичества *tokos*, что в равной степени означает "ребенок" или "увеличение капитала", что побудило Аристотеля прибегнуть к остроте: "МОНЕТЫ НЕ ПОРОЖДАЮТ ДЕТЕЙ". Но метафора ростовщиков возобладала над шуткой стагирита; ростовщичество, как и арендная плата, имитацией которой оно является, было объявлено вечным правом; и только совсем недавно, путем полувращения к принципу, в нем была воспроизведена идея ИСКУПЛЕНИЯ.

Таково значение загадки, которая вызвала столько скандалов среди теологов и легистов и в отношении которой христианская церковь допустила двойную ошибку: во-первых, осудив всякого рода интересы, и, во-вторых, приняв сторону экономистов и, таким образом, противореча своим старым принципам. Ростовщичество, или право на приумножение, является одновременно выражением монополии и осуждением ее; это разграбление труда организованным и легализованным капиталом; из всех экономических подрывных действий это то, что наиболее громко обвиняет старое общество и чье скандальное упорство оправдало бы бесцеремонное и безвозмездное лишение собственности всего класса капиталистов.

Наконец, монополия, в силу своего рода инстинкта самосохранения, извратила даже идею ассоциации как нечто такое, что могло бы посягнуть на нее, или, говоря точнее, не допустило ее рождения.

Кто мог бы надеяться сегодня определить, каким должно быть общение между мужчинами? Закон различает два вида и четыре разновидности гражданских обществ и столько же коммерческих обществ - от простого товарищества до акционерного общества. Я прочитал самые уважаемые комментарии, которые были написаны по всем этим формам ассоциации, и заявляю, что нашел в них лишь одно применение обычной практики монополии между двумя или более партнерами, которые объединяют свой капитал и свои усилия против всего, что производит и потребляет, что изобретает и обменивается, что живет и умирает. Непременным условием всех этих обществ является капитал, одно присутствие которого конституирует их и дает им основу; их целью является монополия, то есть исключение всех других работников и капиталистов и, следовательно, отрицание социальной универсальности в том, что касается людей.

Таким образом, согласно определению устава, коммерческое общество, которое должно устанавливать в качестве принципа право любого иностранца стать членом по его простой просьбе и немедленно пользоваться правами и прерогативами партнеров и даже менеджеров, больше не было бы обществом; суды официально объявили бы о его роспуске, о его несуществовании. Итак, опять же, устав ассоциации, в котором договаривающиеся стороны не должны оговаривать внесение капитала, но, сохраняя за каждой прямое право конкурировать со всеми, должны ограничиваться взаимной гарантией труда и заработной платы, ничего не говоря ни об отрасли эксплуатации, ни о капитале, ни о процентах, ни о прибылях и убытках, —

такие статьи показались бы противоречивыми по своему содержанию, столь же лишенными цели, сколь и разума, и были бы аннулированы судьей по жалобе первого взбунтовавшегося компаньона. Составленные таким образом соглашения не могли повлечь за собой никаких судебных исков; люди, называющие себя партнерами всех, считались бы партнерами никого; трактаты, предполагающие гарантии и конкуренцию между партнерами одновременно, без какого-либо упоминания социального капитала и без указания какой-либо цели, сошли бы за произведение трансцендентального шарлатанства, автора которого легко можно было бы отправить в сумасшедший дом, при условии, что магистраты согласятся считать его всего лишь сумасшедшим.

И все же самыми достоверными свидетельствами, которые предоставляют история и социальная экономика, доказывається, что человечество было брошено голым и без капитала на землю, которую оно возделывает; следовательно, оно создало и ежедневно создает все существующие богатства; что монополия - это лишь относительный взгляд, служащий для обозначения уровня работника с определенными условиями наслаждения; и что весь прогресс состоит, при бесконечном увеличении продуктов, в определении их пропорциональности, то есть в организации труда и комфорта посредством разделения, машин, мастерской, образования и конкуренции. С другой стороны, очевидно, что все тенденции человечества, как в его политике, так и в его гражданских законах, направлены к универсализации, то есть к полному преобразованию идеи общества, определенной нашими законами.

Отсюда я заключаю, что устав ассоциации, который должен регулировать уже не вклад товарищей, — поскольку каждый товарищ, согласно экономической теории, не должен обладать абсолютно ничем при вступлении в общество, — а условия труда и обмена, и который должен обеспечивать доступ всем, кто может прийти, — я заключаю, говорю я, что такие уставы ассоциации не содержали бы ничего, что не было бы рациональным и научным, поскольку они были бы самым выражением прогресса, органической формулой труда, и поскольку они, так сказать, открыли бы человечество самому себе, дав ему зачатки его конституции. .

Итак, кто из юристов и экономистов когда-либо приближался хотя бы на тысячу миль к этой великолепной и в то же время такой простой идее?

"Я не думаю, - говорит М. Троплонг, - что дух объединения призван к более великим свершениям, чем те, которые он совершал в прошлом и вплоть до настоящего времени. ... и я признаюсь, что я не предпринимал никаких попыток реализовать такие надежды, которые считаю преувеличенными. . . . Существуют четко определенные границы, которые ассоциация не должна переступать. Нет! ассоциация не призвана управлять всем во Франции. Спонтанный импульс индивидуального разума также является живой силой в нашей стране и причиной ее оригинальности

"Идея ассоциации не нова Даже у римлян мы видим появление коммерческого общества со всеми его атрибутами монополий, углов, сговоров, комбинаций, пиратства и продажности Акционерная компания реализует гражданское, торговое и морское право средневековья: в ту эпоху это было наиболее активное орудие труда, организованное в обществе С середины четырнадцатого века мы видим общества, формирующиеся путем подписки на акции; и вплоть до момента отмены Закона мы видим, что их число постоянно увеличивается. . . . Что?! мы восхищаемся шахтами, фабриками, патентами и газетами, принадлежащими акционерным компаниям! Но два столетия назад такие компании владели островами, королевствами, почти

целым полушарием. Мы провозглашаем чудом, что сотни подписчиков акций объединились вокруг предприятия; но еще в четырнадцатом веке весь город Флоренция находился в подобном молчаливом партнерстве с несколькими торговцами, которые продвигали предпринимательский гений как можно дальше. Затем, если наши предположения плохи, если мы были опрометчивы, неблагоразумны или легковерны, мы мучаем законодателя своими придирчивыми жалобами; мы призываем его к запретам и аннулированию. В нашей мании регулировать все, **ДАЖЕ ТО, ЧТО УЖЕ КОДИФИЦИРОВАНО**; для закрепления всего текстами, которые пересматриваются, исправляются и дополняются; для управления всем, даже шансами и неудачами торговли, — мы кричим посреди стольких существующих законов: "Все еще есть что делать!"

М. Троплонг верит в Провидение, но, конечно же, он не является его человеком.

Он не откроет формулу ассоциации, к которой сегодня стремятся умы, испытывающие отвращение ко всем протоколам комбинаций и хищений, картину которых М. Троплонг разворачивает в своем комментарии. М. Троплонг проявляет нетерпение, и это справедливо, к тем, кто хочет связать все в тексты законов; и он сам претендует на то, чтобы связать будущее серией из пятидесяти статей, в которых самый мудрый ум не смог бы обнаружить ни искры экономической науки, ни тени философии. В НАШЕЙ МАНИИ он призывает РЕГУЛИРОВАТЬ ВСЕ, **ДАЖЕ ТО, ЧТО УЖЕ КОДИФИЦИРОВАНО!** . . . Я не знаю ничего более восхитительного, чем этот штрих, который рисует одновременно юриста и экономиста. После кода "Наполеон" уберите лестницу! . . .

"К счастью, - продолжает М. Троплонг, - все проекты перемен, столь шумно обнародованные в 1837 и 1838 годах, сегодня забыты.

Конфликт предложений и анархия реформаторских мнений привели к негативным результатам. В то же самое время, когда была предпринята реакция против спекулянтов, здравый смысл общественности отдал должное многочисленным официальным планам организации, которые гораздо уступали по мудрости существующему законодательству, гораздо меньше соответствовали обычаям торговли, гораздо менее либеральны после 1830 года, чем концепции Государственного совета империи! Теперь порядок восстановлен во всем, и коммерческий кодекс сохранил свою целостность, свою превосходную целостность. Когда коммерция нуждается в этом, она находит рядом с партнерством, временным товариществом и акционерной компанией свободное молчаливое товарищество, сдерживаемое только благоразумием молчаливых партнеров и положениями уголовного кодекса, касающимися мошенничества ". -Троплонг: Гражданские и коммерческие общества: предисловие.

Что это за философия, которая радуется неудачам реформаторских начинаний и считает свои триумфы **ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ** духа исследования! Сейчас мы не можем перейти к более фундаментальной критике гражданского и коммерческого обществ, которые снабдили М. Троплонга материалом для двух томов. Мы оставим эту тему до того времени, когда, завершив теорию экономических противоречий, мы найдем в их общем уравнении программу объединения, которую затем опубликуем в противовес практике и концепциям наших предшественников.

Пару слов только о молчаливом партнерстве.

На первый взгляд может показаться, что эта форма акционерного общества, благодаря своей экспансивной мощи и предлагаемой ею способности к переменам, может быть распространена таким образом, чтобы охватить всю нацию во всех ее коммерческих и производственных отношениях. Но самый поверхностный анализ структуры этого общества очень быстро показывает, что расширение, которому оно подвержено, в том, что касается числа акционеров, не имеет ничего общего с расширением социальных связей.

Во-первых, подобно всем другим коммерческим обществам, оно неизбежно ограничено единственной отраслью эксплуатации: в этом отношении оно исключает все отрасли, чуждые той, которая является его собственной. Если бы это было иначе, оно изменило бы свою природу; это была бы новая форма общества, законы которого регулировали бы уже не прибыль в особенности, а распределение труда и условия обмена; это было бы именно такое объединение, которое отрицает М. Троплонг и которое исключает судебная практика монополии.

Что касается личного состава компании, то он, естественно, делится на две категории — менеджеров и акционеров. Менеджеры, которых очень мало, выбираются из промоутеров, организаторов и меценатов предприятия: по правде говоря, они являются единственными партнерами. Акционеры, по сравнению с этим маленьким правительством, которое управляет обществом с полной властью, — это группа налогоплательщиков, которые, чужие друг другу, без влияния и без ответственности, не имеют к делу никакого отношения, кроме своих инвестиций. Это кредиторы с премией, а не партнеры.

Из этого видно, как такие компании могли бы поддерживать все отрасли промышленности королевства, и каждый гражданин, благодаря возможности приумножения своих акций, был бы заинтересован во всех или большинстве из этих компаний, не улучшая тем самым своего положения: могло бы случиться даже так, что оно становилось бы все более и более скомпрометированным. Ибо, повторяю, акционер — это вьючное животное, эксплуатируемый материал компании: не для него создано это общество. Для того чтобы ассоциация могла быть реальной, тот, кто участвует в ней, должен делать это не как игрок, а как активный фактор; он должен иметь совещательный голос в совете; его имя должно быть выражено или подразумеваться в названии общества; короче говоря, все, касающееся его, должно регулироваться в соответствии с принципом равенства. Но эти условия являются именно условиями организации труда, которые не принимаются во внимание кодексом; они составляют СКРЫТУЮ цель политической экономии и, следовательно, не должны приниматься как должное, а должны быть созданы, и, как таковые, радикально несовместимы с монополией.[20]

[20] Возможно, эти параграфы будут непонятны не всем без объяснения того, что обсуждаемая в них форма объединения, называемая по-французски *commandite*, представляет собой акционерное общество, которому акционеры просто ссужают свой капитал, не приобретая доли в управлении и не неся ответственности за его результаты.— Переводчик.

Социализму, несмотря на его громкое название, пока повезло в определении общества не больше, чем монополии: мы можем даже утверждать, что во всех своих планах организации он неуклонно проявлял себя в этом отношении плагиатором политической экономии. М. Бланк, которого я уже цитировал при обсуждении конкуренции и которого мы видели по очереди приверженцем иерархического принципа, официозным защитником неравенства, проповедующим коммунизм, отрицающим одним росчерком пера закон противоречия, потому

что он не может постичь его, нацеленным прежде всего на власть как конечную цель. санкция его системы, - М. Блан снова предлагает нам любопытный пример социалиста, копирующего политическую экономию, не подозревая об этом, и постоянно вращающегося в порочном круге собственнической рутины. М. Блан действительно отрицает влияние капитала; он даже отрицает, что капитал равен труду в производстве, в чем он согласен со здоровыми экономическими теориями. Но он не может или не знает, как обойтись без капитала; он берет капитал за отправную точку; он обращается к государству за молчаливым партнерством: то есть он становится на колени перед капиталистами и признает суверенитет монополии. Отсюда странные искажения его диалектики. Я прошу прощения у читателя за эти вечные личности, но поскольку социализм, как и политическая экономия, персонифицирован в определенном количестве писателей, я не могу поступить иначе, как процитировать его авторов.

"Имеет или не имеет капитал, - сказал "Фаланж", - легитимность других производственных способностей в той мере, в какой он является способностью к производству? Если это незаконно, то и его притязания на долю продукта незаконны; оно должно быть исключено; оно не заинтересовано в получении: если, наоборот, оно законно, его нельзя законно отстранить от участия в прибылях, в увеличении, которое оно помогло создать".

Вопрос не мог быть сформулирован более четко. М. Бланк, напротив, считает, что он сформулирован в ОЧЕНЬ ПУТАНОЙ манере, что означает, что он сильно смущает его и что он очень обеспокоен тем, чтобы найти его смысл.

Во-первых, он предполагает, что его спрашивают, "справедливо ли предоставлять капиталисту долю прибыли от производства, РАВНУЮ доле РАБОЧЕГО". На что мсье Блан без колебаний отвечает, что это было бы несправедливо. Затем следует взрыв красноречия, чтобы доказать эту несправедливость.

Теперь фаланстерист не спрашивает, должна ли доля капиталиста быть РАВНА ДОЛЕ РАБОЧЕГО; он просто хочет знать, ДОЛЖЕН ЛИ ОН ИМЕТЬ ДОЛЮ. И на это мсье Бланк ничего не отвечает.

Означает ли это, продолжает мсье Бланк, что капитал НЕОБХОДИМ для производства, как и сам труд? Здесь М. Блан проводит различие: он допускает, что капитал необходим, КАК и труд, но не В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ необходим труд.

Еще раз, фаланстерцы спорят не о количестве, а о праве.

Означает ли это, — по—прежнему задает вопрос М. Бланк, - что не все капиталисты бездельники? М. Бланк, великодушный к капиталистам, которые работают, спрашивает, почему такая большая доля должна быть отдана тем, кто не работает? Поток красноречия по поводу БЕЗЛИЧНЫХ услуг капиталиста и ЛИЧНЫХ услуг рабочего, завершающийся призывом к Провидению.

В третий раз вас спрашивают, законно ли участие капитала в прибыли, поскольку вы признаете, что оно необходимо в производстве.

Наконец г-н Блан, который все понимал с самого начала, решает ответить, что, если он допускает процент на капитал, он делает это только в качестве переходной меры и для облегчения падения капиталистов. В остальном, поскольку его проект неизбежно ведет к

поглощению частного капитала ассоциацией, было бы глупостью и отказом от принципа предпринимать что-либо большее. Мсье Бланку, если бы он изучал свой предмет, нужно было бы сказать всего одну фразу: "Я отрицаю капитал".

Таким образом, М. Блан,—под его именем, и я включаю весь социализм,— после того, первого противоречие в названии своей книги "организация труда", заявил, что капитал является незаменимым в производстве, и, следовательно, его необходимо организовать и участвовать в прибыли как Трудового, второе противоречие отвергает капитала организации и отказывается признавать его: третье противоречие тот, кто смеется над украшения и дворянские титулы раздает гражданского венцы, награды и знаки отличия таких литераторов, изобретателей, и художники имеют заслуженную также страны; он позволяет им заработную плату в соответствии с их ранги и звания, каждый из которых является восстановление капитала, как реально, хотя и не с той же математической точностью, как интерес и объем товара: в четвертой противоречие М. Блан устанавливает эту новую аристократию на принципе равенства,— то есть он претендует на то, чтобы проголосовать masterships к равным и свободным партнеров, привилегии от безделья рабочие, порчей короче к ограблению: на пятый противоречие, он несет этот эгалитарный аристократии на основе власти, наделенные огромной силой,—то есть, на деспотизм, еще одна форма монополии: на одну шестую противоречие, после того, путем его поощрения к труду и искусств, попытался доля вознаграждения сервиса, как "монополия", и зарплата в емкость, как "монополия", он ставит себя восхвалять в общей жизни, труда и потребления в общем, что не мешает ему, желая уйти от последствий общего безразличия, с помощью Национального поощрений вырваны из общего продукта, серьезных писателей, которые распространены читателям нет дела: кто-то седьмой с противоречием. ... но давайте остановимся на семи, потому что нам не следовало заканчивать на семидесяти семи.

Говорят, что мсье Блан, который сейчас готовит историю Французской революции, начал серьезно изучать политическую экономию. Я не сомневаюсь, что первым плодом этого исследования будет отказ от его брошюры "Организация труда" и, следовательно, изменение всех его представлений об авторитете и правительстве. По этой цене "История французской революции" М. Блана станет действительно полезным и оригинальным произведением.

Все социалистические секты без исключения одержимы одним и тем же предрассудком; все бессознательно, вдохновленные экономическим противоречием, вынуждены признавать свое бессилие перед необходимостью капитала; все ждут реализации своих идей, чтобы удержать власть и деньги в своих руках. Утопии социализма в вопросе ассоциации более чем когда-либо подчеркивают истину, которую мы провозгласили в начале: в СОЦИАЛИЗМЕ НЕТ НИЧЕГО ТАКОГО, ЧЕГО НЕ БЫЛО БЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ; и этот вечный плагиат является бесповоротным осуждением обоих. Нигде не видно зари той материнской идеи, которая с таким блеском проистекает из порождения экономических категорий, — что высшая формула ассоциации не имеет ничего общего с капиталом, предметом индивидуального учета, но должна относиться исключительно к равновесию производства, условиям обмена, постепенному снижению издержек, единственному источнику увеличения богатства. Вместо того чтобы определять отношения отрасли к отрасли, рабочего к рабочему, провинции к провинции и народа к народу, социалисты мечтают только о том, чтобы обеспечить себя капиталом, всегда рассматривая проблему солидарности трудящихся так, как если бы это был вопрос основания какого-то нового института монополии. Мир, человечество, капитал, промышленность, деловые механизмы существуют; теперь вопрос просто в том, чтобы найти их

философию, другими словами, организовать их: и социалисты находятся в поисках капитала! Всегда находясь вне реальности, удивительно ли, что они ее упускают?

Так, г-н Блан просит государственной помощи и основания национальных мастерских; так, Фурье просил шесть миллионов франков, и его последователи до сих пор заняты сбором этой суммы; так, коммунисты возлагают надежды на революцию, которая даст им власть и казну, и изнуряют себя ожиданием бесполезных подписей. Капитал и власть, второстепенные органы общества, всегда являются богами, которым поклоняется социализм: если бы капитала и власти не существовало, он бы их изобрел. Из-за своей тревоги по поводу власти и капитала социализм полностью упустил из виду смысл своих собственных протестов: более того, он не увидел, что, вовлекая себя, как он это сделал, в экономическую рутину, он лишил себя самого права на протест. Она обвиняет общество в антагонизме и через тот же антагонизм стремится к реформам. Оно требует капитала для бедных рабочих, как будто нищета рабочих не проистекает из конкуренции капиталистов, а также из искусственного противостояния труда и капитала; как будто вопрос сегодня не является точно таким же, каким он был до создания капитала, — то есть все еще и всегда является вопросом равновесия; как будто, короче говоря, — давайте повторять это постоянно, давайте повторять это до отвала, — вопрос отныне стоит о чем-то ином, чем синтез всех принципов, выявленных цивилизацией, и как будто при условии этого синтеза идея которые руководят миром, были бы известны, потребовалось бы любое вмешательство капитала и государства, чтобы сделать их очевидными.

Социализм, отказавшись от критики, чтобы посвятить себя декламации и утопии, а также вмешавшись в политические и религиозные интриги, предал свою миссию и неправильно понял характер века. Революция 1830 года деморализовала нас; социализм делает нас женоподобными. Подобно политической экономии, противоречия которой он просто снова просеивает, социализм бессилён удовлетворить движение умов: отныне для тех, кого он порабощает, это всего лишь новый предрассудок, который нужно разрушить, а для тех, кто его распространяет, - разоблачительное шарлатанство, тем более опасное, что почти всегда искреннее.

ГЛАВА VII.

ПЯТЫЙ УРОК.—ПОЛИЦИЯ ИЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

Устанавливая свои принципы, человечество, словно подчиняясь суверенному порядку, никогда не отступает назад. Подобно путнику, который по косым извилинам поднимается из глубины долины на вершину горы, он бесстрашно следует своей зигзагообразной дороге и идет к своей цели уверенным шагом, без раскаяния и без паузы. Дойдя до точки зрения монополии, социальный гений бросает назад меланхолический взгляд и в момент глубокого размышления говорит себе:

"Монополия лишила бедных наемных работников всего— хлеба, одежды, дома, образования, свободы и безопасности. Я обложу монополиста налогом; этой ценой я сохраню ему его привилегии.

"Земля и шахты, леса и воды, исконные владения человека, запрещены пролетарию. Я вмешаюсь в их эксплуатацию, получу свою долю продукции, и земельная монополия будет соблюдаться.

"Промышленность впала в феодализм, но я - сюзерен. Лорды будут платить мне дань, и они сохранят прибыль со своего капитала.

"Коммерция взимает с потребителя ростовщическую прибыль. Я устелю его дорогу платными шлагбаумами, я проштампую его чеки и подпишу накладные, и это пройдет.

"Капитал победил труд разумом. Я открою школы, и рабочий, сам ставший разумным, в свою очередь станет капиталистом.

"Продукты не имеют хождения, а социальная жизнь ограничена. Я построю дороги, мосты, каналы, торговые центры, театры и храмы и таким образом одним махом обеспечу вас работой, богатством и рынком сбыта.

"Богатый человек живет в достатке, в то время как рабочий плачет от голода. Я установлю налоги на хлеб, вино, мясо, соль и мед, на предметы первой необходимости и на ценные предметы, и это послужит подаванием для моих бедных.

"И я поставлю стражу над водами, лесами, полями, рудниками и дорогами; я пошлю сборщиков налогов и учителей учить детей; у меня будет армия, чтобы усмирять непокорных подданных, суды, чтобы судить их, тюрьмы, чтобы наказывать их, и священников, чтобы проклинать их. Все эти должности должны быть предоставлены пролетариату и оплачиваться монополистами.

"Такова моя уверенная и действенная воля".

Мы должны доказать, что общество не могло ни думать лучше, ни действовать хуже: это станет предметом обзора, который, я надеюсь, прольет новый свет на социальную проблему.

Все меры общей полиции, все административные и коммерческие постановления, как и любой закон о налогообложении, в сущности, являются лишь одним из бесчисленных пунктов этой древней сделки, когда-либо нарушаемой и когда-либо возобновляемой, между патрициатом и пролетариатом. То, что партии или их представители ничего не знали об этом, или даже то, что они часто рассматривали свои политические конституции с другой точки зрения, для нас не имеет большого значения: не к человеку, законодателю или правителю мы обращаемся за значением его действий, а к самим действиям.

% 1. Синтетическая идея налога.—Отправная точка и развитие этой идеи.

Чтобы сделать более понятным то, что последует дальше, я объясню, как бы переворачивая метод, которому мы следовали до сих пор, превосходную теорию налога; затем я приведу ее происхождение; наконец, я покажу противоречие и результаты. Синтетическая идея налога, так же как и его первоначальная концепция, могла бы послужить материалом для самых обширных разработок. Я ограничусь простым изложением положений с кратким указанием доказательств.

Налог, по своей сути и позитивному назначению, является формой распределения среди того вида должностных лиц, которых Адам Смит обозначил словом "НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ", хотя он, как и любой другой, признает полезность и даже необходимость их труда в обществе. Под этим прилагательным "НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ" Адам Смит, чей гений смутно предвидел все и предоставил нам все делать самим, подразумевал, что продукт этих работников ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, что сильно отличается от нуля, и что, следовательно, распределение, насколько это касается их, осуществляется методом, отличным от обмена.

Давайте рассмотрим, в самом деле, что происходит с точки зрения распределения в четырех великих разделах коллективного труда — ДОБЫЧЕ,[21] МАНУФАКТУРАХ, ТОРГОВЛЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Каждый производитель выводит на рынок реальный продукт, количество которого можно измерить, качество которого можно оценить, цену которого можно обсудить и, наконец, его ценность можно снизить либо в других услугах или товарах, либо в деньгах. Следовательно, во всех этих отраслях распределение есть не что иное, как взаимный обмен продуктами в соответствии с законом пропорциональности ценностей.

[21] Охота, рыбалка, добыча полезных ископаемых - короче говоря, сбор всех натуральных продуктов.—Переводчик.

Ничего подобного не происходит с функционерами, называемыми ПУБЛИЧНЫМИ. Они получают свое право на существование не за счет производства реальных полезных продуктов, а за счет самого состояния непроизводительности, в котором они находятся не по своей вине. Для них закон пропорциональности перевернут: в то время как общественное богатство формируется и увеличивается в прямом отношении к количеству, разнообразию и пропорции эффективных продуктов, производимых четырьмя крупными отраслевыми категориями, развитие того же самого богатства, совершенствование общественного порядка, напротив, предполагают, что в том, что касается персонала полиции, постепенное и неопределенное сокращение. Таким образом, государственные чиновники действительно непродуктивны. В этом пункте Дж. Б. Сэй согласился с А. Смитом, и все, что он написал по этому вопросу в поправку к своему учителю и что было по глупости включено в число его титулов к славе, полностью, как легко видеть, возникло из-за недоразумения. Одним словом, заработная плата государственных служащих составляет социальный ДЕФИЦИТ; она должна быть отнесена на счет УБЫТКОВ, которые промышленная организация должна постоянно уменьшать: с этой точки зрения, какое другое прилагательное можно было бы использовать для описания людей, обладающих властью, кроме прилагательного Адама Смита?

Таким образом, перед нами категория услуг, которые, не производя реальных продуктов, не могут быть вознаграждены обычным способом; услуги, которые не подпадают под действие закона обмена, которые не могут стать объектом частной спекуляции, конкуренции, акционерного объединения или любого другого вида торговли, но которые теоретически считаются выполняемыми всеми безвозмездно, но поручаются, в силу закона разделения труда, небольшому числу специальных людей, которые посвящают себя исключительно им, следовательно, должны быть оплачены. История подтверждает этот общий факт. Человеческий разум, который пробует все решения любой проблемы, соответственно пытался передать общественные функции на обмен; долгое время французские магистраты, такие как нотариусы и т.д., жили исключительно за счет своих гонораров. Но опыт показал, что этот метод распределения, применяемый к непроизводительным работникам, был слишком дорогим и сопряжен со слишком многими недостатками, и от него пришлось отказаться.

Организация непроизводственных услуг способствует общему благосостоянию несколькими способами: во-первых, освобождая производителей от общественных забот, в которых все должны участвовать и, следовательно, все являются более или менее рабами; во-вторых, устанавливая в обществе искусственную централизацию, образ и прелюдию будущей

солидарности отраслей; и, наконец, обеспечивая первую попытку установления равновесия и дисциплины.

Итак, мы признаем, как и Дж. Б. Сэй, полезность магистратов и других агентов государственной власти; но мы считаем, что эта полезность полностью отрицательна, и поэтому настаиваем на описании этих чиновников прилагательным "непродуктивный", которое применил к ним А. Смит, не для того, чтобы дискредитировать их, а потому, что их действительно нельзя отнести к категории производителей. "Налогообложение, - очень хорошо говорит экономист школы Сэя М. Дж. Гарнье, — налогообложение - это ЛИШЕНИЕ, которое мы должны попытаться свести к максимально возможной степени соответствия потребностям общества". Если автор, которого я цитирую, задумался над значением своих слов, он увидел, что слово "ЛИШЕНИЯ", которое он использует, является синонимом НЕПРОИЗВОДСТВА, и что, следовательно, те, в чью пользу собираются налоги, действительно являются НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ работниками.

Я настаиваю на этом определении, которое кажется мне менее спорным из—за того факта, что, как бы сильно они ни спорили по поводу этого слова, все согласны с ним, потому что оно содержит зародыш величайшей революции, которую еще предстоит совершить в мире, - я имею в виду подчинение непроизводительных функций производительным функциям, одним словом, эффективное подчинение власти гражданам, о котором всегда просили и никогда не получали.

Следствием развития экономических противоречий является то, что порядок в обществе сначала оказывается перевернутым; то, что должно быть наверху, оказывается внизу, то, что должно быть рельефным, кажется затонувшим, а то, что должно получать свет, отбрасывается в тень. Таким образом, власть, которая по своей сути, подобно капиталу, является вспомогательным средством и подчиненным труду, становится, благодаря антагонизму общества, шпионом, судьей и тираном производственных функций; власть, изначальная неполноценность которой налагает на нее обязанность повиновения, является князем и сувереном.

Во все века рабочие классы пытались разрешить эту антиномию, ключ к которой может дать только экономическая наука, выступая против класса чиновников. Колебания, то есть политические волнения, возникающие в результате этой борьбы трудящихся против власти, то приводят к ослаблению центральной силы, что ставит под угрозу само существование общества; то, чрезмерно преувеличивая ту же силу, порождают деспотизм. Затем привилегии командования, бесконечная радость, которую оно доставляет честолюбию и гордыне, превращая непроизводительные функции в объект всеобщего вожделения, новая закваска раздора проникает в общество, которое, уже разделенное в одном направлении на капиталистов и наемных рабочих, а в другом - на производителей и непроизводителей, снова разделяется в отношении власти на монархистов и демократов. Конфликты между королевской семьей и республикой дали бы нам самый замечательный и интересный материал для наших серий. Рамки этой работы не позволяют нам совершать столь продолжительный экскурс; и после того, как мы указали на эту новую ветвь в обширной сети человеческих заблуждений, при рассмотрении налогообложения мы ограничимся исключительно экономическим вопросом.

Итак, такова, в самом кратком изложении, синтетическая теория налога, то есть, если я осмелюсь использовать знакомое сравнение, этого пятого колеса кареты человечества, которое производит так много шума и которое на правительственном жаргоне называется

Государством. Государство, полиция или средства их существования, налоги, - это, повторяю, официальное название класса, обозначаемого в политической экономии как непроизводители, короче говоря, как домашняя прислуга общества.

Но общественный разум не достигает сразу этой простой идеи, которая в течение столетий должна была оставаться в состоянии трансцендентальной концепции. Прежде чем цивилизация сможет подняться на такую высоту, она должна пройти через страшные бури и бесчисленные революции, в каждой из которых, можно сказать, она восстанавливает свои силы в бане крови. И когда, наконец, производство, представленное капиталом, кажется, готово полностью подчинить непроизводительный орган, государство, тогда общество поднимается в негодовании, труд рыдает при мысли о своей немедленной свободе, демократия содрогается при унижении власти, справедливость вопиет, как будто возмущенная, и все оракулы уходящих богов с ужасом восклицают, что мерзость запустения царит в святых местах и что наступил конец света. Настолько верно, что человечество никогда не желает того, к чему стремится, и что малейший прогресс не может быть достигнут без распространения паники среди народов.

Что же тогда в этой эволюции является отправной точкой общества и каким окольным путем оно достигает политических реформ, то есть экономии в расходах, равенства в исчислении налогов и подчинения власти промышленности? Это то, что мы собираемся изложить в нескольких словах, оставляя развитие событий для продолжения.

Первоначальная идея налога заключается в ВЫКУПЕ.

Как по закону Моисея предполагалось, что каждый первенец принадлежал Иегове и должен был быть выкуплен жертвоприношением, так и налог повсюду представлен в виде десятины или королевской прерогативы, посредством которой собственник ежегодно выкупает у суверена прибыль от эксплуатации, которую он, как предполагается, получает только по своему желанию. Более того, эта теория налога является лишь одной из особых статей того, что называется общественным договором.

Все древние и современные люди в более или менее ясных выражениях сходятся во мнении о правовом статусе обществ как реакции слабости на силу. Эта идея преобладает во всех произведениях Платона, особенно в "Горгии", где он отстаивает, скорее тонко, чем логично, противопоставление законов насилию, то есть законодательного абсолютизма аристократическому и военному абсолютизму. В этом запутанном споре, в котором весомость доказательств одинакова для обеих сторон, Платон просто выражает чувства всей древности. Задолго до него Моисей, осуществляя распределение земель, объявляя наследство неотчуждаемым и предписывая всеобщее и безвозмездное аннулирование всех закладных каждые пятьдесят лет, противопоставил силовому вторжению барьер. Вся Библия — это гимн СПРАВЕДЛИВОСТИ, то есть, в еврейском стиле, милосердию, доброте к слабым со стороны сильных, добровольному отказу от привилегии власти. Солон, начавший свою законодательную миссию с всеобщей отмены долгов и создания прав и резервов, то есть барьеров для предотвращения их возврата, был не менее реакционен. Ликург пошел дальше; он запретил индивидуальное владение и попытался поглотить человека в государстве, уничтожив свободу, чтобы лучше сохранить равновесие. Гоббс, выведя, и с большим основанием, законодательство из состояния войны, пришел другим путем к установлению равенства в виде исключения — деспотизмом. Его книга, столь сильно оклеветанная, является лишь развитием этого знаменитого антитезиса. Хартия 1830 года, освящающая восстание плебеев против дворянства

в 89 году и провозглашающая абстрактное равенство людей перед законом, несмотря на реальное неравенство сил и талантов, которое является подлинной основой действующей ныне социальной системы, также является всего лишь протестом общества в пользу бедных против богатых, малых против великих. Все законы человечества, касающиеся продажи, покупки, найма, собственности, займов, закладных, предписаний, наследования, дарения, завещаний, приданого жены, несовершеннолетия, опеки и т.д., и т.п., являются реальными барьерами, воздвигнутыми судебным абсолютизмом против абсолютизма силы. Уважение к договорам, верность обещаниям, религия клятвы - это фикции, осселеты,[22] как метко сказал знаменитый Лисандр, с помощью которых общество обманывает сильных и подводит их под ярмо.

[22] Маленькие косточки, извлеченные из суставов животных и служащие игрушками для детей.—Переводчик.

Налог принадлежит к тому большому семейству превентивных, принудительных, репрессивных и мстительных институтов, которые А. Смит обозначил общим термином полиция и которые, как я уже сказал, в своей первоначальной концепции являются лишь реакцией слабости на силу. Это следует, независимо от многочисленных исторических свидетельств, которые мы отложим в сторону, чтобы ограничиться исключительно экономическими доказательствами, из различия, естественно возникающего между налогами.

Все налоги делятся на две большие категории: (1) налоги на налогообложение, или привилегии: это самые старые налоги; (2) налоги на потребление, или подоходный налог, [23] тенденция которого заключается в том, что, поглощая первые, общественное бремя ложится равным бременем на всех.

[23] Налог, общий продукт которого не установлен заранее, а зависит от количества вещей или лиц, на которые он обрушится.—Переводчик.

Первый вид налогов, включающий во Франции налог на землю, налог на двери и окна, подушный налог, налог на личную собственность, налог на арендаторов, лицензионные сборы, налог на передачу собственности, налог на гонорары чиновников, дорожные сборы и бреты, — это доля, которую суверен оставляет для себя из всех монополий, которые он признает или терпит терпимо; это, как мы уже говорили, пособие бедным, разрешение, предоставляемое собственности. Таковы были форма и дух налога во всех старых монархиях: феодализм был его прекрасным идеалом. При том режиме налог был всего лишь ДАНЫЮ, выплачиваемой владельцем всеобщему собственнику или спящему партнеру (*commanditaire*), королю.

Когда позже, благодаря развитию общественного права, королевская власть, патриархальная форма суверенитета, начинает пропитываться демократическим духом, налог становится квотой, которую каждый избиратель должен ГОСУДАРСТВУ и которая, вместо того чтобы попадать в руки князя, поступает в государственную казну. В ходе этой эволюции принцип налога остается нетронутым; пока еще не происходит трансформации института; реальный суверен просто сменяет суверена образного. Входит ли налог в компетенцию князя или служит для погашения общего долга, в любом случае это всего лишь требование общества против привилегий; в противном случае невозможно сказать, почему налог взимается в соотношении состояний.

Пусть все участвуют в общественных расходах: ничего более справедливого. Но почему богатые должны платить больше, чем бедные? Это справедливо, говорят они, потому что у них больше. Я

признаю, что такая справедливость выше моего понимания. . . . Верно одно из двух: либо пропорциональный налог гарантирует привилегии более крупным налогоплательщикам, либо это неправильно. Потому что, если собственность является естественным правом, как провозглашено в Декларации 93-го года, все, что принадлежит мне в силу этого права, так же священно, как и моя личность; это моя кровь, моя жизнь, я сам: всякий, кто прикасается к этому, оскорбляет зеницу ока. Мой доход в сто тысяч франков так же неприкосновенен, как дневное жалование гризетки в семьдесят пять сантимов; ее мансарда не более священна, чем мои апартаменты. Налог не взимается пропорционально физической силе, размеру или навыкам: он также не должен взиматься пропорционально собственности.—Что такое собственность: глава II.

Эти замечания тем более справедливы, что принцип, который они намеревались противопоставить принципу пропорциональной оценки, уже имел свой период применения. Пропорциональный налог появился в истории гораздо позже, чем дань уважения льежу, которая заключалась в простой официозной демонстрации без реальной оплаты.

Ко второму виду налогов относятся в целом все налоги, обозначаемые, своего рода противопоставлением, термином "КОСВЕННЫЕ", такие как налоги на спиртные напитки, соль и табак, таможенные пошлины и, короче говоря, все налоги, которые НЕПОСРЕДСТВЕННО влияют на единственное, что должно облагаться налогом, — продукт. Принцип этого налога, название которого на самом деле является неправильным, несомненно, лучше обоснован в теории и более справедлив по тенденции, чем предыдущий: соответственно, несмотря на мнение массы, всегда вводимой в заблуждение относительно того, что служит ей, а также того, что наносит ей ущерб, я без колебаний заявляю, что этот налог является единственно нормальным, за исключением его исчисления и сбора, которыми я сейчас заниматься не собираюсь.

Ибо, если верно, как мы только что объяснили, что реальная природа налога заключается в уплате в соответствии с определенной формой заработной платы за определенные услуги, которые ускользают от обычной формы обмена, то отсюда следует, что все производители, пользующиеся этими услугами в равной степени в том, что касается личного использования, должны вносить равный вклад в их оплату. Следовательно, доля каждого была бы частью его меняемого продукта или, другими словами, суммой, взятой из ценностей, доставляемых им для целей потребления. Но при монопольной системе и при взимании налога с земли казначейство конфискует продукт до того, как он поступит в обмен, даже до того, как он будет произведен, — обстоятельство, которое приводит к включению суммы налога обратно в издержки производства и, следовательно, возлагает бремя на потребителя и выводит его из-под монополии.

Каким бы ни было значение податного налога, одно несомненно, и это то, что для нас особенно важно знать, а именно, что, делая налог пропорциональным, суверен намеревался заставить граждан вносить свой вклад в общественные расходы, уже не в соответствии со старым феодальным принципом, посредством подушной подати, которая подразумевала бы идею обложения, выражающуюся в соотношении числа лиц, облагаемых налогом, а не в соотношении их имущества, но в такой сумме на франк капитала, которая предполагает, что граждане должны вносить свой вклад в общественные расходы. Этот капитал имеет свой источник во власти, стоящей выше капиталистов. Все, спонтанно и единодушно, считают такую

оценку справедливой; поэтому все, спонтанно и единодушно, рассматривают налог как возобновление деятельности общества, своего рода искупление, требуемое от монополии. Это особенно бросается в глаза в Англии, где по специальному закону землевладельцы и фабриканты платят пропорционально своим доходам налог в размере сорока миллионов долларов, который называется ставкой для бедных.

Короче говоря, практическая и общепризнанная цель налога состоит в том, чтобы оказать на богатых, в интересах народа, пропорциональное возобновление их капитала.

Итак, анализ и факты демонстрируют:

Что налог на оценку, налог на монополию, вместо того чтобы уплачиваться теми, кто владеет, почти полностью уплачивается теми, кто не владеет;

Что налог на частное, отделяющий производителя от потребителя, ложится исключительно на последнего, тем самым отнимая у капиталиста не больше, чем он должен был бы заплатить, если бы состояния были абсолютно равны;

Наконец, что армия, суды, полиция, школы, больницы, богадельни, дома приюта и исправления, общественные функции, сама религия, все, что общество создает для защиты, освобождения и облегчения пролетария, оплачиваемое в первую очередь и поддерживаемое пролетарием, затем обращается против пролетария или растрачивается впустую, насколько это его касается; так что пролетариат, который сначала трудился только для класса, который его пожирает, — класса капиталистов, — должен трудиться также и для класса, который его пожирает. порет его, непроизводителей.

Отныне эти факты настолько хорошо известны, и экономисты — я должен отдать им должное — показали их настолько ясно, что я воздержусь от исправления их доказательств, которые, в остальном, никем больше не опровергаются. На что я предлагаю обратить внимание и что экономисты, по—видимому, недостаточно поняли, так это на то, что условия, в которые рабочий поставлен этой новой фазой социальной экономики, не подлежат улучшению; что, если промышленная организация, а следовательно, и политическая реформа, не приведут к равенству состояний, зло присуще полицейским институтам, как и идее милосердия, которая их породила; короче говоря, что ГОСУДАРСТВО, какую бы форму оно ни принимало, аристократическую или теократическую, монархическую или республиканскую, до тех пор, пока оно не станет послушным органом общества равных, станет для людей неизбежным адом, - я чуть было не сказал заслуженным проклятием.

% 2.Антиномия налога.

Я иногда слышу, как поборники statu quo утверждают, что в настоящее время мы пользуемся достаточной свободой и что, несмотря на заявления против существующего порядка, мы находимся ниже уровня наших институтов. По крайней мере, в том, что касается налогообложения, я вполне разделяю мнение этих оптимистов.

Согласно теории, которую мы только что рассмотрели, налог - это реакция общества на монополию. По этому вопросу мнения единодушны: граждане и законодатели, экономисты, журналисты и сочинители баллад, излагая каждый на своем языке общественную мысль, соперничают друг с другом в провозглашении того, что налог должен падать на богатых, лишать

излишеств и предметов роскоши и оставлять свободными те, которые являются предметом первой необходимости. Короче говоря, они превратили налог в своего рода привилегию для привилегированных: плохая идея, поскольку она предполагала признание законности привилегий, которые ни в коем случае, какую бы форму они ни принимали, ни для чего не годятся. Люди должны были быть наказаны за эту эгоистическую непоследовательность: Провидение не нарушило своего долга.

Таким образом, с момента возникновения концепции налога как встречного требования он должен был устанавливаться пропорционально средствам, независимо от того, наносил ли он большой ущерб капиталу или влиял на доход. Теперь я укажу на то, что взимание налога в таком большом франке является именно тем, что должно быть принято в стране, где все состояния равны, за исключением различий в стоимости начисления и сбора, казначейство является наиболее либеральной чертой нашего общества, и что в этом вопросе наша мораль действительно стоит за нашими институтами. Но поскольку для нечестивых лучшие вещи не могут не быть отвратительными, мы увидим, что уравнилительный налог сокращает людей именно потому, что люди не готовы к нему.

Я предположу, что валовой доход во Франции на каждую семью из четырех человек составляет 1000 франков: это немного выше оценки месье Шевалье, который оценивает его всего в 63 сантимов в день на каждого человека, или 919 франков 80 сантимов на каждое домашнее хозяйство. Поскольку налог составляет сегодня более тысячи миллионов, или примерно восьмую часть общего дохода, каждая семья, зарабатывающая 1000 франков в год, облагается налогом в размере 125 франков.

Соответственно, доход в 2000 франков приносит 250 франков; доход в 3000 франков - 375; доход в 4000 франков - 500 и т.д. Пропорция строгая и математически безукоризненная; казначейство, согласно арифметике, уверено, что ничего не потеряет.

Но со стороны налогоплательщиков дело полностью меняет свой аспект. Налог, который, по замыслу законодателя, должен был быть пропорционален богатству, является, напротив, прогрессивным в отношении бедности, так что чем беднее гражданин, тем больше он платит. Я попытаюсь пояснить это с помощью нескольких цифр.

Согласно пропорциональному налогу, причитающемуся казне: при доходе в 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 франков и т.д. налог в размере 125 250 375 500 625 750

Таким образом, согласно этой серии, налог, по-видимому, увеличивается пропорционально доходу.

Но если вспомнить, что каждый годовой доход состоит из 365 единиц, каждая из которых представляет ежедневный доход налогоплательщика, налог больше не будет считаться пропорциональным; он будет признан равным. Фактически, если государство взимает налог в размере 125 франков с дохода в 1000 франков, это равносильно тому, как если бы оно отняло у облагаемой налогом семьи 45-дневный прожиточный минимум; аналогично, взносы в размере 250, 375, 500, 625 и 750 франков, соответствующие доходам в 2000, 3000, 4000, 5000 и 6000 франков, составляют в каждом случае 45-дневный налог с каждого из тех, кто пользуется этими доходами.

Теперь я говорю, что это равенство налогообложения является чудовищным неравенством, и что было бы странной иллюзией воображать, что из-за того, что ежедневный доход больше, налог, основой которого он является, выше. Давайте изменим нашу точку зрения с личной на точку зрения коллективного дохода.

В результате того, что монопольное общественное богатство перешло от рабочего класса к классу капиталистов, целью налогообложения было смягчение этого вытеснения и противодействие узурпации путем введения пропорционального возмещения каждому привилегированному лицу. Но пропорционально чему? Избытку, который, несомненно, получил привилегированный человек, а не той доле социального капитала, которую представляет его доход. Теперь объект налогообложения упущен, и закон превращен в посмешище, когда казначейство, вместо того чтобы забрать свою восьмую часть там, где эта восьмая часть существует, запрашивает ее именно у тех, кому она должна быть возвращена. Окончательный расчет сделает это очевидным.

Устанавливая ежедневный доход каждого человека во Франции в 68 сантимов, отец семейства, получающий в качестве заработной платы или дохода со своего капитала 1000 франков в год, получает четыре доли национального дохода; тот, кто получает 2000 франков, имеет восемь долей; тот, кто получает 4000 франков, имеет шестнадцать и т.д. Отсюда следует, что рабочий, который при доходе в 1000 франков платит в казну 125 франков, отдает на общественный порядок половину доли, или восьмую часть своего дохода и средств к существованию своей семьи; тогда как капиталист, который при доходе в 6000 франков платит только 750 франков, получает прибыль в размере 17 долей от коллективного дохода, или, другими словами, получает за счет налога 425 процентов.

Давайте воспроизведем ту же истину в другой форме.

Число избирателей во Франции составляет около 200 000 человек. Я не знаю общей суммы налогов, уплаченных этими 200 000 избирателей, но я не думаю, что я очень далек от истины, предполагая в среднем по 300 франков на каждого, или в общей сложности 60 000 000 на 200 000 избирателей, к которым мы добавим двадцать пять процентов, представлять их долю косвенных налогов, составляющих в общей сложности 75 000 000, или 75 франков на каждого человека (предположим, что семья каждого избирателя состоит из пяти человек), которые электоральный класс платит государству. Ассигнования, согласно "Ежегодному экономическому отчету" за 1845 год, составляют 1 106 000 000, остается 1 031 000 000, что составляет налог, уплачиваемый каждым гражданином, не имеющим права голоса, 31 франком 30 сантимов, что составляет две пятых налога, уплачиваемого богатым классом. Теперь, чтобы эта пропорция была справедливой, среднее благосостояние не имеющего права голоса класса должно было бы составлять две пятых среднего благосостояния голосующего класса: но это не так, поскольку оно не дотягивает до этого более чем на три четверти.

Но эта диспропорция покажется еще более шокирующей, если вспомнить, что расчет, который мы только что сделали относительно электорального класса, совершенно неверен, полностью в пользу избирателей.

Фактически, единственными налогами, которые взимаются для осуществления избирательного права, являются: (1) земельный налог; (2) налог на избирательные участки и личную собственность; (3) налог на двери и окна; (4) лицензионные сборы. Теперь, за исключением

налога на избирательные участки и личную собственность, который мало меняется, три других налога перекладываются обратно на потребителей; и то же самое происходит со всеми косвенными налогами, по которым владельцы капитала получают возмещение от потребителей, за исключением, однако, налогов на передачу собственности, которые ложатся непосредственно на собственника и составляют в общей сложности 150 000 000. Теперь, если мы подсчитаем, что в этой последней сумме имущество избирателей составляет одну шестую, что делает ее завышенной, доля прямых налогов (409 000 000) составляет 12 франков на каждого человека, а доля косвенных налогов (547 000 000) - 16 франков, средний налог, уплачиваемый каждым избирателем, имеющим семью из пяти человек, достигнет в общей сложности 265 франков, в то время как налог, уплачиваемый рабочим, у которого есть только руки, чтобы прокормить себя, свою жену и двоих детей, составит 112 франков. В более общих чертах средний налог с каждого лица, принадлежащего к высшим классам, составит 53 франка; с каждого лица, принадлежащего к низшим, - 28. В связи с чем я повторяю свой вопрос: является ли благосостояние тех, кто ниже избирательного стандарта, хотя бы наполовину таким же высоким, как у тех, кто выше его?

С налогом дело обстоит так же, как и с периодическими публикациями, которые на самом деле стоят тем дороже, чем реже они появляются. Ежедневный журнал стоит сорок франков, еженедельный - десять франков, ежемесячный - четыре. Предположим, что при прочих равных условиях цены подписки на эти журналы равны друг другу цифрам сорок, семьдесят и сто двадцать, причем цена растет с увеличением частоты публикаций. Так вот, это именно и представляет собой увеличение налога: это подписка, которую оплачивает каждый гражданин в обмен на право трудиться и жить. Тот, кто использует это право в наименьшей степени, платит много; тот, кто использует его чуть больше, платит меньше; тот, кто использует его много, платит мало.

Экономисты в целом согласны со всем этим. Они нападали на пропорциональный налог не только в его принципе, но и в его применении; они указывали на его аномалии, почти все из которых проистекают из того факта, что отношение капитала к доходу или обрабатываемой площади к ренте никогда не бывает фиксированным.

Учитывая сбор в размере одной десятой части дохода с земель и земель различного качества, производящих зерно на сумму первых восьми франков, на сумму вторых шести франков, на сумму третьих пяти франков, налог потребует одной восьмой части дохода с наиболее плодородной земли, одной шестой части с чуть менее плодородной и, наконец, одной пятой части с еще менее плодородной.[24] Не будет ли установленный таким образом налог прямо противоположным тому, каким он должен быть? Вместо земли мы можем предположить другие орудия производства и сравнить капиталы той же стоимости или количество труда того же порядка, применяемые к отраслям промышленности, различающимся по производительности: вывод будет тот же. Несправедливо требовать одинакового подушного налога в размере десяти франков с рабочего, зарабатывающего тысячу франков, и с художника или врача, имеющего доход в шестьдесят тысяч. —Ж. Гарнье: Принципы политической экономии.

[24] Это предложение в его нынешнем виде непонятно и, вероятно, неправильно процитировано Прудоном. Во всяком случае, в одной из работ Гарнье содержится похожий отрывок, который начинается так: "Учитывая налог в размере одного с площади земли и земли разного качества, производящие первые восемь, вторые шесть, третьи пять, налог потребует

одну восьмую" и т.д. Это совершенно ясно, и предполагаемые обстоятельства удачно иллюстрируют точку зрения Прудона. Я бы без колебаний назвал это правильной версией, за исключением того факта, что Прудон в следующем абзаце интерпретирует Гарнье как предполагающего, что доход должен оцениваться вместо капитала.—Переводчик.

Эти размышления очень обоснованны, хотя они применимы только к сбору или оценке и не затрагивают принцип самого налога. Ибо, предполагая, что оценка производится с дохода, а не с капитала, факт всегда остается фактом: налог, который должен быть пропорционален состоянию, несет потребитель.

Экономисты приняли решение; они прямо признали несправедливость пропорционального налога.

"Налог, - говорит Сэй, - никогда не может взиматься с необходимого". Этот автор, правда, не говорит нам, что мы должны понимать под необходимым, но мы можем восполнить упущение. Необходимое - это то, что каждый человек получает из общего продукта страны, после вычета того, что должно быть взято в качестве налогов. Таким образом, при оценке в круглых числах, при производстве во Франции в восемь тысяч миллионов и налогах в тысячу миллионов, необходимая сумма для каждого отдельного человека составляет пятьдесят шесть с половиной сантимов в день. Все, что превышает этот доход, само по себе подлежит обложению налогом, согласно Дж. Б. Сэю; все, что не соответствует ему, должно рассматриваться казначейством как неприкосновенное.

Тот же автор выражает эту идею другими словами, когда говорит: "Пропорциональный налог несправедлив". Адам Смит уже говорил до него: "Вполне разумно, что богатый человек должен вносить свой вклад в общественные расходы не только пропорционально своему доходу, но и нечто большее". "Я пойду дальше, - добавляет Сэй, - я не побоюсь сказать, что прогрессивный налог - это единственный справедливый налог". А М. Ж. Гарнье, последний абридж из "экономистов", говорит: "Реформы должны быть направлены на установление прогрессивного равенства, если можно так выразиться, гораздо более справедливого, гораздо более равноправного, чем мнимое равенство налогообложения, которое на самом деле является всего лишь чудовищным неравенством".

Итак, согласно общему мнению и свидетельствам экономистов, признаются две вещи: первая, что по своему принципу налог является реакцией против монополии и направлен против богатых; другая, что на практике тот же налог не соответствует своей цели; что, отдавая предпочтение бедным, он совершает несправедливость; и что постоянные усилия законодателя должны заключаться в том, чтобы распределять его бремя более справедливым образом.

Мне нужно было твердо установить этот двойной факт, прежде чем перейти к другим соображениям: теперь начинается моя критика.

Экономисты, с той простотой честных людей, которую они унаследовали от своих старших и которая даже сегодня является единственным, что делает им честь, не потрудились увидеть, что прогрессивная теория налога, на которую они указывают правительствам как на *ne plus ultra* мудрой и либеральной администрации, была противоречивой по своим терминам и таила в себе множество невозможностей. Они поочередно приписывали притеснения казны варварствутого времени, невежеству князей, кастовым предрассудкам, алчности сборщиков налогов, короче говоря, всему, что, по их мнению, препятствовало увеличению налога, стояло

на пути искренней практики равенства в распределении общественных тягот; они ни на минуту не подозревали, что то, чего они добивались под названием прогрессивного налогообложения, было переворотом всех экономических идей.

Таким образом, они не увидели, например, что налог был прогрессивным из-за самого факта его пропорциональности, с той лишь разницей, что прогрессия шла в неправильном направлении, процент, как мы уже говорили, был не прямо, а обратно пропорционален состоянию. Если бы экономисты имели ясное представление об этом перевороте, неизменном во всех странах, где существует налогообложение, столь необычное явление не могло бы не привлечь их внимания; они бы искали его причины и в конце концов обнаружили, что то, что они принимали за случайность цивилизации, следствие непреодолимых трудностей человеческого правления, было продуктом противоречия, присущего всей политической экономии.

Прогрессивный налог, независимо от того, применяется ли он к капиталу или к доходу, является самым отрицанием монополии, той монополии, которая встречается повсюду, согласно М. Росси, на пути социальной экономики; которая является истинным стимулом промышленности, надеждой экономики, хранителем и прародителем всего богатства; о которой мы смогли, короче говоря, сказать, что общество не может существовать без нее, но что, без нее, не было бы общества. Пусть налог внезапно станет тем, чем он, несомненно, когда—нибудь должен стать, а именно пропорциональным (или прогрессивным, что одно и то же) вкладом каждого производителя в общественные расходы, и сразу же рента и прибыль повсеместно конфискуются в пользу государства; трудящиеся лишаются плодов своего труда; каждый индивид ограничивается надлежащим пособием в пятьдесят шесть с половиной сантимов, бедность становится всеобщей; договор, заключенный между трудом и капиталом, распадается, и общество, лишенное руля, возвращается к своему первоначальному состоянию.

, Возможно, скажут, что легко предотвратить абсолютное уничтожение прибыли капитала, остановив прогресс в любой момент.

Эклектизм, золотая середина, компромисс с небом или с моралью: всегда ли это будет одна и та же философия? Истинной науке претят подобные договоренности. Весь вложенный капитал должен вернуться производителю в виде процентов; весь труд должен оставлять избыток, вся заработная плата должна быть равна продукту. Под защитой этих законов общество постоянно реализует, посредством наибольшего разнообразия производства, максимально возможный уровень благосостояния. Эти законы абсолютны; нарушать их - значит ранить, калечить общество. Соответственно, капитал, который, в конце концов, есть не что иное, как накопленный труд, неприкосновенен. Но, с другой стороны, тенденция к равенству не менее настоятельна; она проявляется на каждом экономическом этапе с возрастающей энергией и непререкаемым авторитетом. Следовательно, вы должны удовлетворить труд и справедливость одновременно; вы должны давать первому гарантии все более и более реальные и обеспечивать последнее без уступок или двусмысленностей.

Вместо этого вы не знаете ничего, кроме постоянной подмены ваших теорий благосклонностью государя, ограничения хода экономических законов произвольной властью и, под предлогом справедливости, обмана как наемных рабочих, так и монополистов! Ваша свобода - это всего лишь полусвобода, ваше правосудие - всего лишь полуправда, и вся ваша мудрость заключается в тех промежуточных терминах, беззаконие которых всегда двояко, поскольку они не оправдывают притязаний ни одной стороны, ни другой! Нет, таковой не может быть наука,

которую вы нам обещали, и которая, раскрывая нам секреты производства и потребления богатства, должна недвусмысленно разрешить социальные антиномии. Ваша полулиберальная доктрина - это кодекс деспотизма, и она показывает, что вы бессильны продвинуться вперед, равно как и стыдитесь отступить.

Если общество, заложенное своим экономическим прошлым, никогда не сможет вернуться по своим стопам; если до наступления всеобщего уравнивания монополия должна сохраняться в его владении, — никакие изменения в установлении налогов невозможны: только здесь есть противоречие, которое, как и любое другое, должно быть доведено до конца. Наберитесь же смелости в своих суждениях, уважайте богатство и не жалейте бедных, которых осудил Бог монополии. Чем меньше у наемника средств к существованию, тем больше он должен платить: *qui minus habet, etiam quod habet auferetur ab eo*. Это необходимо, это неизбежно; в этом заключается безопасность общества.

Давайте, тем не менее, попробуем обратить вспять рост налога и устроить его так, чтобы капиталист, а не рабочий, платил большую долю.

Во-первых, я замечая, что при обычном методе сбора такой поворот практически невозможен.

Фактически, если налог падает на эксплуатируемый капитал, этот налог в целом включается в издержки производства, и тогда возможны два варианта: либо продукт, несмотря на увеличение его продажной стоимости, будет куплен потребителем, и, следовательно, производитель будет освобожден от налога; либо тот же самый продукт будет считаться слишком дорогим, и в этом случае налог, как очень хорошо сказал Дж. Б. Сэй, действует подобно десятине, взимаемой с семян, — он препятствует производству. Таким образом, слишком высокий налог на передачу титулов ограничивает оборот недвижимости и делает поместья менее продуктивными, не позволяя им переходить из рук в руки.

Если, напротив, налог падает на продукт, то это не что иное, как частный налог, который каждый платит в соответствии со своим потреблением, в то время как капиталист, которого он намеревается поразить, спасается бегством.

Более того, предположение о прогрессивном налоге, основанном либо на продукте, либо на капитале, совершенно абсурдно. Как мы можем представить, что один и тот же продукт облагается десятипроцентной пошлиной? в магазине одного дилера и всего за пять долларов у другого? Каким образом имущество, уже обремененное ипотекой и меняющее владельцев каждый день, каким образом капитал, сформированный за счет совместных инвестиций или состояния отдельного человека, должен быть зарегистрирован в официальном реестре и облагаться налогом не в соотношении с их стоимостью или арендной платой, а в соотношении с состоянием или предполагаемой прибылью владельца?

Таким образом, остается последний ресурс — обложить налогом чистый доход каждого налогоплательщика, каким бы способом он его ни получал. Например, при доходе в тысячу франков будет выплачиваться десять процентов; при доходе в две тысячи франков - двадцать процентов; при доходе в три тысячи франков - тридцать процентов и т. Д. Мы оставим в стороне тысячи трудностей и неприятностей, с которыми приходится сталкиваться при определении этих доходов, и предположим, что операция настолько проста, насколько вам нравится. Что ж! это именно та система, которую я обвиняю в лицемерии, противоречии и несправедливости.

Прежде всего, я говорю, что эта система лицемерна, потому что вместо того, чтобы отнимать у богатых всю ту часть их дохода, которая превышает средний национальный продукт на семью, что недопустимо, она не меняет порядок продвижения в направлении богатства, как это воображается, на обратный; самое большее, она изменяет скорость продвижения. Таким образом, нынешняя динамика налога для состояний, приносящих доход в тысячу франков и МЕНЕЕ, соответствует цифрам 10, 11, 12, 13 и т.д., А для состояний, приносящих доход в тысячу франков и БОЛЕЕ, соответствует цифрам 10, 9, 8, 7, 6, и т.д., — налог всегда увеличивается с бедностью и уменьшается с богатством, — если бы мы ограничились отменой косвенного налога, который ложится особенно на беднейший класс, и введением соответствующего налога на доходы более богатого класса, то дальнейший прогресс, правда, был бы, во-первых, только таким, как рост численности 10, 10.25, 10.50, 10.75, 11, 11.25, и т.д., и, во-вторых, как 10, 9.75, 9.50, 9.25, 9, 8.75, и т.д. Но этот прогресс, хотя и менее быстрый с обеих сторон, тем не менее шел бы в том же направлении, все равно был бы нарушением справедливости; и именно по этой причине так называемый прогрессивный налог, способный в лучшем случае дать филантропу пищу для болтовни, не имеет научной ценности. Это ничего не меняет в финансовой юриспруденции; как гласит пословица, кошелек всегда носит бедняк, а богач всегда является объектом забот власти.

Я добавлю, что эта система противоречива.

На самом деле, НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ОТДАВАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ, говорят юристы. Тогда вместо того, чтобы освящать монополии, владельцы которых не должны извлекать никаких привилегий, кроме как немедленно терять вместе с доходом все возможности пользоваться ими, почему бы сразу же не издать аграрный закон? Зачем предусматривать в конституции, что каждый должен свободно пользоваться плодами своего труда и прилежания, когда из-за факта или тенденции налогообложения это разрешение предоставляется только в размере дивидендов в размере пятидесяти шести с половиной сантимов в день, — вещь, правда, которую закон не мог предвидеть, но которая обязательно стала бы результатом прогресса? Законодатель, утверждая наши монополии, намеревался способствовать производству, разжигать священный огонь промышленности: итак, какой интерес мы должны иметь производить, если, хотя мы еще и не связаны, мы не должны производить только для себя? После того, как мы были объявлены свободными, как мы можем быть подчинены условиям продажи, найма и обмена, которые аннулируют нашу свободу?

Человек владеет государственными ценными бумагами, которые приносят ему доход в двадцать тысяч франков. Налог, согласно новой системе прогрессии, будет взиматься с него пятьдесят процентов. из этого с него. При таком раскладе ему выгоднее изъять свой капитал и потреблять основную сумму вместо дохода. Тогда пусть ему вернут долг. Что? вернут! Государство не может быть обязано погашать долг; и, если оно согласится на погашение, оно сделает это пропорционально чистому доходу. Следовательно, облигация на двадцать тысяч франков будет стоить держателю облигации не более десяти тысяч франков из-за налога, если он пожелает, чтобы ее выкупило государство: если только он не разделит ее на двадцать лотов, и в этом случае она вернет ему двойную сумму. Точно так же поместье, сдаваемое в аренду за пятьдесят тысяч франков, причем налог составляет две трети дохода, потеряет две трети своей стоимости. Но пусть владелец разделит это поместье на сотню лотов и продаст его на аукционе, и тогда ужас перед казной больше не отпугнет покупателей, он сможет вернуть весь свой капитал. Таким образом, при прогрессивном налоге недвижимость больше не подчиняется закону

спроса и предложения и оценивается не в соответствии с реальным доходом, который она приносит, а в соответствии с состоянием владельца. Следствием этого будет то, что крупные капиталы обесценятся, и на первый план выдвинется посредственность; землевладельцы поспешат продать землю, потому что для них будет лучше потреблять свою собственность, чем получать с нее недостаточную ренту; капиталисты отзовут свои вложения или будут вкладывать деньги только по ростовщическим ставкам; всякая эксплуатация в больших масштабах будет запрещена, всякое видимое богатство будет направлено против, и всякое накопление капитала сверх необходимого будет запрещено. Богатство, загнанное назад, уйдет в себя и никогда не появится, кроме как украдкой; а труд, подобно человеку, привязанному к трупу, примет страдание в бесконечном союзе. Разве экономистам, разрабатывающим такие реформы, не подобает смеяться над реформаторами?

После того, как я продемонстрировал противоречивость и иллюзорность прогрессивного налога, должен ли я также доказывать его несправедливость? Я только что сказал, что прогрессивный налог, как его понимают экономисты и, вслед за ними, некоторые радикалы, невыполним, если он падает на капитал и продукт: следовательно, я предположил, что он должен падать на доходы. Но кто не видит, что это чисто теоретическое различие между капиталом, продуктом и доходом касается только казначейства и что те же самые невозможности, на которые мы указывали, вновь проявляются здесь во всем своем фатальном характере?

Производитель открывает процесс, с помощью которого он экономит двадцать процентов. на своих производственных затратах он обеспечивает доход в двадцать пять тысяч франков. Казначейство требует с него пятнадцать тысяч. Следовательно, он вынужден повысить цены, поскольку благодаря налогу его процесс экономит не двадцать процентов, а всего восемь. Не является ли это тем, как если бы казначейство препятствовало дешевизне? Таким образом, пытаясь охватить богатых, прогрессивный налог всегда достигает потребителя; и невозможно, чтобы он не достиг его, не подавляя полностью производство: какая ошибка!

Закон социальной экономики гласит, что весь вложенный капитал должен постоянно возвращаться капиталисту в виде процентов. При прогрессивном налоге этот закон радикально нарушается, поскольку в результате прогрессирования процент на капитал снижается настолько, что предприятия создаются только за счет потери части или всего капитала. В противном случае проценты на капитал должны были бы постепенно увеличиваться в том же соотношении, что и сам налог, что абсурдно. Следовательно, прогрессивный налог останавливает создание капитала; более того, он препятствует его обращению. Тот, кто на самом деле захотел бы купить растение для какого-либо предприятия или участок земли для возделывания, должен был бы учитывать, в соответствии с системой прогрессивного налогообложения, не реальную стоимость такого растения или земли, а скорее налог, который это наложило бы на него; так что, если бы реальный доход составлял четыре процента и, в силу действия налога или условий покупателя, должен был снизиться до трех, покупка не могла бы быть осуществлена. Вступив в противоречие со всеми интересами и приведя рынок в замешательство из-за своих категорий, прогрессивный налог останавливает рост богатства и снижает продажную стоимость ниже реальной стоимости; он сжимает, он окаменекает общество. Какая тирания! Какая насмешка!

Таким образом, прогрессивный налог, что бы ни делалось, превращается в отказ в правосудии, запрет производства, конфискацию. Это неограниченный и необузданный абсолютизм, наделенный властью над всем, что трудом, экономикой, усовершенствованиями способствует общественному богатству.

Но что толку блуждать в химерических гипотезах, когда истина совсем рядом? Принцип пропорциональности не виноват в том, что налог с таким вопиющим неравенством ложится на различные классы общества; вина кроется в наших предрассудках и нашей морали. Налог, насколько это возможно в человеческой деятельности, применяется справедливо и точно. Социальная экономика предписывает применять его к продукту; он применяется к продукту. Если продукт ускользает от нее, он наносит удар по капиталу: что может быть естественнее! Налог, идущий впереди цивилизации, предполагает равенство рабочих и капиталистов: непреклонное выражение необходимости, он, по-видимому, призывает нас уравнивать себя в образовании и труде и, уравнивая наши функции и объединяя наши интересы, привести себя в соответствие с этим. Налог отказывается делать различие между одним человеком и другим: имы виним его математическую строгость в различиях в нашем благосостоянии! Мы просим само равенство смириться с нашей несправедливостью! Разве я не был прав, сказав с самого начала, что в том, что касается налогов, мы отстаем от наших институтов?

Соответственно, мы всегда видим, как законодатель останавливается в своих фискальных законах перед подрывными последствиями прогрессивного налога и подчеркивает необходимость, неизменность пропорционального налога. Ибо равенство в благосостоянии не может быть результатом нарушения закона о капитале: антиномия должна быть методично разрешена под угрозой для общества возвращения в хаос. Вечная справедливость не приспособляется ко всем прихотям мужчин: подобно женщине, которую можно оскорбить, но на которой нельзя жениться без торжественного отчуждения от себя, она требует с нашей стороны, с отказом от нашего эгоизма, признания всех ее прав, которые принадлежат науке.

Налог, конечной целью которого, как мы показали, является вознаграждение непроизводителей, но первоначальной идеей которого было восстановление рабочего, — налог при системе монополии, следовательно, сводится к чистому протесту, своего рода внесудебному акту, весь эффект которого заключается в ухудшении положения наемного рабочего путем нарушения монополистом его владения. Что касается идеи преобразования пропорционального налога в прогрессивный, или, говоря точнее, изменения порядка, в котором налог прогрессирует, то это грубая ошибка, вся ответственность за которую лежит на экономистах.

Но отныне над привилегиями нависла угроза. Обладая властью изменять пропорциональность налога, правительство имеет под рукой быстрое и надежное средство лишения собственности владельцев капитала, когда оно пожелает; и страшно видеть повсюду этот великий институт, основу общества, объект стольких споров, стольких законов, стольких льстецов и стольких преступлений, СОБСТВЕННОСТЬ, подвешенную на конце нити над разинутым ртом пролетариата.

% 3. Катастрофические и неизбежные последствия введения налога. (Положения, налоговые законы, сельская и промышленная полиция, патенты, торговые марки и т.д.)

В июле 1843 г. Шевалье обратился к самому себе по поводу налога со следующими вопросами:

(1) Требуется ли это от всех или по предпочтению части нации? (2) Напоминает ли этот налог сбор с избирателей или он точно пропорционален благосостоянию налогоплательщиков? (3) Является ли сельское хозяйство более или менее обремененным, чем промышленность или торговля? (4) Является ли недвижимость более или менее защищенной, чем личная собственность? (5) Является ли тот, кто производит, более привилегированным, чем тот, кто потребляет? (6) Носят ли наши налоговые законы характер законов о роскоши?

На эти различные вопросы мосье Шевалье дает ответ, который я собираюсь процитировать и который подводит итог всем наиболее философским рассуждениям по этому вопросу, с которыми я встречался:

(а) Налог влияет на универсальность, распространяется на массу, охватывает нацию в целом; тем не менее, поскольку бедных больше всего, он охотно облагает их налогом, будучи уверенным, что соберет больше. (б) По природе вещей налог иногда принимает форму сбора с избирательных участков, как в случае с налогом на соль. (с, d, e) Казначейство обращается как к труду, так и к потреблению, потому что во Франции трудятся все, причем больше к недвижимости, чем к личной собственности, и к сельскому хозяйству больше, чем к мануфактуре. (f) Исходя из тех же рассуждений, наши законы мало похожи на законы о роскоши.

Что, профессор? и это все, чему научила вас наука? Вы говорите, что НАЛОГ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА МАССЫ; ОН ЗАБИРАЕТ НАЦИЮ В ЦЕЛОМ. Увы! мы знаем это слишком хорошо; но именно это является беззаконием, и мы просим вас объяснить это. Правительство, когда занималось исчислением и распределением налога, не могло верить, что все состояния равны; следовательно, оно не могло желать, чтобы выплаченные суммы были равны. Почему же тогда практика правительства всегда противоположна его теории? Ваше мнение, если можно, по этому сложному вопросу? Объясняйте; оправдывайте или осуждайте казначейство; выбирайте любой курс, какой вам заблагорассудится, при условии, что вы выберете какой-то курс и что-то скажете. Помните, что ваши читатели - мужчины, и что они не могут извинять врачу, выступающему ex cathedra, такие утверждения, как это: ПОСКОЛЬКУ БЕДНЫХ БОЛЬШЕ ВСЕГО, ОН ОХОТНО ОБЛАГАЕТ ИХ НАЛОГАМИ, БУДУЧИ УВЕРЕННЫМ, ЧТО СОБЕРЕТ БОЛЬШЕ. Нет, месье: цифры не регулируют налог; налоговая служба прекрасно знает, что миллионы бедных, добавленные к миллионам бедных, не составляют одного избирателя. Вы делаете казну одиозной, доводя ее до абсурда, а я утверждаю, что это ни то, ни другое. Бедняк платит больше, чем богатый, потому что Провидение, для которого несчастье отвратительно, как порок, так распорядилось, что несчастный всегда должен быть самым подавленным. Несправедливость налогов - это небесный бич, который толкает нас к равенству. Боже! если бы профессор политической экономии, который в прошлом был апостолом, мог понять это откровение!

ПО ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ, говорит м. Шевалье, НАЛОГ ИНОГДА ПРИНИМАЕТ ФОРМУ СБОРА С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Хорошо, в каком случае налог должен принимать форму сбора за опросы? Это всегда или никогда? Каков принцип налога? Какова его цель? Говори, отвечай.

И какой урок, скажите на милость, можем мы извлечь из замечания, едва ли достойного цитирования, что КАЗНАЧЕЙСТВО УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ ТРУДУ ТАК ЖЕ, КАК И ПОТРЕБЛЕНИЮ, НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАНУФАКТУРЕ? Какое значение для науки имеет это бесконечное перечисление грубых фактов, если ваш анализ никогда не извлекает из них ни единой идеи?

Все вычеты, произведенные из потребления в результате налогообложения, арендной платы, процентов на капитал и т.д., Включаются в счет общих расходов и отражаются в цене продажи, так что почти всегда налог платит потребитель: это мы знаем. А поскольку наиболее потребляемые товары - это также те, которые приносят наибольший доход, из этого неизбежно следует, что наиболее тяжелое бремя ложится на беднейшие слои населения: это следствие, как и первое, неизбежно. Итак, еще раз, насколько важны для нас ваши финансовые различия? Какой бы ни была классификация облагаемых налогом материалов, поскольку невозможно обложить капитал налогом сверх его дохода, капиталист всегда будет в фаворе, в то время как пролетарий будет страдать от беззакония, угнетения. Проблема не в распределении налогов, а в распределении товаров. Г-н Шевалье не может не знать об этом: почему же тогда г-н Шевалье, чье слово имело бы больший вес, чем слово писателя, подозреваемого в нелюбви к существующему порядку, не говорит об этом?

С 1806 по 1811 год (это наблюдение, как и следующее, принадлежит мсье Шевалье) ежегодное потребление вина в Париже составляло сто сорок кварт на каждого человека; сейчас оно составляет не более восьмидесяти трех. Отмените налог в размере семи или восьми центов за кварту, взимаемый с розничных торговцев, и потребление вина вскоре возрастет с восьмидесяти трех кварт до ста семидесяти пяти; и у винодельческой промышленности, которая не знает, что делать со своей продукцией, появится рынок сбыта. Благодаря пошлинам, наложенным на ввоз крупного рогатого скота, потребление мяса народом сократилось в соотношении, аналогичном падению потребления вина; и экономисты с испугом осознали, что французский рабочий выполняет меньше работы, чем английский, потому что его не так хорошо кормят.

Из сочувствия к трудящимся классам мсье Шевалье хотел бы, чтобы наши производители немного почувствовали на себе влияние иностранной конкуренции. Снижение налога на шерстяные ткани до двадцати центов с каждой пары панталон оставило бы в карманах потребителей шесть миллионов долларов — половины достаточно для уплаты налога на соль. Снижение цены рубашки на четыре цента привело бы к экономии, вероятно, достаточной для содержания вооруженных сил численностью в двадцать тысяч человек.

За последние пятнадцать лет потребление сахара возросло со ста шестнадцати миллионов фунтов до двухсот шестидесяти миллионов, что дает в настоящее время в среднем семь фунтов и три четверти на каждого человека. Этот прогресс демонстрирует, что отныне сахар должен быть отнесен к хлебу, вину, мясу, шерсти, хлопку, древесине и углю среди предметов первой необходимости. Для бедняка сахар - это целая аптечка: не будет ли чрезмерным увеличить среднее потребление этого продукта каждым человеком с семи фунтов и трех четвертей до пятнадцати фунтов? Отмените налог, который составляет около четырех с половиной долларов с сотни фунтов, и ваше потребление удвоится.

Таким образом, налог на продовольствие тысячью способов возбуждает и мучает бедного пролетария: высокая цена на соль препятствует производству скота; пошлины на мясо уменьшают также рацион рабочего. Чтобы сразу удовлетворить налог и потребность рабочего класса в ферментированных напитках, они подают ему смеси, неизвестные химикам, а также пивоварам и виноделам. Зачем нам еще нужны диетические предписания Церкви? Благодаря налогу рабочий весь год находится в посту, и его пасхальный обед не так хорош, как обед монсеньора в Страстную пятницу. Давно пора повсеместно отменить налог на потребление,

который ослабляет людей и морит их голодом: к такому выводу приходят как экономисты, так и радикалы.

Но если пролетарий не постится, чтобы накормить Цезаря, то что же будет есть Цезарь? И если бедняк не укроет свой плащ, чтобы прикрыть наготу Цезаря, что же будет носить Цезарь?

Это вопрос, неизбежный вопрос, вопрос, который необходимо решить.

Затем мсье Шевалье, задав себе в качестве шестого вопроса, имеют ли наши налоговые законы характер законов о роскоши, ответил: нет, наши налоговые законы не имеют характера законов о роскоши. Мсье Шевалье мог бы добавить — и это было бы одновременно ново и правдиво, — что это лучшее, что есть в наших налоговых законах. Но мсье Шевалье, который, что бы он ни делал, всегда сохраняет часть старой закваски радикализма, предпочел выступать против роскоши, чем не мог скомпрометировать себя ни с одной партией. "Если бы в Париже, - кричит он, - налог, взимаемый с мяса, взимался с частных экипажей, верховых и каретных лошадей, слуг и собак, это было бы совершенно справедливо".

Значит, господин Шевалье заседает в Коллегии Франции, чтобы излагать политику Мазаньелло? Я видел собак в Базеле с эмблемой казначейства на шее в знак того, что они были обложены налогом, и я рассматривал налог на собак в стране, где налоги почти нулевые, скорее как моральный урок и гигиеническую меру предосторожности, чем как источник дохода. В 1844 году налог на собак в размере сорока двух центов с головы давал доход в размере 12 600 долларов во всей провинции Брабант, насчитывающей 667 000 жителей. Исходя из этого, можно подсчитать, что один и тот же налог, приносящий во всей Франции 600 000 долларов, снизил бы налоги на ЧАСТНОЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ДВА ЦЕНТА в год для каждого человека. Конечно, я далек от того, чтобы притворяться, что 600 000 долларов - это сумма, которой можно пренебречь, особенно при расточительном служении; и я сожалею, что Палата должна была отклонить налог на собак, который всегда служил бы для наделения полудюжины высочеств. Но я помню, что налог такого рода взимается гораздо меньше в интересах казны, чем для поддержания порядка; что, следовательно, на него следует смотреть с фискальной точки зрения как на несущественный; и что его даже придется отменить как досадную помеху, когда масса людей, став немного более гуманными, почувствует отвращение к обществу животных. ДВА ЦЕНТА в ГОД - какое облегчение для бедности!

Но у господина Шевалье есть в запасе и другие ресурсы — лошади, экипажи, слуги, предметы роскоши, наконец, роскошь! Как много заключено в одном слове "РОСКОШЬ"!

Давайте прервем эту фантасмагорию простым подсчетом; размышления будут по порядку позже. В 1842 году пошлины, взимаемые с импорта, составили 25 800 000 долларов. Из этой суммы в 25 800 000 долларов шестьдесят один предмет общего пользования стоит 24 800 000 долларов, а сто семьдесят семь, которыми пользуются только те, кто наслаждается высокой степенью роскоши, - ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. В первом сорте сахар принес доход в размере 8 600 000 долларов, кофе - 2 400 000 долларов, хлопок - 2 200 000 долларов, шерсть - 2 000 000 долларов, масла - 1 600 000 долларов, уголь - 800 000 долларов, постельное белье и конопля - 600 000 долларов, что составило в общей сложности 18 200 000 долларов на семь наименований. Таким образом, сумма дохода ниже пропорционально тому, что товар, из

которого он получен, используется менее широко, потребляется реже и сопровождается более утонченной степенью роскоши. И все же предметы роскоши облагаются гораздо более высокими налогами. Следовательно, даже если для достижения ощутимого снижения цен на предметы первой необходимости пошлины на предметы роскоши следует повысить в сто раз, единственным результатом будет подавление отрасли торговли запретительным налогом. Итак, все экономисты выступают за отмену таможен; несомненно, они не хотят, чтобы их заменили городскими пошлинами? Давайте обобщим этот пример: соль приносит казне 11 400 000 долларов, табак - 16 800 000 долларов. Пусть они покажут мне с цифрами в руках, за счет каких налогов на предметы роскоши после отмены налогов на соль и табак будет восполнен этот дефицит.

Вы хотите приобрести предметы роскоши; вы неправильно подходите к цивилизации. Я, со своей стороны, утверждаю, что предметы роскоши должны быть бесплатными. Говоря экономическим языком, что такое предметы роскоши? Те продукты, которые имеют наименьшее отношение к общему богатству, те, которые занимают последнее место в промышленном ряду и создание которых предполагает предсуществование всех остальных. С этой точки зрения все продукты человеческого труда были и, в свою очередь, перестали быть предметами роскоши, поскольку под роскошью мы подразумеваем не что иное, как отношение преемственности, будь то хронологическое или коммерческое, в элементах богатства. Одним словом, роскошь является синонимом прогресса; в каждый момент общественной жизни это выражение максимума комфорта, достигаемого трудом и достичь которого является правом и судьбой всех. Теперь, точно так же, как налог на какое-то время уважает недавно построенный дом и недавно расчищенное поле, он должен свободно приветствовать новые продукты и драгоценные изделия, последнее потому, что с их дефицитом следует постоянно бороться, первое потому, что каждое изобретение заслуживает поощрения. Что? под предлогом роскоши вы хотели бы основать новые классы граждан? И принимаете ли вы всерьез город Саленте и прозопопею Фабрициуса? Поскольку тема подводит нас к этому, давайте поговорим о морали. Несомненно, вы не станете отрицать истину, о которой так часто говорили сенеки всех веков, — что роскошь РАЗВРАЩАЕТ и ОСЛАБЛЯЕТ мораль: это означает, что она очеловечивает, возвышает и облагораживает привычки, и что первое и наиболее эффективное воспитание народа, стимулирующее формирование идеала у большинства людей, - это роскошь. Согласно древним, Грании были обнажены; где когда-либо говорилось, что они нуждались? Именно вкус к роскоши в наши дни, в отсутствие религиозных принципов, поддерживает общественное движение и раскрывает низшим классам их достоинство. Академия моральных и политических наук ясно понимала это, когда выбрала роскошь в качестве темы одного из своих эссе, и я от всего сердца аплодирую ее мудрости. Роскошь, на самом деле, уже больше, чем право в нашем обществе, это необходимость; и поистине достоин жалости тот, кто никогда не позволяет себе небольшой роскоши. И именно тогда, когда всеобщие усилия стремятся все больше и больше популяризировать предметы роскоши, вы бы ограничили удовольствие людей предметами, которые вам приятно описывать как предметы первой необходимости! Именно тогда, когда ранги сближаются и сливаются друг с другом благодаря обобщению роскоши, вы углубляете демаркационную линию и увеличиваете высоту своих шагов! Рабочий потеет, жертвует собой и шлифует, чтобы купить драгоценности для своей возлюбленной, ожерелье для внучки или часы для сына; а вы лишите его этого счастья, если он не заплатит ваш налог, то есть ваш штраф.

Но задумывались ли вы о том, что облагать налогом предметы роскоши - значит запрещать предметы роскоши? Считаете ли вы, что шелкопрядильщицы, средняя заработная плата

которых не достигает сорока центов; модистки за десять центов; ювелиры, златокузнецы и часовщики с их бесконечными периодами безделья; слуги за сорок долларов, - считаете ли вы, что они зарабатывают слишком много?

Уверены ли вы, что налог на предметы роскоши не будет уплачен работником сферы искусства роскоши, подобно тому как налог на напитки уплачивает потребитель напитков? Знаете ли вы хотя бы, не будут ли более высокие цены на предметы роскоши препятствием для удешевления необходимых предметов и не ухудшите ли вы общее состояние, стараясь угодить самому многочисленному классу? Прекрасная спекуляция, по правде говоря! Четыре доллара, которые нужно вернуть рабочему за его вино и сахар, и восемь, которые нужно забрать у него в качестве платы за его удовольствия! Он заработает пятнадцать центов на коже для своих сапог, и, чтобы возить свою семью за город четыре раза в год, он заплатит на один доллар и двадцать центов больше за аренду экипажа! Мелкий буржуа тратит сто двадцать долларов на экономку, прачку, разносчика белья и мальчиков на побегушках; но если, руководствуясь более разумной экономией, которая работает в интересах всех, он возьмет прислугу, казначейство в интересах средств к существованию накажет этот план экономии! Какой абсурдной вещью является филантропия экономистов при ближайшем рассмотрении!

Тем не менее я хочу удовлетворить вашу прихоть; и, поскольку у вас непременно должны быть законы о роскоши, я обязуюсь выдать вам расписку. И я гарантирую, что в моей системе сбор будет легким: никаких контролеров, оценщиков, дегустаторов, пробирщиков, инспекторов, получателей; никакого наблюдения, никаких офисных расходов; ни малейшего раздражения или малейшей нескромности; никаких ограничений вообще. Пусть будет установлено законом, что никто в будущем не должен получать два оклада одновременно и что самые высокие гонорары в любой ситуации не должны превышать тысячи двухсот долларов в Париже и восьмисот в департаментах. Что? вы опускаете глаза! Тогда признайтесь, что ваши законы о роскоши - всего лишь лицемерие.

Чтобы облегчить положение людей, некоторые применили бы коммерческую практику к налогообложению. Если бы, например, говорят они, цена на соль была снижена наполовину, если бы почтовые расходы были уменьшены в той же пропорции, потребление не преминуло бы возрасти, доход увеличился бы более чем вдвое, казна выиграла бы, а значит, и потребитель.

Давайте предположим, что событие подтвердит это предположение. Тогда я говорю: если бы почтовые расходы были сокращены на три четверти и если бы соль была раздана, выиграла бы казначейство по-прежнему? Конечно, нет. В чем же тогда значение так называемой почтовой реформы? Для каждого вида продукции существует естественная норма, ВЫШЕ которой прибыль становится ростовщической и ведет к сокращению потребления, но НИЖЕ которой производитель терпит убытки. Это удивительно напоминает определение ценности, которое экономисты отвергают и по отношению к которому мы сказали: существует тайная сила, которая устанавливает крайние пределы, между которыми колеблется стоимость, и для которых существует средний термин, выражающий истинную ценность.

Конечно, никто не желает, чтобы почтовая служба работала в убыток; следовательно, существует мнение, что эта услуга должна оказываться ПО СЕБЕСТОИМОСТИ. Это настолько элементарно в своей простоте, что поражаешься, как могло возникнуть необходимость прибегнуть к кропотливому исследованию результатов сокращения почтовых расходов в Англии; нагромождать ужасающие цифры и вероятности за пределами видимости, подвергать

разум пыткам, и все это для того, чтобы выяснить, приведет ли сокращение расходов во Франции к профициту или дефициту, и, наконец, оказаться неспособным ни к чему прийти к согласию! Что?! в Зале не нашлось человека, у которого хватило бы здравого смысла сказать: нет необходимости в отчете посла или примерах из Англии; почтовые расходы следует постепенно сокращать до тех пор, пока поступления не достигнут уровня расходов.[25] Что же тогда стало с нашим старым галльским остроумием?

[25] Слава богу! министр разрешил этот вопрос, и я выражаю ему свои самые искренние поздравления. Согласно предлагаемому тарифу, почтовые расходы будут снижены до 2 центов на расстояния менее 12 1/2 миль; 4 цента - на расстояния от 12 1/2 до 25 миль; 6 центов - от 25 до 75 миль; 8 центов - от 75 до 225 миль; 10 центов - на большие расстояния.

Но, скажут, если бы налог оплачивал соль, табак, почтовые перевозки, сахар, вина, мясо и т. Д. По себестоимости, потребление, несомненно, увеличилось бы, и улучшение было бы огромным; но как тогда государство покрывало бы свои расходы? Сумма косвенных налогов составляет почти сто двадцать миллионов долларов; с чего бы вы хотели, чтобы государство взимало эту сумму? Если казначейство ничего не получит от почтовой службы, ему придется увеличить налог на соль; если налог на соль также будет отменен, ему придется снова сбросить бремя на напитки; этой литании не будет конца. Следовательно, поставка продукции по себестоимости, будь то государством или частной промышленностью, невозможна.

Поэтому, в свою очередь, я отвечу, что помощь несчастным классам со стороны государства невозможна, как невозможны законы о роскоши, как невозможен прогрессивный налог; и все ваши неуместные рассуждения относительно налога - это адвокатские придирки. У вас нет даже надежды на то, что увеличение численности населения за счет разделения взносов может облегчить бремя каждого; потому что с увеличением численности населения увеличивается нищета, а с нищетой увеличивается работа и персонал государства.

Различные финансовые законы, принятые Палатой депутатов во время сессии 1845-46 годов, являются многочисленными примерами абсолютной неспособности власти, какой бы она ни была и как бы она ни работала, обеспечить комфорт народа. Из самого факта, что это власть, то есть представитель божественного права и собственности, орган силы, она неизбежно бесплодна, и все ее действия отмечены печатью фатального обмана.

Я только что говорил о реформе тарифов на почтовые услуги, которая снижает стоимость доставки писем примерно на треть. Конечно, если речь идет только о мотивах, у меня нет причин упрекать правительство, которое осуществило это полезное сокращение; тем более я не буду пытаться умалить его заслуги жалкой критикой по мелочам, мерзким выпасом ежедневной прессы. Налог, который является весьма обременительным, снижен на тридцать процентов; его распределение стало более справедливым и регулярным; я вижу только факт и аплодирую министру, который добился этого. Но вопрос не в этом.

Во-первых, преимущество, которое дает нам правительство, изменяя налог на письма, оставляет нетронутым пропорциональный, то есть несправедливый, характер этого налога: это едва ли требует демонстрации. Неравенство бремени, что касается почтового налога, остается таким же, как и прежде, причем преимущество от его снижения в основном достается не беднейшим, а самым богатым. Некое коммерческое предприятие, заплатившее шестьсот долларов за почтовые расходы, заплатит впоследствии только четыреста; таким образом, к

десяти тысячам, которые приносит ему его бизнес, оно добавит чистую прибыль в двести долларов и будет обложено этим щедрости казначейства. С другой стороны, крестьянин, рабочий, который будет писать два раза в год своему сыну в армию и получать такое же количество ответов, сэкономит десять центов. Не правда ли, что почтовая реформа прямо противоречит справедливому распределению налога? что если, согласно М. Желание Шевалье, правительство хотело нанести удар по богатым и пощадить бедных, налог на письма был последним, что ему нужно было бы снизить? Не кажется ли вам, что казначейство, противоречащее духу своего учреждения, только и ждало предлога о сокращении, незаметном из-за бедности, чтобы воспользоваться возможностью сделать подарок богатству?

Именно это должны были сказать критики законопроекта, но именно этого никто из них не видел. Это правда, что тогда критика, вместо того чтобы обратиться к министру, ударила по власти в ее сути и по властной собственности, что не входило в планы оппонентов. Истина сегодня имеет все мнения против нее.

А могло ли быть иначе? Нет, поскольку, если бы они сохранили старый налог, они нанесли ущерб всем, не освободив никого; а если бы они уменьшили его, они не могли бы устанавливать разные ставки для различных классов граждан, не нарушая первой статьи Хартии, которая гласит: "Все французы равны перед законом", то есть перед налогом. Итак, налог на письма обязательно является личным; следовательно, это налог на подушную подать; следовательно, то, что является справедливостью в этом отношении, с другой точки зрения, является беззаконием, равновесие бремени невозможно.

В то же время заботами правительства была проведена другая реформа — налог на скот. Раньше пошлины на скот, будь то при ввозе из-за рубежа или из деревни в города, взимались с такой-то головы; отныне они будут взиматься в соответствии с весом. Эта полезная реформа, о которой так долго говорили, отчасти обязана влиянию экономистов, которые в этом случае, как и во многих других, которых я не могу вспомнить, проявили самое благородное рвение и оставили праздные декламации социализма далеко позади. Но и здесь благо, проистекающее из закона об улучшении положения бедных, совершенно иллюзорно. Они уравнивали, регламентировали сбор с животных; они неравномерно распределили его между людьми. Богатый человек, потребляющий тысячу двести фунтов мяса в год, почувствует на себе последствия новых условий, возложенных на мясников; огромное большинство людей, которые никогда не едят мяса, не заметят этого. И я повторяю свой вопрос, заданный минуту назад: могло ли правительство, Палата представителей поступить иначе, чем так, как оно поступило? Нет, еще раз, потому что вы не можете сказать мяснику: "Вы должны продавать свое мясо богатому человеку по двадцать центов за фунт, а бедняку - по пять центов". Скорее наоборот, то, что вы получили бы от мясника.

То же самое и с солью. Правительство на четыре пятых снизило налог на соль, используемую в сельском хозяйстве, при условии, что она претерпит изменения. Некий журналист, не имея ничего лучшего, чем выдвинуть возражение, подал в связи с этим жалобу, в которой он скорбит о судьбе тех бедных крестьян, которые подвергаются более жестокому обращению со стороны закона, чем их скот. В третий раз я спрашиваю: могло ли быть иначе? Из двух вариантов: либо снижение будет абсолютным, и тогда налог на соль должен быть заменен налогом на что-то другое; теперь я бросаю вызов всей французской журналистике, чтобы она изобрела налог, который выдержит двухминутное рассмотрение; либо снижение будет частичным, будь то путем

сохранения части пошлин на соль во всех ее видах или полной отмены пошлин на соль, используемую определенным образом. В первом случае сокращение является недостаточным для сельского хозяйства и бедных слоев населения; во втором - подушный налог все еще существует в его огромной диспропорции. Что бы ни делалось, поражается бедняк, всегда бедняк, поскольку, вопреки всем теориям, налог никогда не может быть установлен иначе, как в соотношении имеющегося или потребленного капитала, и поскольку, если казначейство попытается действовать иначе, это остановит прогресс, запретит обогащение и убьет капитал.

Демократам, которые упрекают нас в принесении революционных интересов (что такое революционный интерес?) В жертву социалистическим интересам, на самом деле следовало бы объяснить нам, как, не делая государство единоличным собственником и не устанавливая общности благ и прибылей, они намерены с помощью любой системы налогообложения облегчить положение людей и вернуть труду то, что забирает у него капитал. Напрасно я ломаю голову; по всем вопросам я вижу, что власть поставлена в самое ложное положение, а мнение журналов впадает в безграничный абсурд.

В 1842 году М. Араго выступал за управление железными дорогами корпорациями, и большинство во Франции разделяло его мнение. В 1846 году он объявил о перемене своего мнения; и, если не считать железнодорожных спекулянтов, можно еще раз сказать, что большинство граждан изменилось так же, как изменился г-н Араго. Во что следует верить и что делать на фоне этого распиливания ученых и Франции?

Казалось бы, государственное управление должно лучше обеспечивать интересы страны; но оно медленное, дорогостоящее и неразумное. Двадцать пять лет ошибок, просчетов, расточительности, сотни миллионов, выброшенных на ветер в великой работе по канализации страны, доказали это самым недоверчивым. Мы даже видели инженеров, членов администрации, громко заявляющих о недееспособности государства в вопросах общественных работ, а также промышленности.

Управление корпорациями, это правда, безупречно с точки зрения интересов акционеров; но при этом приносятся в жертву общие интересы, открывается дверь спекуляции и организуется эксплуатация общества монополиями.

Идеальной системой была бы система, объединяющая преимущества обоих методов без каких-либо их недостатков. Теперь о способах реализации этих противоречивых характеристик? как вдохнуть рвение, экономию, проницательность в этих несменяемых офицеров, которым нечего ни приобретать, ни терять? способы сделать интересы общества такими же дорогими для корпорации, как и ее собственные, сделать эти интересы действительно ее собственными и при этом отделить ее от государства и, следовательно, иметь свои частные интересы? Кто в официальном мире осознает необходимость и, следовательно, возможность такого примирения? тем более, кто владеет его секретом?

В такой чрезвычайной ситуации правительство, как обычно, выбрало курс эклектизма; оно забрало часть администрации себе, а остальное предоставило корпорациям; то есть вместо того, чтобы примирить противоположности, оно привело их к точному конфликту. И пресса, которая во всем стоит на одном уровне с властью в том, что касается остроумия, — пресса, разделившись на три фракции, решила: одна за министерский компромисс, другая за

исключение государства, а третья за исключение корпораций. Так что сегодня ни публика, ни месье Араго, несмотря на их кувырок, не больше, чем раньше, знают, чего они хотят.

Что за стадо представляет собой французская нация в этом девятнадцатом веке с ее тремя державами, ее прессой, ее научными учреждениями, ее литературой, ее обучением! Сто тысяч человек в нашей стране постоянно следят за всем, что касается национального прогресса и чести страны. Теперь поставьте перед этими ста тысячами человек простейший вопрос общественного порядка, и вы можете быть уверены, что все дружно ринутся к тому же абсурду.

Что лучше, чтобы продвижение чиновников по службе регулировалось заслугами или стажем работы?

Конечно, нет никого, кто не хотел бы, чтобы этот двойной метод оценки возможностей был объединен в один. Что это было бы за общество, в котором права таланта всегда соответствовали бы правам возраста! Но, говорят, такое совершенство утопично, ибо противоречиво в своих утверждениях. И вместо того, чтобы увидеть, что именно противоречие делает это возможным, они начинают спорить о соответствующей ценности двух противоположных систем, каждая из которых ведет к абсурду и в равной степени порождает невыносимые злоупотребления.

Кто должен судить о достоинствах? спрашивает один: правительство. Теперь правительство признает достоинства только в своих созданиях. Поэтому никакого продвижения по службе по собственному выбору, никакой аморальной системы, которая уничтожает независимость и достоинство должностного лица.

Но, говорит другой, выслуга лет, несомненно, очень почтенная. Жаль, что у нее есть недостаток, заключающийся в том, что она делает застойными вещи, которые по сути являются добровольными и бесплатными, — труд и мысль; создает препятствия на пути к власти даже среди ее агентов и дарует случайности, часто неспособности, награду в виде гениальности и дерзости.

Наконец они идут на компромисс: правительству предоставляется право произвольно назначать на определенное количество должностей мнимых людей с заслугами, которые, как предполагается, не нуждаются в опыте, в то время как остальные, очевидно признанные неспособными, в свою очередь продвигаются по службе. И пресса, эта неторопливая старая кляча всех самонадеянных посредственностей, которая обычно живет только за счет бесплатных сочинений молодых людей, столь же лишенных таланта, как и приобретенных знаний, спешит снова начать свои нападки на власть, обвиняя ее, — и не без оснований, — то в фаворитизме, то в рутине.

Кто мог надеяться когда-нибудь сделать что-нибудь к удовлетворению прессы? После того, как они выступали с речами и жестикулировали против огромных размеров бюджета, теперь они требуют повышения заработной платы армии чиновников, которым, по правде говоря, действительно не на что жить. Теперь именно учителя, как высшего, так и низшего разряда, публикуют свои жалобы в своих колонках; теперь это деревенское духовенство, которому платят так мало, что они вынуждены сохранять свои гонорары, что является благодатным источником скандалов и злоупотреблений. Тогда это целая административная нация, которая не имеет ни жилья, ни одежды, ни тепла, ни сыта: это миллион человек со своими семьями, почти восьмая часть населения, чья бедность позорит Францию и для которой в бюджет немедленно должны

быть добавлены сто миллионов долларов. Обратите внимание, что в этом огромном штате нет ни одного лишнего человека; напротив, если население будет расти, оно будет увеличиваться пропорционально. В состоянии ли вы обложить нацию налогом в размере четырехсот миллионов долларов? Можете ли вы отнять из среднего дохода в 184 доллара на четырех человек 47,25 доллара - более одной четвертой — для оплаты, вместе с другими расходами государства, заработной платы непроизводительных работников? А если вы не можете, если вы не можете ни оплатить свои расходы, ни сократить их, чего вы хотите? на что вы жалуетесь?

Тогда пусть люди поймут это раз и навсегда: все надежды на сокращение и справедливость налогообложения, которыми их по очереди убаюкивают разглагольствования властей и обличительные речи партийных лидеров, - сплошная мистификация; налог не может быть снижен, равно как и его оценка не может быть более справедливой при монопольной системе. Напротив, чем ниже становится положение гражданина, тем тяжелее становится его налог; это неизбежно, непреодолимо, несмотря на явный замысел законодателя и неоднократные усилия казначейства. Тот, кто не может стать или оставаться богатым, кто вошел в пещеру несчастий, должен принять решение платить пропорционально своей бедности: *Ласкайте огни сперанцы, voi ch' entrate.*

Таким образом, налогообложение, полиция — отныне мы не будем разделять эти две идеи — являются новым источником пауперизма; налогообложение усугубляет подрывные эффекты предыдущих антиномий — разделения труда, машин, конкуренции, монополии. Оно нападает на рабочего в его свободе и в его совести, в его теле и в его душе паразитизмом, досадами, мошенничеством, к которому оно побуждает, и последующими за ними наказаниями.

При Людовике XIV. одна только контрабанда соли ежегодно приводила к тридцати семистам домашним арестам, двум тысячам мужчин, тысяче восьмьсот женщинам, шестидесяти шестистам детям, тысяче ста конфискациям лошадей, пятидесяти экипажам и трем сотням приговоров к галерам. И это, замечает историк, было результатом только одного налога — налога на соль. Каково же было общее количество несчастных, брошенных в тюрьму, подвергнутых пыткам, экспроприированных из-за налога?

В Англии из каждых четырех семей одна непродуктивна, и это та семья, которая наслаждается изобилием. Вы думаете, какое преимущество было бы для рабочего класса, если бы эта проказа паразитизма была устранена! Несомненно, теоретически вы правы; на практике подавление паразитизма было бы катастрофой. Хотя одна четверть населения Англии непроизводительна, другая четверть того же населения работает ради этого: что же будут делать эти рабочие, если они внезапно потеряют рынок сбыта своей продукции? Абсурдное предположение, скажете вы. Да, абсурдное предположение, но вполне реальное предположение, которое вы должны признать именно потому, что оно абсурдно. Во Франции постоянная армия в пятьсот тысяч человек, сорок тысяч священников, двадцать тысяч врачей, восемьдесят тысяч юристов и я не знаю, сколько сотен тысяч других непроизводителей всякого рода составляют огромный рынок сбыта для нашего сельского хозяйства и наших мануфактур. Пусть этот рынок внезапно закроется, и производство остановится, торговля обанкротится, а сельское хозяйство задохнется под своей продукцией.

Но как это возможно, чтобы страна обнаружила, что ее рынок забит из-за того, что она избавилась от своих бесполезных ртов? Спросите лучше, почему двигатель, расход которого был рассчитан в шестьсот фунтов угля в час, теряет свою мощь, если ему выдают всего

триста. Но опять же, не могли бы эти непроизводители стать производителями, раз уж мы не можем от них избавиться? Эх! ребенок: тогда скажите мне, как вы будете обходиться без полиции, монополии, конкуренции и всех тех противоречий, короче говоря, из которых состоит ваш порядок вещей? Послушай.

В 1844 году, во время беспорядков в Рив-де-Жире, М. Ансельм Пететен опубликовал в "Revue Independante" две разумные и искренние статьи, касающиеся анархии, царящей на угольных шахтах в бассейне Луары. М. Пететен указал на необходимость объединения шахт и централизации их управления. Факты, которые он представил общественности, не были неизвестны пауэру; беспокоилась ли пауэр о союзе шахтеров и организации этой отрасли? Вовсе нет. Власть следовала принципу свободной конкуренции; она оставалась в покое и смотрела сквозь пальцы.

С тех пор горнодобывающие компании объединились, не без того, чтобы вызвать некоторое беспокойство потребителей, которые увидели в этой комбинации заговор с целью повышения цен на топливо. Вмешается ли власть, получившая многочисленные жалобы по этому поводу, чтобы восстановить конкуренцию и предотвратить монополию? Она не может этого сделать; право объединения по закону идентично праву ассоциации; монополия - основа нашего общества, поскольку конкуренция - это его завоевание; и, при условии отсутствия беспорядков, власть останется в покое и будет наблюдать. Какой другой курс он мог бы избрать? Может ли он запретить законно созданное коммерческое объединение? Может ли он обязать соседей уничтожать друг друга? Может ли он запретить им сокращать свои расходы? Может ли он установить максимум? Если бы власть сделала что-либо из этих действий, это опрокинуло бы установленный порядок. Власть, следовательно, не может проявлять никакой инициативы: она учреждена для защиты монополии и конкуренции одновременно, в пределах ограничений патентов, лицензий, земельных налогов и других обязательств, которые она наложила на собственность. Помимо этих ограничений, власть не имеет никакого права действовать от имени общества. Социальное право не определено; более того, это было бы отрицанием монополии и конкуренции. Как же тогда власть могла бы встать на защиту того, чего закон не предвидел и не определял, того, что противоречит правам, признанным законодателем?

Следовательно, когда шахтер, которого мы должны рассматривать в событиях Рив-де-Жира как реального представителя общества против владельцев шахт, счел нужным противостоять замыслу монополистов, защищая свою заработную плату и выступая против объединения комбинаций, власть сбила шахтера с ног. А политические скандалисты обвиняли власть, говоря, что она пристрастна, свирепа, продалась монополии и т.д. Со своей стороны, я заявляю, что такой взгляд на действия власти вряд ли кажется мне философским, и я отвергаю его изо всех сил. Возможно, что они могли бы убить меньше людей, возможно также, что они могли бы убить больше: здесь следует обратить внимание не на количество убитых и раненых, а на репрессии против рабочих. Те, кто критиковал власть, поступили бы так же, как она поступила, за исключением, возможно, нетерпения ее штыков и точности прицеливания: я говорю, они бы подавили; они не смогли бы сделать ничего другого. И причина, от которой было бы тщетно пытаться отмахнуться, заключается в том, что конкуренция законна, акционерное объединение законно, спрос и предложение законны, и все последствия, которые непосредственно вытекают из конкуренции, акционерного объединения и свободной торговли, законны, тогда как забастовки рабочих НЕЗАКОННЫ. И это сказано не только в уголовном кодексе, но и в экономической системе, в необходимости установленного порядка. Пока труд не является

суверенным, он должен быть рабом; общество возможно только при этом условии. То, что каждый рабочий в отдельности должен свободно распоряжаться своей личностью и своим оружием, может быть терпимо; [26] но то, что рабочие должны предпринимать, путем объединений, насилие по отношению к монополистическому обществу, не может быть допущено. Сокрушите монополию, и вы уничтожите конкуренцию, и вы дезорганизуете мастерскую, и вы повсюду сеете распад. Власть, расстреляв шахтеров, оказалась в положении Брута, оказавшегося между своей отцовской любовью и консульскими обязанностями: он должен был пожертвовать либо своими детьми, либо республикой. Я признаю, что альтернатива была ужасной; но таковы дух и буква общественного договора, таково содержание хартии, таков приказ Провидения.

[26] Новый закон о трудовых книжках ограничил независимость работников в более узких рамках. Демократическая пресса снова обрушила свое возмущение по этому поводу на власть имущих, как будто они были виновны в чем-то большем, чем применение принципов власти и собственности, которые являются принципами демократии. То, что сделали Палаты в отношении служебных книжек, было неизбежно, и этого следовало ожидать. Для общества, основанного на принципе собственности, так же невозможно избежать классовых различий, как для демократии избежать деспотизма, для религии быть разумной, для фанатизма проявлять терпимость. Это закон противоречия: сколько времени нам потребуется, чтобы понять его?

Таким образом, полицейская функция, созданная для защиты пролетариата, направлена всецело против пролетариата. Пролетария изгоняют из лесов, с рек, с гор; ему запрещен даже переход дорог; скоро он не будет знать никакой дороги, кроме той, что ведет в тюрьму.

Прогресс в сельском хозяйстве позволил ощутить преимущества искусственных лугов и необходимость упразднения общих земель. Повсюду расчищаются, сдаются в аренду, огораживаются общинные земли; новые достижения, новое богатство. Но бедный поденщик, единственным достоянием которого является общинная земля и который летом содержит корову и несколько овец, позволяя им пастись вдоль дорог, в подлеске и на скошенных полях, потеряет свой единственный и последний ресурс. Землевладелец, покупатель или фермер общинных земель, после этого будет продавать только вместе со своей пшеницей и овощами молоко и сыр. Вместо ослабления старой монополии они создают новую. Даже дорожные рабочие оставляют за собой края дорог как принадлежащие им луга и отгоняют весь скот, не относящийся к административной сфере. Что из этого следует? Что поденщик, прежде чем бросить свою корову, позволяет ей пастись вопреки закону, становится мародером, совершает тысячи грабежей и наказывается штрафом и тюремным заключением: какая ему польза от полиции и сельскохозяйственного прогресса? В прошлом году мэр Мюлуза, чтобы предотвратить кражу винограда, запретил каждому человеку, не являющемуся владельцем виноградных лоз, передвигаться днем или ночью по дорогам, проходящим мимо виноградников, — благотворительная мера предосторожности, поскольку она предотвращала даже желания и сожаления. Но если шоссе общего пользования - не что иное, как принадлежность частной собственности; если общественные земли превращены в частную собственность; если общественное достояние, короче говоря, приравнено к частной собственности, охраняется, эксплуатируется, сдается в аренду и продается как частная собственность, — что остается пролетарию? Какая ему польза от того, что общество вышло из состояния войны и перешло к полицейскому режиму?

Промышленность, так же как и земля, имеет свои привилегии — привилегии, освященные законом, как всегда, на определенных условиях и с оговорками, но, как всегда, в ущерб потребителю. Вопрос интересный; мы скажем по нему несколько слов.

Я цитирую мсье Ренуара.

"Привилегии, - говорит мсье Ренуар, - были корректирующим элементом регулирования".

Я прошу разрешения мсье Ренуара перевести его мысль, изменив местами его фразу: Регулирование было исправлением привилегий. Ибо тот, кто говорит, что регулирование означает ограничение: итак, как можно было представить себе ограничение привилегий до того, как они существовали? Я могу представить себе суверена, подчиняющего привилегии правилам; но я совершенно не могу понять, почему он должен создавать привилегии специально для ослабления действия правил. Ничто не побуждает к такой уступке; это было бы следствием без причины. Как в логике, так и в истории, все присваивается и монополизировается, когда появляются законы и подзаконные акты: в этом отношении гражданское законодательство подобно уголовному законодательству. Первое возникает в результате владения и присвоения, второе - в результате совершения преступлений и правонарушений. М. Ренуар, озабоченный идеей рабства, присущего любому регулированию, рассматривал привилегии как компенсацию за это рабство; и именно это побудило его сказать, что ПРИВИЛЕГИИ ЯВЛЯЮТСЯ КОРРЕКТИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ. Но то, что добавляет М. Ренуар, доказывает, что он имел в виду обратное:

Фундаментальный принцип нашего законодательства, предусматривающий предоставление временной монополии в качестве условия контракта между обществом и работником, всегда преобладал и т.д.

Что на самом деле представляет собой это предоставление монополии? Простое признание, декларация. Общество, желая поддержать новую отрасль промышленности и воспользоваться преимуществами, которые она сулит, ЗАКЛЮЧАЕТ СДЕЛКУ с изобретателем, как оно заключило сделку с фермером; оно гарантирует ему монополию на его отрасль на некоторое время; но оно не создает монополию. Монополия существует благодаря самому факту изобретения, и признание монополии - это то, что составляет общество.

Эта двусмысленность устранена, я перехожу к противоречиям закона.

Все промышленно развитые страны приняли установление временной монополии в качестве условия контракта между обществом и изобретателем. . . . Я не склонен верить, что все законодатели всех стран совершили грабеж.

Мсье Ренуар, если когда-нибудь прочтет эту работу, окажет мне честь признать, что, цитируя его, я не критикую его мысль; он сам осознал противоречия патентного права. Все, на что я претендую, - это связать это противоречие с общей системой.

Почему, во-первых, ВРЕМЕННАЯ монополия на производство, в то время как земельная монополия ВЕЧНА? Египтяне были более логичны; у них эти две монополии были одинаково наследственными, вечными, неприкосновенными. Я знаю соображения, которые преобладали против бессрочности литературной собственности, и я принимаю их все; но эти соображения в равной степени применимы и к собственности на землю; более того, они оставляют в силе все

аргументы, выдвигаемые против них. В чем же тогда секрет всех этих вариаций законодателя? В остальном, мне нет необходимости говорить, что, указывая на это несоответствие, я не ставлю своей целью ни клевету, ни высмеивание; я признаю, что курс законодателя определяется не его волей, а необходимостью.

Но самое вопиющее противоречие - это то, что вытекает из вступающего в силу раздела закона. Раздел IV, статья 30, § 3, гласит: "Если патент относится к принципам, методам, системам, открытиям, теоретическим или чисто научным концепциям без указания их промышленного применения, патент недействителен".

Итак, что такое ПРИНЦИП, МЕТОД, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ, СИСТЕМА? Это особый плод гения, это изобретение в его чистоте, это идея, это все. Заявление - это грубый факт, ничто. Таким образом, закон лишает патента ту самую вещь, которая его заслуживает, а именно идею; напротив, он выдает патент на заявку, то есть на материальный факт, на образец идеи, как сказал бы Платон. Поэтому его ошибочно называют ПАТЕНТОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ; его следует называть ПАТЕНТОМ НА ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

В наши дни, если бы человек изобрел арифметику, алгебру или десятичную систему, он не получил бы патента; но у Барема было бы право собственности на его Вычисления. Паскаль, за его теорию веса атмосферы, не был бы запатентован; вместо него привилегию барометра получил бы стекольщик. Я цитирую М. Араго:

Спустя две тысячи лет одному из наших соотечественников пришло в голову, что винт Архимеда, который используется для подъема воды, можно было бы использовать для нагнетания газов; достаточно, не внося никаких изменений, вращать его справа налево, вместо того чтобы вращать, как при подъеме воды, слева направо. Таким образом, большие объемы газа, насыщенного посторонними веществами, вытесняются в воду на большую глубину; газ очищается при повторном подъеме. Я утверждаю, что было изобретение; что человек, который нашел способ превратить винт Архимеда в выдувную машину, имел право на патент.

Что еще более удивительно, так это то, что сам Архимед, таким образом, был бы вынужден купить право использовать свой винт; и мсье Араго считает это справедливым.

Бесполезно умножать эти примеры: то, что закон намеревался монополизировать, - это, как я только что сказал, не идея, а факт; не изобретение, а занятие. Как будто идея не была категорией, которая включает в себя все факты, которые ее выражают; как будто метод, система не были обобщением опыта и, следовательно, тем, что в действительности составляет плод гения, — изобретением! Здешнее законодательство более чем антиэкономично, оно граничит с глупостью. Поэтому я имею право спросить законодателя, почему, несмотря на свободную конкуренцию, которая есть не что иное, как право применять теорию, принцип, метод, неприемлемую систему, он запрещает в определенных случаях ту же самую конкуренцию, это право применять принцип?" "Больше невозможно, - с полным основанием говорит мсье Ренуар, - подавлять конкурентов, объединяясь в корпорации и гильдии; потери компенсируются патентами". Почему законодатель приложил руку к этому заговору монополий, к этому запрету на теории, принадлежащие всем?

Но какой смысл постоянно задавать вопросы тому, кто ничего не может сказать? Законодатель не знал, в каком духе он действовал, когда применял это странное право собственности, которое, если быть точным, мы должны были бы назвать правом приоритета. Пусть он

объяснится, тогда, по крайней мере, относительно пунктов контракта, заключенного им от нашего имени с монополистами.

Я пропускаю мимо ушей часть, касающуюся дат и других административных и финансовых формальностей, и перехожу к этой статье:

Патент не гарантирует соответствие изобретению.

Несомненно, общество или правитель, который его представляет, не могут и не должны гарантировать изобретение, поскольку, предоставляя монополию на четырнадцать лет, общество становится приобретателем привилегии, и, следовательно, именно патентообладатель должен предоставить гарантию. Как же тогда законодатели могут с гордостью сказать своим избирателям: "Мы вели переговоры от вашего имени с изобретателем; он обязуется предоставить вам удовольствие от своего открытия при условии эксклюзивного использования в течение четырнадцати лет. Но мы не гарантируем изобретение"? На что же тогда вы опирались, законодатели? Как вы могли не увидеть, что, не имея гарантии на изобретение, вы уступили привилегию не реальному открытию, а возможному открытию, и что, таким образом, область промышленности была оставлена вами еще до того, как был найден плаг? Конечно, ваш долг велел вам быть благоразумными; но кто дал вам поручение быть обманутыми?

Таким образом, патент на изобретение - это даже не установление даты; это отказ от ожидания. Это как если бы закон сказал: "Я передаю землю первому арендатору, но без гарантии ее качества, местоположения или даже существования; даже не зная, должен ли я отказаться от нее или что она подпадает под сферу присвоения!" Хорошенькое использование законодательной власти!

Я знаю, что у закона были веские причины для воздержания; но я утверждаю, что у него также были веские причины для вмешательства. Доказательство:

"Это невозможно скрыть, - говорит мсье Ренуар, - этому нельзя помешать; патенты были и будут инструментами шарлатанства, а также законной наградой за труд и гениальность. ... Здравый смысл публики заключается в том, чтобы отдать должное жонглерству".

С таким же успехом можно сказать, что здравый смысл публики должен отличать настоящие лекарства от фальшивых, чистое вино от фальсифицированного; или же здравый смысл публики должен отличать в петлице награду, присужденную за заслуги, от награды, проданной посредственности и интриге. Почему же тогда вы называете себя Государством, Властью, Авторитетом, Полицией, если работа полиции должна выполняться здравым смыслом общества?

Как гласит пословица, тот, кто владеет землей, должен защищать ее; точно так же тот, кто обладает привилегиями, подвержен нападению.

Хорошо! как вы будете судить о подделке, если у вас нет гарантии? Напрасно они будут предлагать вам признание вины: при первом размещении, фактически сходство. Там, где реальность зависит от качества, не требовать гарантии - значит не предоставлять никаких прав ни на что, значит отнимать средства сравнения процессов и выявления подделки. В

промышленных процессах успех зависит от таких мелочей! Так вот, эти мелочи и составляют целое.

Из всего этого я делаю вывод, что закон о патентах на изобретения, необходимый с точки зрения его мотивов, невозможен — то есть нелогичен, произволен, губителен — в своей экономике. Под контролем определенных потребностей законодатель счел за лучшее, в общих интересах, предоставить привилегию на определенную вещь; и он обнаружил, что поставил под монополией чистую подпись, что он отказался от шансов, которые были у публики сделать открытие или что-то другое, подобное ему, что он пожертвовал правами конкурентов без компенсации и оставил добросовестность незащищенных потребителей в угоду жадности шарлатанов. Затем, чтобы ни в чем не упустить абсурдность контракта, он сказал тем, кого он должен гарантировать: "Гарантируйте себя сами!"

Я верю не больше, чем мсье Ренуар, что законодатели всех эпох и всех стран умышленно совершали грабеж, санкционируя различные монополии, которые являются ключевыми в общественной экономике. Но мсье Ренуар вполне мог бы также согласиться со мной в том, что законодатели всех эпох и всех стран никогда совершенно не понимали своих собственных постановлений. Слепоглухой мужчина однажды научился звонить в деревенские колокола и заводить деревенские часы. К счастью для него, когда он выполнял свои обязанности звонаря, ни шум колоколов, ни высота колокольни не вызывали у него головокружения. Законодатели всех эпох и всех стран, к которым я питаю, вместе с мсье Ренуаром, глубочайшее уважение, похожи на этого слепого и глухого человека; они - Рычаги в часовом механизме всех человеческих безумств.

Какое перо было бы на моей шляпе, если бы мне удалось заставить эти автоматы размышлять! если бы я мог заставить их понять, что их работа - это паутина Пенелопы, которую они обречены распутывать с одного конца так же быстро, как ткут с другого!

Таким образом, приветствуя создание патентов, по другим пунктам они требуют отмены привилегий, и всегда с той же гордостью, с тем же удовлетворением. М. Гораций Сэй желает, чтобы торговля мясом была свободной. Среди других причин он выдвигает такой строго математический аргумент:

Мясник, который хочет отойти от дел, ищет покупателя на свои инвестиции; он учитывает в счете свои инструменты, свой товар, свою репутацию и свои обычаи; но при нынешней системе он добавляет к этому стоимость простого титула, то есть права участвовать в монополии. Итак, этот дополнительный капитал, который мясник-покупатель отдает за титул, несет проценты; это не новое творение; эти проценты должны входить в цену его мяса. Следовательно, ограничение количества мясных лавок имеет тенденцию повышать цены на мясо, а не снижать их.

Я не побоюсь случайно заявить, что то, что я только что сказал о продаже мясного прилавка, применимо ко всем товарам, имеющим товарное название.

Доводы М. Горация Сэя в пользу отмены привилегии мясника неопровержимы; более того, они применимы к типографиям, нотариусам, адвокатам, судебным исполнителям, судебным клеркам, аукционистам, брокерам, торговцам акциями, аптекарям и другим лицам, а также к мясникам. Но они не уничтожают причин, которые привели к созданию этих монополий и которые обычно выводятся из необходимости обеспечения безопасности, подлинности и регулярности в бизнесе, а также из интересов коммерции и общественного здравоохранения.

Цель, говорите вы, не достигнута. Боже мой! Я знаю это: предоставьте мясное дело конкуренции, и вы будете есть падаль; установите монополию в мясном деле, и вы будете есть падаль. Это единственный плод, на который вы можете надеяться от вашего монопольного и патентного законодательства.

Злоупотребления! вопиют экономисты-защитники. Установите над торговлей надзорную полицию, сделайте обязательными торговые марки, наказывайте фальсификацию продуктов и т.д.

На пути, на который вступила цивилизация, в какую бы сторону мы ни повернули, мы всегда заканчиваемся либо деспотизмом монополии и, следовательно, угнетением потребителей, либо уничтожением привилегий действиями полиции, что означает откат назад в экономике и разложение общества путем уничтожения свободы. Чудесная вещь! в этой системе свободной промышленности злоупотребления, подобные вшам, порождаются их собственными средствами правовой защиты, и если законодатель попытается пресечь все правонарушения, быть настороже против любого мошенничества и обезопасить людей, собственность и общественное благосостояние от любых посягательств, переходя от реформы к реформе, он в конце концов так умножит непроизводительные функции, что ими будет занята вся нация, и в конце концов некому будет производить. Каждый был бы полицейским; промышленный класс превратился бы в миф. Тогда, возможно, в монополии воцарился бы порядок.

"Принцип закона, который еще предстоит принять в отношении товарных знаков, - говорит М. Ренуар, - заключается в том, что эти знаки не могут и не должны быть преобразованы в гарантии качества".

Это следствие патентного права, которое, как мы видели, не гарантирует изобретение. Примите принцип М. Ренуара; какое применение после этого получают знаки? Какое для меня значение имеет прочесть на пробке бутылки, вместо ДВЕНАДЦАТИЦЕНТОВОГО или ПЯТНАДЦАТИЦЕНТОВОГО ВИНА, "КОМПАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВИНА" или название любого другого концерна, которое вы пожелаете? Меня волнует не имя продавца, а качество и справедливая цена товара.

Название производителя, правда, должно служить кратким признаком хорошего или плохого производства, высшего или низшего качества. Тогда почему бы откровенно не присоединиться к тем, кто спрашивает, помимо знака ПРОИСХОЖДЕНИЯ, знак, имеющий значение для чего-либо? Такая оговорка непонятна. Два вида знаков имеют одно и то же назначение; второй - это всего лишь утверждение или перефразирование первого, сжатие коммерческого проспекта; почему, опять же, если происхождение что-то означает, знак не должен определять это значение?

М. Воловский очень четко развил этот аргумент в своей вступительной лекции 1843-1844 годов, суть которой полностью заключается в следующей аналогии:

Точно так же, как правительству удалось установить стандарт КОЛИЧЕСТВА, оно может и должно установить стандарт КАЧЕСТВА; один из этих стандартов является необходимым дополнением другого. Денежная единица, система мер и весов не посягали на промышленную свободу; система торговых марок также не нанесла бы им ущерба.

Таким образом, М. Воловски опирается на авторитет князей науки, А. Смита и Дж. Б. Сэя, — предосторожность, всегда полезная для слушателей, которые склоняются перед авторитетом гораздо больше, чем перед разумом.

Я заявляю, со своей стороны, что полностью разделяю идею М. Воловски и по той причине, что нахожу ее глубоко революционной. Торговая марка, будучи, по словам М. Выражение Воловски "не что иное, как стандарт качеств" в моих глазах эквивалентно общему графику цен. Ибо, независимо от того, маркирует ли конкретная администрация от имени государства и гарантирует ли качество товара, как в случае с золотом и серебром, или вопрос маркировки остается на усмотрение производителя, с того момента, как знак должен отражать **ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ТОВАРА** (это собственные слова М. Воловски) И **ГАРАНТИРОВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ЛЮБЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ**, он обязательно сводится к фиксированной цене. Это не то же самое, что цена; два похожих продукта, но отличающихся по происхождению и качеству, могут иметь равную ценность, как бутылка бургундского может стоить бутылку бордо; но знак, будучи значительным, позволяет точно узнать цену, поскольку он дает анализ. Рассчитать цену товарного знака - значит разложить его на составные части; так вот, это именно то, что должен делать товарный знак, если он предназначен для обозначения чего-либо. Таким образом, мы находимся на пути, как я уже сказал, к общему планированию цен.

Но общее установление цен есть не что иное, как определение всех ценностей, и здесь политическая экономия снова вступает в противоречие со своими собственными принципами и тенденциями. К сожалению, чтобы реализовать реформу М. Воловски, необходимо начать с разрешения всех предыдущих противоречий и выйти на более высокую сферу объединения; и именно отсутствие решения обрушило на систему М. Воловски осуждение большинства его коллег-экономистов.

Фактически, система торговых марок неприменима при существующем порядке, потому что эта система, противоречащая интересам производителей и противоречащая их привычкам, может поддерживаться только энергичной волей власти. Предположим на мгновение, что администрации поручено проставлять знаки; ее агентам придется постоянно вмешиваться в работу производства, как это происходит в ликеро-водочном бизнесе и производстве пива; более того, эти агенты, чьи функции кажутся уже такими навязчивыми и раздражающими, имеют дело только с облагаемыми налогом количествами, а не с меняемыми качествами. Эти органы финансового надзора и инспекторы должны будут провести свое расследование во всех деталях, чтобы пресечь и предотвратить мошенничество; и какое мошенничество? Законодатель определит это либо неправильно, либо вообще не определит; именно на этом этапе задача становится ужасающей.

Нет никакого мошенничества в продаже вина самого низкого качества, но есть мошенничество в выдаче одного качества за другое; тогда вы обязаны различать качества вин и, следовательно, гарантировать их. Является ли смешивание вин мошенничеством? Шапталъ в своем трактате об искусстве изготовления вина рекомендует это как в высшей степени полезное средство; с другой стороны, опыт доказывает, что определенные вина, в некотором роде антагонистичные друг другу или несовместимые, при смешивании дают неприятный и вредный для здоровья напиток. Затем вы обязаны сказать, какие вина можно с пользой смешивать, а какие нельзя. Является ли ароматизация, алкоголизация и разбавление вина водой мошенничеством? Шапталъ также рекомендует это; и все знают, что такое употребление наркотиков дает иногда

благоприятные результаты, иногда пагубные и отвратительные эффекты. Какие вещества вы будете запрещать? В каких случаях? В какой пропорции? Будете ли вы запрещать цикорий в кофе, глюкозу в пиве, воде, сидре и три-шесть граммов алкоголя в вине?

Палата депутатов, предприняв грубую попытку принять закон, который ей было угодно принять в этом году относительно фальсификации вин, остановилась в самой середине своей работы, пораженная неразрешимыми трудностями этого вопроса. Ему удалось объявить, что добавление воды в вино и алкоголя в количестве, превышающем восемнадцать процентов, было мошенничеством, и отнести это мошенничество к категории правонарушений. Это было на почве идеологии; там никто никогда не встречает препятствий. Но все видели, что в этом удвоении строгости казначейство заинтересовано гораздо больше, чем потребитель; палата не осмелилась создать целую армию дегустаторов, инспекторов и т.д., Чтобы следить за мошенничеством и выявлять его, и, таким образом, нагрузить бюджет несколькими дополнительными миллионами; запретив разбавление и алкоголизацию, единственное средство, оставшееся у торговцев-производителей, сделать вино доступным для всех и получать прибыль, ей не удалось увеличить рынок за счет сокращения производства. Одним словом, палата, преследуя фальсификацию вин, просто раздвинула границы мошенничества. Чтобы его работа достигла своей цели, сначала нужно было бы показать, как возможна торговля спиртными напитками без фальсификации и как люди могут покупать чистое вино, что выходит за рамки компетенции Палаты.

Если вы хотите гарантировать потребителю как ценность, так и полезность для здоровья, вы вынуждены знать и определять все, что составляет качественную и честную продукцию, постоянно следовать по пятам за производителем и направлять его на каждом шагу. Он больше не производит; вы, государство, являетесь настоящим производителем.

Таким образом, вы оказываетесь в ловушке. Либо вы препятствуете свободе торговли, тысячью способов вмешиваясь в производство, либо объявляете себя единственным производителем и коммерсантом.

В первом случае, раздражая всех, вы в конце концов заставите всех взбунтоваться; и рано или поздно государство будет изгнано, торговые марки будут отменены. Во втором случае вы повсюду заменяете действие власти индивидуальной инициативой, что противоречит принципам политической экономии и устройству общества. Придерживаетесь ли вы среднего пути? Это благосклонность, кумовство, лицемерие, худшая из систем.

Предположим теперь, что маркировку следует оставить производителю. Я утверждаю, что тогда маркировки, даже если они станут обязательными, постепенно утратят свое ЗНАЧЕНИЕ и в конце концов станут всего лишь доказательствами ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Тот, кто мало знает о коммерции, воображает, что торговец, глава производственного предприятия, использующий процессы, которые не подлежат патентованию, выдаст секрет своей отрасли, своей прибыли, своего существования. Тогда значение будет иллюзией; не во власти полиции изменить это. Римские императоры, чтобы обнаружить христиан, которые скрывали свою религию, обязывали всех приносить жертвы идолам. Они сделали отступников и мучеников; и число христиан только увеличилось. Аналогичным образом, значительные отметки, полезные некоторым домам, породят бесчисленные мошенничества и репрессии; это все, чего от них можно ожидать. Чтобы побудить производителя откровенно указать на внутренний состав — то есть промышленную и коммерческую ценность — своего товара, необходимо освободить его от опасностей

конкуренции и удовлетворить его монополистические инстинкты: вы можете это сделать? Далее, необходимо заинтересовать потребителя в пресечении мошенничества, которое, пока производитель не является совершенно бескорыстным, одновременно невозможно и противоречиво. Невозможно: поместите с одной стороны развращенного потребителя, Китай; с другой - отчаявшегося торговца, Англию; между ними ядовитый наркотик, вызывающий возбуждение и опьянение; и, несмотря на всю полицию в мире, вы будете торговать опиумом. Противоречие: в обществе потребитель и производитель — это одно целое, то есть оба заинтересованы в производстве того, что им вредно потреблять; и поскольку в случае каждого потребления следует за производством и продажей, все объединятся для защиты первого интереса, предоставив каждому самому защищаться от второго.

Мысль, побудившая к созданию товарных знаков, носит тот же характер, что и та, которая раньше вдохновляла на создание законов максимума. Здесь снова одно из бесчисленных перекрестков политической экономии.

Бесспорно, что максимальные законы, хотя и принимались и поддерживались их авторами исключительно для борьбы с голодом, неизменно приводили к его усугублению. Соответственно, экономисты обвиняют эти отвратительные законы не в несправедливости или злобе, а в глупости, нецелесообразности. Но какое противоречие в теории, с которой они их противопоставляют!

Чтобы унять голод, необходимо раздобыть провизию или, лучше сказать, извлечь ее на свет божий; пока что упрекнуть не в чем. Чтобы обеспечить поставку провизии, необходимо привлечь владельцев прибылью, возбудить их конкуренцию и обеспечить им полную свободу на рынке: не кажется ли вам этот процесс абсурднейшей гомеопатией? Как получается, что чем легче меня обложат налогом, тем скорее я буду обеспечен? Оставьте в покое, говорят они, оставьте в покое; позвольте конкуренции и монополии действовать, особенно во времена голода, и даже несмотря на то, что голод является следствием конкуренции и монополии. Какая логика! но, прежде всего, какая мораль!

Но почему же тогда не должно быть тарифа как для фермеров, так и для пекарей? Почему бы не создать регистрацию посева, сбора урожая, сбора винограда, пастбищ и поголовья скота, а также штамп для газет, циркуляров и распоряжений или администрацию для пивоваров и виноторговцев? При монопольной системе это было бы, я признаю, увеличением мучений; но с нашими тенденциями к несправедливости в торговле и склонностью власти постоянно увеличивать свой персонал и бюджет, закон инквизиции в отношении урожая становится с каждым днем все более необходимым.

Кроме того, было бы трудно сказать, что приносит больше зла во время голода - свободная торговля или максимальный уровень.

Но какой бы курс вы ни выбрали — а альтернативы вам не избежать, — обман неизбежен, а катастрофа огромна. Когда товаров становится как можно больше, их пытаются спрятать; ужас усиливается от самого действия закона, цены на продукты растут и растут; вскоре обращение прекращается, и наступает катастрофа, быстрая и безжалостная, как банда грабителей. В условиях конкуренции распространение этого бедствия замедляется, но не становится менее фатальным: сколько смертей от истощения или голода до того, как высокие цены привлекут продовольствие на рынок! сколько жертв вымогательства после того, как оно поступит! Это

история о короле, которому Бог в наказание за его гордыню предложил альтернативу - трехдневную эпидемию, трехмесячный голод или трехлетнюю войну. Дэвид выбрал самый короткий; экономисты предпочитают самый длинный. Человек настолько несчастен, что скорее умер бы от чахотки, чем от апоплексического удара; ему кажется, что он умирает не так часто. Именно по этой причине недостатки максимума и преимущества свободной торговли были так сильно преувеличены.

В остальном, если Франция за последние двадцать пять лет не испытала всеобщего голода, причина не в свободе торговли, которая очень хорошо знает, когда пожелает, как создать дефицит среди изобилия и как заставить голод восторжествовать в лоне изобилия; дело в улучшении методов сообщения, которые, сокращая расстояния, вскоре восстанавливают равновесие, нарушенное на мгновение местной нищетой. Поразительный пример той печальной истины, что в обществе общее благосостояние никогда не является результатом заговора индивидуальных желаний!

Чем дальше мы углубляемся в эту систему иллюзорных компромиссов между монополией и обществом, — то есть, как мы объяснили в % 1 этой главы, между капиталом и трудом, между патрициатом и пролетариатом, — тем больше мы обнаруживаем, что все это предвидится, регулируется и выполняется в соответствии с этой адской максимой, с которой Гоббс и Макиавель, эти теоретики деспотизма, были незнакомы: ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ НАРОДОМ ПРОТИВ НАРОДА. В то время как труд производит, капитал под маской ложной плодовитости наслаждается и злоупотребляет; законодатель, предлагая свое посредничество, думал призвать привилегированный класс к братским чувствам и окружить рабочего гарантиями; и теперь он обнаруживает, из-за фатального противоречия интересов, что каждая из этих гарантий является орудием пытки. Потребовалась бы сотня томов, жизнь десяти человек и железное сердце, чтобы описать с этой точки зрения преступления государства по отношению к бедным и бесконечное разнообразие его пыток. Беглого взгляда на основные классы полиции будет достаточно, чтобы мы могли оценить ее дух и экономию.

После того как мы посеяли смуту во всех умах из-за путаницы гражданских, торговых и административных законов, сделали идею справедливости более неясной из-за умножения противоречий и сделали необходимым целый класс толкователей для объяснения этой системы, было признано необходимым также организовать пресечение преступлений и предусмотреть наказание за них. Уголовное правосудие, этот особенно богатый орден великой семьи производителей, содержание которого ежегодно обходится Франции более чем в шесть миллионов долларов, стало для общества принципом существования, столь же необходимым, как хлеб для жизни человека; но с той разницей, что человек живет продуктом своих рук, в то время как общество пожирает своих членов и питается собственной плотью.

Некоторые экономисты подсчитали, что существует,

В Лондоне . . 1 преступник на каждые 89 жителей.

В Ливерпуле . . 1 " " " 45 "

В Ньюкасле . . 1 " " " 27 "

Но этим цифрам недостает точности, и, какими бы ужасающими они ни казались, они не отражают реальную степень социальных извращений, вызванных деятельностью полиции.

Здесь мы должны определить не только количество признанных преступников, но и количество преступлений. Работа уголовных судов - это лишь особый механизм, который служит для облегчения морального разрушения человечества в условиях монопольной системы; но эта официальная демонстрация далека от того, чтобы охватить все масштабы зла. Вот другие цифры, которые приведут нас к более определенному приближению.

Полицейские суды Парижа постановили,

В 1835 году. . . . из 106 467 случаев.

В 1836 году " 128 489 "

В 1837 году " 140 247 "

Предположим, что такой темп роста продолжался до 1846 года, и к этому общему количеству правонарушений добавятся дела уголовных судов, простые дела, которые не идут дальше полиции, и все преступления, неизвестные или оставшиеся безнаказанными, — преступления, намного превосходящие по количеству, как говорят магистраты, те, до которых доходит правосудие, — мы придем к выводу, что за один год в городе Париже совершается больше нарушений закона, чем жителей. И поскольку необходимо вычесть из числа предполагаемых авторов этих нарушений детей в возрасте до семи лет, которые находятся за пределами вины, цифры покажут, что каждый взрослый гражданин виновен три или четыре раза в год в нарушении установленного порядка.

Таким образом, система собственности в Париже поддерживается только за счет ежегодного совершения одного или двух миллионов правонарушений! Теперь, хотя все эти преступления должны быть делом рук одного человека, аргумент все равно остается в силе: этот человек будет козлом отпущения, обремененным грехами Израиля: какое значение имеет число виновных, при условии, что правосудие зависит от обстоятельств?

Насилие, лжесвидетельство, грабеж, мошенничество, неуважение к людям и обществу в такой степени составляют сущность монополии; они вытекают из нее так естественно, с такой совершенной регулярностью и в соответствии со столь определенными законами, что можно подвергнуть их совершению подсчету и, учитывая численность населения, состояние его промышленности и стадию его просвещения, строго вывести из этого статистику его нравственности. Экономисты еще не знают, что такое принцип ценности, но они знают, с точностью до нескольких десятичных знаков, соразмерность преступлений. Так много тысяч душ, так много злоумышленников, так много осуждений: в этом не может быть ошибки. Это одно из самых прекрасных применений теории шансов и самая передовая отрасль экономической науки. Если бы социализм изобрел эту обвиняющую теорию, весь мир закричал бы о клевете.

Но, в конце концов, что в этом такого, что должно нас удивлять? Как нищета является необходимым результатом противоречий общества, результатом, который можно определить математически, исходя из нормы процента, уровня заработной платы и преобладающих рыночных цен, так преступления и мелкие правонарушения являются другим следствием того же антагонизма, который, как и его причина, поддается количественной оценке. Материалисты сделали глупейшие выводы из этого подчинения свободы законам чисел: как будто человек не находится под влиянием всего, что его окружает, и как будто, поскольку все, что его окружает,

управляется неумолимыми законами, он не должен испытывать, в своих самых свободных проявлениях, реакцию этих законов!

Тот же характер необходимости, на который мы только что указали при установлении и поддержании уголовного правосудия, обнаруживается, но в более метафизическом аспекте, в его морали.

По мнению всех моралистов, наказание должно быть таким, чтобы обеспечить исправление преступника и, следовательно, избавить его от всего, что могло бы вызвать его деградацию. Я далек от того, чтобы бороться с этой благословенной тенденцией умов и принижать попытки, которые составили бы славу величайших людей древности. Филантропия, несмотря на насмешки, которые иногда сопровождают ее название, останется в глазах потомков самой почетной характеристикой нашего времени: отмена смертной казни, которая просто отложена; отмена клейма; исследования, касающиеся воздействия клеточной системы; создание мастерских в тюрьмах; и множество других реформ, которые я не могу даже назвать, — свидетельствуют о реальном прогрессе в наших идеях и в нашей морали. То, что автор христианства в порыве возвышенной любви рассказал о своем мистическом царстве, где раскаявшийся грешник должен был быть прославлен выше праведника и невинного человека, — эта утопия христианского милосердия стала стремлением нашего скептического общества; и когда кто-то думает о единодушии чувств, которое преобладает по отношению к ней, он с удивлением спрашивает себя, кто же тогда мешает осуществлению этого стремления.

Увы! это потому, что разум все еще сильнее любви, а логика упорнее преступления; это потому, что здесь, как и везде в нашей цивилизации, царит неразрешимое противоречие. Давайте не будем блуждать в фантастических мирах; давайте обнимем реальный мир во всей его пугающей наготе.

Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud,[27]

гласит пословица. Тот простой факт, что человек наказан, при условии, что он этого заслуживал, унижает его: наказание делает его позорным не в силу определения кодекса, а по причине вины, повлекшей за собой наказание. Какое значение тогда имеет материальность наказания? какое значение имеют все ваши пенитенциарные системы? То, что вы делаете, - это удовлетворение своих чувств, но бессильно реабилитировать несчастных, которых поражает ваше правосудие. Виновный человек, однажды клейменый наказанием, неспособен к примирению; его пятно несмываемо, а проклятие - вечно. Если бы было возможно иное, наказание перестало бы быть пропорциональным совершенному преступлению; это было бы не более чем фикцией, это было бы ничем. Тот, кого нищета привела к воровству, если он позволяет себе попасть в руки правосудия, навсегда остается врагом Бога и людей; для него лучше бы никогда не родиться; это сказал Иисус Христос: "Благо тебе, си натус нон фюиссе человек злой". И то, что провозгласил Иисус Христос, христиане и неверующие не оспаривают: непоправимость стыда - единственное из всех откровений Евангелия, которое понял собственнический мир. Итак, отделенный от природы монополией, отрезанный от человечества нищетой, матерью преступлений и их наказанием, какое убежище остается для плебея, которого труд не может прокормить и который недостаточно силен, чтобы воспользоваться им?

[27] Преступление вызывает позор, а не эшафот. —Переводчик.

Для ведения этой наступательной и оборонительной войны против пролетариата была необходима общественная сила: исполнительная власть выросла из потребностей гражданского законодательства, администрации и правосудия. И снова самые прекрасные надежды сменились горькими разочарованиями.

Как законодатель, как бургомистр и как судья, принц провозгласил себя представителем божественной власти. Защитник бедных, вдов и сирот, он пообещал добиться того, чтобы вокруг трона воцарились свобода и равенство, прийти на помощь трудящимся и прислушаться к голосу народа. И люди с любовью отдались в объятия власти; и когда опыт заставил их почувствовать, что власть была против них, вместо того, чтобы обвинять институт, они стали обвинять князя, никогда не желая понимать, что, поскольку князь по своей природе и предназначению является главой производителей и величайшим из монополистов, для него было невозможно, вопреки его воле, встать на защиту народа.

Любая критика, будь то формы правления или актов, заканчивается этим существенным противоречием. И когда самозванные теоретики суверенитета народа притворяются, что средство от тирании власти состоит в том, чтобы заставить ее исходить из народного избирательного права, они просто вертятся, как белка в колесе, в своей клетке. Ибо с того момента, как сохраняются существенные условия власти, то есть авторитет, собственность, иерархия, избирательное право народа есть не что иное, как согласие народа на свое угнетение, что является глупейшим шарлатанством.

В системе власти, независимо от ее происхождения, монархической или демократической, власть является благородным органом общества; благодаря ей общество живет и движется; от нее исходит вся инициатива; порядок и совершенство - полностью ее работа. Напротив, согласно определениям экономической науки — определениям, которые согласуются с реальностью вещей, — власть - это ряд производителей, которых социальная организация должна стремиться бесконечно сокращать. Как же тогда, при столь дорогом демократам принципе авторитета, воплотиться в жизнь стремление политической экономии, стремление, которое является также стремлением народа? Как правительство, которое, согласно гипотезе, является всем, может стать послушным слугой, подчиненным органом? Почему принц должен был получить власть только для того, чтобы ослабить ее, и почему он должен стремиться к порядку, к своему собственному устранению? Почему бы ему скорее не попытаться укрепить себя, увеличить число своих придворных, постоянно получать новые субсидии и, наконец, освободиться от зависимости от народа, что является неизбежной целью любой власти, исходящей от народа?

Говорится, что народ, назначая своих законодателей и через них доводя свою волю до сведения власти, всегда будет в состоянии остановить ее вторжения; что таким образом народ будет выполнять одновременно роль принца и суверена. Такова, одним словом, утопия демократов, вечная мистификация, с помощью которой они оскорбляют пролетариат.

Но будут ли люди издавать законы против власти; против принципа авторитета и иерархии, на которых основано общество; против свободы и собственности? Согласно нашей гипотезе, это более чем невозможно, это противоречиво. Тогда собственность, монополия, конкуренция, промышленные привилегии, неравенство состояний, преобладание капитала, иерархическая и сокрушительная централизация, административный гнет, юридический абсолютизм будут сохранены; и, поскольку правительство не может не действовать в соответствии со своим

принципом, капитал останется таким же, как и перед богом общества, а люди, все еще эксплуатируемые, все еще деградирующие, своей попыткой добиться суверенитета получат лишь демонстрацию своего бессилия.

Напрасно сторонники власти, все эти династико-республиканские доктринеры, которые похожи друг на друга во всем, кроме тактики, льстят себя надеждой, что, получив контроль над делами, они начнут реформы повсюду. Реформировать что?

Реформировать конституцию? Это невозможно. Хотя вся нация должна войти в конституционный конвент, она не покинет его до тех пор, пока либо не проголосует за свое рабство в другой форме, либо не издаст указ о его роспуске.

Реконструировать кодекс, работу императора, чистую сущность римского права и обычаев? Это невозможно. Что вы можете поставить на место вашей собственнической рутины, за пределами которой вы ничего не видите и не понимаете? на место ваших законов монополии, границы круга которых ваше воображение бессильно переступить? Более полувека назад королевская власть и демократия, эти две сивиллы, которые древний мир завещал нам, предприняли конституционный компромисс для согласования своих оракулов; поскольку мудрость правителя оказалась в унисон с голосом народа, какое откровение последовало? какой принцип порядка был открыт? на какой вопрос из лабиринта привилегий указали? До того, как принц и народ подписали этот странный компромисс, в чем их идеи не были схожи? и теперь, когда каждый пытается разорвать контракт, в чем же они отличаются?

Уменьшить общественное бремя, взимать налоги на более справедливой основе? Это невозможно: в казну, как и в армию, человек из народа всегда предоставит больше, чем его контингент.

Регулировать монополию, обуздывать конкуренцию? Это невозможно; вы убьете производство.

Открывать новые рынки? Это невозможно.[28]

Организовать кредит? Это невозможно.[29]

Атаковать наследственность? Это невозможно.[30]

[28] См. том II., глава IX. [29] Там же., глава X. [30] Там же., глава XI.

Создавать национальные мастерские, обеспечивать минимум безработным рабочим и выделять наемным работникам долю прибыли? Это невозможно. В природе правительства иметь дело с рабочей силой только для того, чтобы сковать рабочих, подобно тому, как оно имеет дело с продуктами только для того, чтобы взимать свою десятину.

Устранить с помощью системы компенсаций катастрофические последствия работы оборудования? Это невозможно.

Бороться по правилам с унижающим влиянием парцеллярного подразделения? Это невозможно.

Заставить людей пользоваться преимуществами образования? Это невозможно.

Устанавливать тарифы на цены и заработную плату и устанавливать ценность вещей суверенной властью? Это невозможно, это невозможно.

Из всех реформ, которых требует общество в своем бедственном положении, ни одна не входит в компетенцию власти; ни одна не может быть реализована ею, потому что сущность власти всем им противна, и человеку не дано объединить то, что разделил Бог.

По крайней мере, скажут сторонники правительственной инициативы, вы признаете, что в осуществлении революции, обещанной развитием антиномий, власть была бы мощным вспомогательным средством. Почему же тогда вы выступаете против реформы, которая, передавая власть в руки народа, так хорошо поддержала бы ваши взгляды? Социальная реформа - это цель; политическая реформа - это инструмент: почему, если вы стремитесь к цели, вы отвергаете средства?

Таковы сегодня рассуждения всей демократической прессы, которую я от всего сердца прощаю за то, что она, наконец, этим квазисоциалистическим исповеданием веры сама провозгласила пустоту своих теорий. Таким образом, именно во имя науки демократия призывает к политической реформе в качестве предварительной перед социальной реформой. Но наука протестует против этой уловки как против оскорбления; наука отвергает любой союз с политикой и, весьма далекая от того, чтобы ожидать от нее малейшей помощи, должна начать с политики свою работу по исключению.

Как мало сходства между человеческим разумом и истиной! Когда я вижу демократию, еще вчера социалистическую, постоянно просящую капитал для борьбы с влиянием капитала; для богатства, чтобы излечить бедность; для отказа от свободы, чтобы организовать свободу; для реформирования правительства, чтобы реформировать общество, — когда я вижу это, говорю я, берущее на себя ответственность за общество, при условии, что социальные вопросы будут отложены в сторону или решены, мне кажется, что я слушаю гадалку, которая, прежде чем ответить на вопросы тех, кто к ней обращается, начинает с выяснения их возраста, их положения, их семьи, состояния здоровья. и все несчастные случаи в их жизни. Несчастливая волшебница, если ты знаешь будущее, то ты знаешь, кто я и чего хочу; зачем ты просишь меня рассказать тебе?

Точно так же я отвечу демократам: если вы знаете, как следует использовать власть, и если вы знаете, как она должна быть организована, вы владеете экономической наукой. Итак, если вы владеете экономической наукой, если у вас есть ключ к ее противоречиям, если вы в состоянии организовать труд, если вы изучили законы обмена, вам не нужен капитал нации или общественная сила. С этого дня вы могущественнее денег, сильнее власти. Ибо, поскольку рабочие на вашей стороне, только благодаря этому факту вы являетесь хозяевами производства; вы держите в цепях торговлю, мануфактуры и сельское хозяйство; в вашем распоряжении весь общественный капитал; вы полностью контролируете налогообложение; вы блокируете колеса власти, и попираете монополию. О какой другой инициативе, о каком большем авторитете вы спрашиваете? Что мешает вам применять ваши теории?

Конечно, не политическая экономия, хотя ей обычно следуют и она признана: поскольку все в политической экономии имеет истинную и ложную стороны, ваша единственная проблема состоит в том, чтобы объединить экономические элементы таким образом, чтобы их совокупность больше не представляла противоречия.

И это не гражданское право: ибо этот закон, санкционирующий экономическую рутину исключительно из-за ее преимуществ и вопреки ее недостаткам, подвержен, как и сама политическая экономия, всем требованиям точного синтеза и, следовательно, максимально благоприятен для вас.

Наконец, это не власть, которая, являясь последним выражением антагонизма и созданная только для защиты закона, может встать на вашем пути, только отказавшись от самой себя.

Тогда еще раз, что же вас останавливает?

Если вы владеете социальными науками, вы знаете, что проблема ассоциации заключается в организации не только НЕПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - в этом направлении, слава богу! мало что еще предстоит сделать, но также и ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, и этой организации, подчиняющей капитал и власть. Такова война, которую вы должны вести: война труда против капитала; война свободы против власти; война производителя против непроизводителя; война равенства против привилегий. То, о чем вы просите, чтобы довести войну до успешного завершения, - это именно то, с чем вы должны бороться. Теперь, чтобы бороться с властью и ослаблять ее, чтобы поставить ее на надлежащее место в обществе, бесполезно менять носителей власти или вносить какие-то изменения в ее работу: необходимо найти комбинацию сельского хозяйства и промышленности, посредством которой власть, сегодня правящая обществом, станет его рабыней. Знаете ли вы секрет этой комбинации?

Но что я должен сказать? Это как раз то, с чем вы не согласны. Поскольку вы не можете представить себе общество без иерархии, вы сделали себя апостолами власти; поклонники власти, вы думаете только об ее укреплении и ограничении свободы; ваша любимая максима состоит в том, что благосостояние народа должно быть достигнуто вопреки народу; вместо того, чтобы приступить к социальной реформе путем уничтожения власти и политики, вы настаиваете на восстановлении власти и политики. Затем, посредством ряда противоречий, которые доказывают вашу искренность, но иллюзорный характер которых хорошо известен настоящим друзьям власти, аристократам и монархистам, вашим конкурентам, вы обещаете нам, во имя власти, экономию в расходах, справедливую оценку налогов, защиту труда, бесплатное образование, всеобщее избирательное право и все утопии, противные власти и собственности. Следовательно, власть в ваших руках всегда была только разорительной, и вот почему вы никогда не могли удержать ее; вот почему Восемнадцатого Брюмера [31] четырех человек было достаточно, чтобы отнять ее у вас, и вот почему сегодня буржуазия, которая так же любит власть, как и вы, и которая хочет сильной власти, не вернет ее вам.

[31] Дата наполеоновского государственного переворота, согласно революционному календарю.

Таким образом, власть, инструмент коллективной мощи, созданный в обществе для того, чтобы служить посредником между трудом и привилегиями, неизбежно оказывается прикованной к капиталу и направленной против пролетариата. Никакая политическая реформа не может разрешить это противоречие, поскольку, по признанию самих политиков, такая реформа привела бы только к увеличению энергии и расширению сферы власти, и поскольку власть не знала бы способа коснуться прерогатив монополии без опрокидывания иерархии и разложения общества. Таким образом, проблема, стоящая перед трудящимися классами, состоит не в захвате, а в подчинении как власти, так и монополии, — то есть в порождении из недр народа,

из недр труда большей власти, более могущественного факта, который окутает капитал и государство и подчинит их. Каждое предложение о реформе, которое не удовлетворяет этому условию, является просто еще одним бичом, розгой, несущей караульную службу, *virgam vigilantem*, как сказал пророк, которая угрожает пролетариату.

Венцом этой системы является религия. У меня нет возможности касаться здесь философской ценности религиозных мнений, излагать их историю или искать их интерпретацию. Я ограничусь рассмотрением экономического происхождения религии, тайных уз, связывающих ее с полицией, места, которое она занимает в ряду социальных проявлений.

Человек, отчаявшись найти равновесие своих сил, как бы выпрыгивает за пределы самого себя и ищет в бесконечности ту суверенную гармонию, реализация которой является для него высшей степенью разума, могущества и счастья. Не в силах прийти в гармонию с самим собой, он преклоняет колени перед Богом и молится. Он молится, и его молитва, гимн, воспетый Богу, является богохульством против общества.

Это от Бога, говорит себе человек, власть и могущество приходят ко мне: тогда давайте повиноваться Богу и князю. *Obedite Deo et principibus*. Закон и справедливость приходят ко мне именно от Бога. *Per me reges regnant et potentes decernunt justitiam*. Давайте уважать приказы законодателя и магистрата. Именно Бог управляет процветанием труда, создает и разрушает состояния: да будет исполнена его воля! *Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum*. Это Бог наказывает меня, когда меня пожирает несчастье, и когда меня преследуют за праведность: давайте с уважением примем бичи, которые его милосердие применяет для нашего очищения. *Humiliamini igitur sub potenti manu Dei*. Эта жизнь, которую дал мне Бог, - всего лишь испытание, которое ведет меня к спасению: давайте избегать удовольствий; давайте любить и навлекать на себя боль; давайте находить удовольствие в покаянии. Печаль, которая исходит от несправедливости, - это милость свыше; блаженны скорбящие! *Beati qui lugent! . . .* *Haec est enim gratia, si quis sustinet tristitias, patiens injuste*.

Столетие назад миссионер, проповедовавший перед аудиторией, состоящей из финансистов и вельмож, отдал должное этой отвратительной морали. "Что я сделал?" он плакал. "Я опечалил бедных, лучших друзей моего Бога! Я проповедовал суровость покаяния несчастным, которые нуждаются в хлебе насущном! Именно здесь, где мой взгляд падает только на могущественных и богатых, на угнетателей страдающего человечества, я должен провозгласить слово Божье во всей силе его грома!"

Давайте, тем не менее, признаем, что теория смирения сослужила обществу службу, предотвратив бунт. Религия, освящающая божественным правом незыблемость власти и привилегий, дала человечеству силы продолжить свой путь и исчерпать свои противоречия. Без этой повязки, брошенной на глаза людей, общество распалось бы в тысячу раз. Кто-то должен был пострадать, чтобы это можно было вылечить; и религия, утешительница страждущих, решила, что это должен быть бедняга. Именно это страдание привело нас к нашему нынешнему положению; цивилизация, обязанная всеми своими чудесами рабочему, обязана также его добровольной жертве своим будущим и своим существованием. *Oblatus est quia ipse voluit, et livore ejus sanati sumus*.

О народ тружеников! лишенный наследства, преследуемый, объявленный вне закона народ! люди, которых сажают в тюрьму, судят и убивают! презираемые люди, клейменые люди!

Разве вы не знаете, что есть конец даже терпению, даже преданности? Неужели вы не перестанете прислушиваться к тем проповедникам мистицизма, которые советуют вам молиться и ждать, проповедуя спасение то через религию, то через силу, и чьи страстные и звучные слова пленяют вас? Ваша судьба - это загадка, которую не могут разгадать ни физическая сила, ни мужество души, ни вспышки энтузиазма, ни возвышенность каких-либо чувств. Те, кто говорит вам обратное, обманывают вас, и все их рассуждения служат только для того, чтобы отсрочить час вашего освобождения, который сейчас готов пробить. Что такое энтузиазм и sentimentalность, что такое тщеславная поэзия, когда сталкиваешься с необходимостью? Для преодоления необходимости нет ничего, кроме самой необходимости, последней причины природы, чистой сущности материи и духа.

Таким образом, противоречие ценности, порожденное необходимостью свободной воли, должно быть преодолено пропорциональностью ценности, другой необходимостью, порождаемой союзом свободы и разума. Но для того, чтобы эта победа разумного и свободного труда привела ко всем своим последствиям, необходимо было, чтобы общество прошло через долгую череду мучений.

Было необходимо, чтобы труд, чтобы увеличить его силу, был разделен; и вследствие этого разделения было необходимо, чтобы рабочий был унижен и обнищал.

Было необходимо, чтобы это первоначальное разделение было реконструировано с помощью научных инструментов и комбинаций; и вследствие этой реконструкции было необходимо, чтобы подчиненный рабочий потерял вместе со своей законной заработной платой даже работу в отрасли, которая его поддерживала.

Было необходимо, чтобы затем вмешалась конкуренция, чтобы освободить свободу, находящуюся на грани гибели; и необходимо, чтобы это освобождение закончилось массовым уничтожением рабочих.

Было необходимо, чтобы производитель, облагороженный своим искусством, как прежде воин облагораживался оружием, высоко поднял свое знамя, чтобы доблесть человека могла быть почитаема как в труде, так и на войне; и потребность в привилегиях должна была немедленно породить пролетариат.

Тогда было необходимо, чтобы общество взяло под свою защиту побежденного плебея, нищего без крыши над головой; и необходимо, чтобы эта защита превратилась в новую серию попыток.

Мы встретим на нашем пути еще другие потребности, все из которых исчезнут, как и другие, перед более серьезными потребностями, пока, наконец, не наступит общее уравнивание, высшая необходимость, торжествующий факт, который должен навсегда установить царство труда.

Но это решение не может быть результатом неожиданности или тщетного компромисса. Объединить труд и капитал так же невозможно, как производить без труда и без капитала; установить равенство силой так же невозможно, как подавить власть и равенство и создать общество без людей и без полиции.

Я повторяю, необходима МОЩНАЯ СИЛА, способная перевернуть действительные формулы общества; необходимо, чтобы ТРУД людей, а не их доблесть или голоса, посредством научной,

законной, бессмертной, непреодолимой комбинации подчинил капитал народу и передал ему власть.

ГЛАВА VIII.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И БОГА ПО ЗАКОНУ ПРОТИВОРЕЧИЯ Или О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОВИДЕНИЯ.

Древние обвиняли человеческую природу в присутствии зла в мире.

Христианское богословие лишь по-своему осветило эту тему; и поскольку это богословие подводит итог всему религиозному периоду, простирающемуся от зарождения общества до наших дней, можно сказать, что догма о первородном грехе, имеющая в свою пользу одобрение человеческого рода, приобретает благодаря самому этому факту наивысшую степень вероятности.

Итак, согласно всем свидетельствам древней мудрости, согласно которым каждый народ защищает свои собственные институты как превосходные и прославляет их, причину зла следует искать не в религиях, не в правительствах, не в традиционных обычаях, пользующихся уважением поколений, а скорее в примитивном извращении, в своего рода врожденной злобе в воле человека. Что касается вопроса о том, как существо могло исказить себя ИЗНАЧАЛЬНО, древние обходили эту трудность с помощью басен: яблоко Евы и ящик Пандоры остаются знаменитыми среди их символических решений.

Таким образом, античность не только поставила в своих мифах вопрос о происхождении зла; она разрешила его с помощью другого мифа, без колебаний подтвердив преступность *ab ovo* нашей расы.

Современные философы противопоставили христианскому догмату догму не менее темную — о порочности общества. ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ ДОБРЫМ, восклицает Руссо в своем безапелляционном стиле; НО ОБЩЕСТВО — то есть формы и институты общества — РАЗВРАЩАЕТ ЕГО. В таких терминах был сформулирован парадокс или, лучше сказать, протест женевского философа.

Теперь очевидно, что эта идея - всего лишь перевернутая древняя гипотеза. Древние обвиняли индивидуального человека; Руссо обвиняет коллективного человека: в сущности, это всегда одно и то же утверждение, абсурдное утверждение.

Тем не менее, несмотря на фундаментальную идентичность принципа, формула Руссо, именно потому, что она была оппозицией, была шагом вперед; следовательно, ее приветствовали с энтузиазмом, и она стала сигналом реакции, полной противоречий и абсурдов. Странная вещь! современный социализм восходит к анафеме, обрушенной автором "Эмиля" на общество.

В течение последних семидесяти или восьмидесяти лет принцип социального извращения эксплуатировался и популяризировался различными сектантами, которые, копируя Руссо, из всех сил отвергают антисоциальную философию этого писателя, не понимая, что самым фактом своего стремления реформировать общество они такие же асоциальные или необщительных типов, как и он. Любопытное зрелище - наблюдать за этими псевдо-новаторами, осуждающими вслед за Жан Жаком монархию, демократию, собственность, коммунизм, "твое и мое", монополию, заработную плату, полицию, налогообложение, роскошь, торговлю, деньги, одним

словом, все, что составляет общество и без чего общество немыслимо, а затем обвиняющими того же Жан-Жака в человеконенавистничестве и паралогизме, потому что, увидев пустоту всех утопий, в то же время, когда он указал на антагонизм цивилизации, он сурово выступил против общества, хотя и признал, что без общества нет жизни. никакой человечности.

Я советую тем, кто на основании того, что говорят клеветники и плагиаторы, воображают, что Руссо принял свою теорию только из тщетной любви к эксцентричности, перечитать "Эмиля" и "Общественный договор" еще раз. Этот замечательный диалектик был вынужден отрицать общество с точки зрения справедливости, хотя и был вынужден признать это необходимым; точно так же, как мы, верящие в бесконечный прогресс, не перестаем отрицать существующее состояние общества как нормальное и окончательное. Только, в то время как Руссо с помощью своей политической комбинации и системы образования пытался приблизить человека к тому, что он называл ПРИРОДОЙ, и к тому, что казалось ему идеальным обществом, мы, получившие образование в более глубокой школе, говорим, что задача общества состоит в постоянном разрешении своих антиномий, о чем Руссо не мог иметь ни малейшего представления. Таким образом, за исключением ныне оставленной системы "Общественного договора" и в том, что касается только критики, социализм, что бы он ни говорил, все еще находится в том же положении, что и Руссо, вынужденный непрерывно реформировать общество, то есть постоянно отрицать его.

Короче говоря, Руссо просто заявил в краткой и окончательной форме то, что социалисты повторяют в деталях и в каждый момент прогресса, а именно, что общественный порядок несовершенен, ему всегда чего-то не хватает. Ошибка Руссо не заключается, не может заключаться в этом отрицании общества: она состоит, как мы покажем, в его неспособности довести свою аргументацию до конца и одновременно отрицать общество, человека и Бога.

Как бы то ни было, теория невинности человека, соответствующая теории порочности общества, наконец взяла верх. Огромное большинство социалистов — Сен-Симон, Оуэн, Фурье и их ученики; коммунисты, демократы, прогрессисты всех мастей — торжественно отвергли христианский миф о грехопадении, чтобы заменить им систему заблуждений со стороны общества. И поскольку большинство этих сектантов, несмотря на их вопиющее нечестие, были все еще слишком религиозны, слишком набожны, чтобы закончить работу Жан-Жака и возложить на Бога ответственность за зло, они нашли способ вывести из гипотезы о Боге догму о врожденной доброте человека и начали обрушиваться на общество самым изысканным образом.

Теоретические и практические последствия этой реакции заключались в том, что зло — то есть результат внутренней и внешней борьбы — ненормально и преходяще, уголовные и репрессивные институты также преходящи; что в человеке нет врожденного порока, но его окружение развратило его склонности; что цивилизация ошиблась относительно своих собственных тенденций; что принуждение аморально, что наши страсти святы; что наслаждение свято, и его следует искать, как саму добродетель, потому что Бог, который заставил нас желать этого, свят. И женщины, пришедшие на помощь красноречию философов, обрушили на пораженную общественность поток антирестриктивных протестов, *quasi de vulva eumprrens*, если воспользоваться сравнением из Священного Писания.

Труды этой школы узнаваемы по их евангелическому стилю, меланхолическому теизму и, прежде всего, по их загадочной диалектике.

"Они обвиняют человеческую природу, - говорит г-н Луи Блан, - почти во всех наших пороках; вину следует возложить на порочный характер социальных институтов. Оглянитесь вокруг: сколько талантов потеряно и, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, порочно! Сколько занятий стали бурными из-за того, что они не нашли своего законного и естественного объекта! Они заставляют наши страсти проходить через нечистую среду; стоит ли удивляться, что они изменяются? Поместите здорового человека в заразную атмосферу, и он вдохнет смерть. ... Цивилизация пошла по ложному пути ... и говорить, что иначе и быть не могло, - значит терять право говорить о справедливости, о морали, о прогрессе; это значит терять право говорить о Боге. Провидение исчезает, уступая место самому грубому фатализму".

Имя Бога повторяется сорок раз, и всегда без всякой цели, в "Организации труда" М. Бланка, которую я цитирую по своему усмотрению, потому что, на мой взгляд, она отражает передовые демократические взгляды лучше, чем любая другая работа, и потому что я хотел бы оказать ей честь, опровергнув ее.

Таким образом, в то время как социализм, которому помогает крайняя демократия, обожествляет человека, отрицая догму грехопадения, и, следовательно, низвергает Бога, отныне бесполезного для совершенствования своего творения, тот же самый социализм из-за ментальной трусости возвращается к утверждению Провидения, и это в тот самый момент, когда он отрицает провиденциальный авторитет истории.

И поскольку ничто не имеет таких шансов на успех среди людей, как противоречие, идея религии наслаждения, обновленная Эпикуром во время затмения общественного разума, была принята как вдохновение национального гения; именно это отличает новых теистов от католиков, против которых первые так громко ругались в течение последних двух лет только из соперничества в фанатизме. Сегодня в моде говорить о Боге по любому поводу и выступать с критикой папы римского; ссылаться на Провидение и насмехаться над Церковью. СЛАВА БОГУ! "МЫ НЕ АТЕИСТЫ", - сказала однажды "La Reforme"; более того, она могла бы добавить, чтобы усилить свою абсурдность, - "мы не христиане". Слово дошло до каждого, кто держит в руках перо, чтобы одурачить людей, и первый пункт новой веры заключается в том, что бесконечно добрый Бог создал человека таким же хорошим, как и он сам; что не мешает человеку под взглядом Бога становиться злым в отвратительном обществе.

Тем не менее, несмотря на эти видимости религии, мы могли бы даже сказать, на эти стремления к ней, очевидно, что спор между социализмом и христианской традицией, между человеком и обществом должен закончиться отрицанием Божественности. Социальный разум неотличим нами от абсолютного Разума, который есть не что иное, как сам Бог, и отрицать общество в его прошлых фазах - значит отрицать Провидение, значит отрицать Бога.

Таким образом, мы находимся между двумя отрицаниями, двумя противоречивыми утверждениями: одно, которое голосом всей древности отвергает как не подлежащее сомнению общество и Бога, которого оно представляет, и находит только в человеке принцип зла; другое, которое, протестуя от имени свободного, разумного и прогрессивного человека, отбрасывает на социальную немощь и, как необходимое следствие, на творческий и вдохновляющий гений общества все потрясения вселенной.

Теперь, поскольку аномалии общественного порядка и угнетение индивидуальных свобод возникают главным образом в результате игры экономических противоречий, мы должны задаться вопросом, принимая во внимание данные, которые мы выявили:

1. Осуществляет ли судьба, чей круг окружает нас, контроль над нашей свободой настолько властный и принудительный, что нарушения закона, совершенные под властью антиномий, перестают быть вменяемыми нам? А если нет, то откуда возникает эта вина, свойственная человеку?

2. Не подвело ли само гипотетическое существо, в высшей степени доброе, всемогущее, всеведущее, которому вера приписывает верховное руководство человеческими волнениями, общество в момент опасности? И, если да, то как объяснить эту недостаточность Божественности.

Короче говоря, мы должны выяснить, является ли человек Богом, является ли сам Бог Богом, или же для достижения полноты разума и свободы мы должны искать высшую причину.

% 1.—Виновность человека.—Изложение мифа о грехопадении.

Пока человек живет по закону эгоизма, он обвиняет себя; как только он поднимается до концепции социального закона, он обвиняет общество. В обоих случаях человечество обвиняет человечество; и пока что самым ясным результатом этого двойного обвинения является странная способность ПОКАЯНИЯ, на которую мы еще не указывали и которую религия приписывает как Богу, так и человеку.

В чем же тогда раскаивается человечество? За что Бог, который раскаивается так же, как и мы сами, желает наказать нас? Если я докажу, что преступления, вменяемые человечеству, не являются следствием его экономических затруднений, хотя последние являются результатом конституции его идей; что человек совершает зло безвозмездно и когда не по принуждению, точно так же, как он почитает себя героическими поступками, которых правосудие не требует, — из этого следует, что человеку перед судом его совести может быть позволено заявить определенные права. смягчающие обстоятельства, но никогда не может быть полностью освобожден от своей вины; что борьба идет в его сердце так же, как и в его уме; что он заслуживает то похвалы, то порицания, что в любом случае является признанием его негармоничного состояния; наконец, что сущность его души — это постоянный компромисс между противоположными влечениями, его мораль — это система качелей, одним словом, - и это слово говорит обо всем, - эклектизм.

Мои доказательства будут скоро представлены.

Существует закон, более древний, чем наша свобода, провозглашенный от начала мира, заверченный Иисусом Христом, проповеданный и подтвержденный апостолами, мучениками, исповедниками и девственницами, начертанный в сердце человека и превосходящий всякую метафизику: это ЛЮБОВЬ. ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ, говорит нам Иисус Христос вслед за Моисеем. Вот и все. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и общество станет совершенным; возлюби ближнего своего, как самого себя, и исчезнут все различия между князем и пастырем, богатым и бедным, образованным и невежественным, прекратятся все столкновения человеческих интересов. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и счастье в трудолюбии, без заботы о будущем, наполнит твои дни. Чтобы исполнить этот

закон и сделать себя счастливым, человеку нужно только следовать велению своего сердца и прислушиваться к голосу своих симпатий. Он сопротивляется; он делает больше: не довольствуясь предпочтением себя ближнему, он постоянно трудится над тем, чтобы уничтожить своего ближнего; предав любовь из-за эгоизма, он разрушает ее несправедливостью.

Человек, говорю я, неверный закону милосердия, сам по себе и без всякой необходимости превратил противоречия общества во множество инструментов нанесения вреда; из-за своего эгоизма цивилизация превратилась в войну сюрпризов и засад; он лжет, он крадет, он убивает, когда не вынужден делать это, без повода, без оправдания. Короче говоря, он творит зло со всеми характеристиками натуры, намеренно вредоносной, и тем более злой, что, когда он того желает, он знает, как творить добро также безвозмездно и способен на самопожертвование; поэтому о нем было сказано как можно более обоснованно и глубоко: *Homo homini lupus*, великий бог. Чтобы не расширять тему чрезмерно, и особенно для того, чтобы не предвосхищать вопросы, которые мне предстоит рассмотреть, я ограничиваюсь уже проанализированными экономическими фактами.

С тем фактом, что разделение труда по своей природе, до достижения синтетической организации, является непреодолимой причиной физического, морального и умственного неравенства между людьми, ни общество, ни совесть не имеют ничего общего. Это неизбежный факт, в отношении которого богатый человек так же невиновен, как и мелкий рабочий, обреченный своим положением на всевозможную бедность.

Но как получается, что это неизбежное неравенство превращается в благородный титул для одних, в унижение для других? Как случилось, что, если человек добр, ему не удалось своей добротой устранить это совершенно метафизическое препятствие и что вместо укрепления братских уз, связывающих людей, безжалостная необходимость разрывает их? Здесь человека нельзя оправдать на основании его экономической неопытности или законодательной близорукости; достаточно было того, что у него было сердце. Поскольку богатые должны были оказывать помощь и почитание мученикам разделения труда, почему они были отвергнуты как нечистые? Почему это неслыханно, когда хозяева время от времени освобождают своих рабов, когда принцы, магистраты и священники меняются местами с механиками, а дворяне берут на себя работу крестьян на земле? В чем причина этой жестокой гордыни сильных мира сего?

И обратите внимание, что такое поведение с их стороны было бы не только милосердным и братским, но и соответствовало бы самой суровой справедливости. В силу принципа коллективной силы работники равны и сотрудничают со своими лидерами; так что в самой системе монополии, в сообществе действий, восстанавливающем равновесие, нарушенное парцеллярным индивидуализмом, справедливость и милосердие сочетаются друг с другом. Исходя из гипотезы о присущей человеку доброте, как же тогда следует объяснить чудовищную попытку превратить авторитет одних в благородство, а послушание других - в плебейство? Труд между крепостным и свободным человеком, как цвет кожи между черным и белым, всегда проводил непроходимую черту; и мы сами, которые так гордимся своей филантропией, в глубине души придерживаемся того же мнения, что и наши предшественники. Симпатия, которую мы испытываем к пролетарию, подобна той, которую внушают нам животные; деликатность органов, боязнь нищеты, гордость за то, что мы отделены от всех страданий, — именно эти проявления эгоизма побуждают нас к милосердию.

Ибо на самом деле — и я хочу, чтобы только этот факт поставил нас в тупик — разве не правда, что спонтанная благотворительность, столь чистая в своей примитивной концепции (милосердие, симпатия, нежность), милостыня, в конце концов, стала для несчастных признаком деградации, общественным клеймом? И социалисты, порицающие христианство, смеют говорить нам о любви! Христианская мысль, совесть человечества, попала точно в цель, когда основала так много учреждений для облегчения несчастий. Чтобы постичь евангельскую заповедь во всей ее глубине и сделать законную благотворительность столь же почетной для тех, кто был ее объектом, как и для тех, кто ею пользовался, требовалось — что? Меньше гордыни, меньше жадности, меньше эгоизма. Если человек добр, скажет ли мне кто-нибудь, каким образом право на милостыню стало первым звеном в длинной цепи нарушений, мелочей и преступлений? Осмелится ли кто-нибудь еще обвинять в злодеяниях человека антагонизмы социальной экономики, когдаэти антагонизмы предоставили ему такую прекрасную возможность проявить милосердие своего сердца, я не говорю самопожертвованием, но простым отправлением правосудия?

Я знаю — и это единственное возражение, которое можно выдвинуть против моей позиции, — что благотворительность покрыта стыдом и бесчестьем, потому что человек, который просит об этом, слишком часто, увы! подозревается в ненадлежащем поведении и редко подлежит рекомендации в связи с достоинством морали и труда. И статистика доказывает, что тех, кто бедствует из-за трусости и халатности, в десять раз больше, чем тех, кто бедствует из-за несчастного случая.

Я далек от мысли оспаривать это наблюдение, истинность которого подтверждается слишком многими фактами и которое, более того, получило одобрение народа. Люди первыми обвиняют бедных в лени; и нет ничего более обычного, чем встретить в низших классах людей, которые хвастаются, как будто это дворянский титул, тем, что они никогда не были в больнице и, находясь в самом тяжелом положении, никогда не получали общественной милостыни. Таким образом, точно так же, как богатство признает свои грабежи, нищета признает свой позор. Человек — тиран или раб по своей воле, прежде чем стать таковым по воле судьбы; сердце пролетария подобно сердцу богача - сточная канава кипящей чувственности, пристанище дерьма и обмана.

После этого неожиданного откровения я спрашиваю, как это происходит, если человек добр и милосерден, что богатые клеветают на благотворительность, в то время как бедные оскверняют ее? Одни говорят, что это извращение суждений со стороны богатых; другие говорят, что это деградация способностей со стороны бедных. Но как получается, что суждение, с одной стороны, извращается, а с другой - способности деградируют? Как получилось, что истинное и сердечное братство не остановило ни с одной, ни с другой стороны последствия гордыни и труда? Позвольте отвечать на мои вопросы аргументами, а не фразами.

Труд, изобретая процессы и машины, которые бесконечно умножают его мощь, а затем стимулируя промышленный гений соперничеством и обеспечивая свои завоевания с помощью прибылей капитала и привилегий эксплуатации, сделал иерархическое устройство общества более глубоким и более неизбежным; я повторяю, что никто не виноват в этом. Но я призываю святой закон Евангелия в свидетели того, что в наших силах было извлечь совершенно иные последствия из этого подчинения человека человеку или, лучше, работника работнику.

Традиции феодальной жизни и жизни патриархов служили примером для производителей. Разделение труда и другие производственные случайности были лишь призывами к великой семейной жизни, указаниями на подготовительную систему, в соответствии с которой должно было возникнуть и развиваться братство. Господства, корпорации и права первородства были задуманы под влиянием этой идеи; многие коммунисты даже не настроены враждебно к этой форме объединения; удивительно ли, что идеал так живуч среди тех, кто, побежденный, но не обращенный, все еще выступает в качестве его представителей? Что же тогда помешало благотворительности, единению, самопожертвованию удержаться в иерархии, когда иерархия могла бы быть только условием труда? Для достижения этой цели было бы достаточно, если бы люди, обладающие машинами, доблестные рыцари, сражающиеся равным оружием, не делали тайны из своих секретов и не скрывали их от других; если бы бароны взяли за дело не для монополизации их продукции, а для ее удешевления; и если бы вассалы, уверенные, что война приведет только к увеличению их богатства, всегда проявляли себя предприимчивыми, трудолюбивыми и верными. Начальник мастерской тогда был бы просто капитаном, проводящим маневры со своими людьми как в их интересах, так и в своих собственных, и поддерживающим их не за счет своих привилегий, а за счет их собственных услуг.

Вместо этих братских отношений у нас были гордыня, ревность и лжесвидетельство; работодатель, подобно вампиру из басни, эксплуатирует униженного наемного рабочего, а наемный рабочий сговаривается против работодателя; бездельник, пожирающий имущество работника, и крепостной, сидящий на корточках в грязи, у которого не осталось сил, кроме ненависти.

Призванные обеспечивать производственную работу, эти орудия труда, капиталисты и чернорабочие находятся сегодня в борьбе: почему? Потому что абсолютизм господствует во всех их отношениях; потому что капиталист спекулирует на потребности рабочего в приобретении орудий труда, в то время как рабочий, в свою очередь, стремится извлечь выгоду из потребности капиталиста в обогащении своего капитала.—Л. Бланк: Организация труда.

И откуда этот АБСОЛЮТИЗМ в отношениях капиталиста и рабочего? Откуда эта враждебность интересов? Откуда эта взаимная вражда? Вместо того чтобы вечно объяснять факт самим фактом, докопайтесь до сути, и вы повсюду обнаружите в качестве первоначального мотива страсть к наслаждению, которую не сдерживают ни закон, ни справедливость, ни милосердие; вы увидите, что эгоизм постоянно пренебрегает будущим и приносит в жертву своим чудовищным прихотям труд, капитал, жизнь и всеобщую безопасность.

Теологи дали название ВОЖДЕЛЕНИЮ или ВОЖДЕЛЕЮЩЕМУ АППЕТИТУ страстной жадности к чувственным вещам, являющейся, по их мнению, следствием первородного греха. В настоящее время я мало беспокоюсь о природе первородного греха; я просто замечаю, что ненасытный аппетит теологов есть не что иное, как потребность В РОСКОШИ, на которую Академия моральных наук указывает как на главный мотив нашей эпохи. Итак, теория пропорциональности ценностей демонстрирует, что роскошь естественным образом измеряется производством; что каждое предварительное потребление возмещается эквивалентными последующими лишениями; и что преувеличение роскоши в обществе неизбежно связано с увеличением нищеты. Итак, если бы человек жертвовал своим личным благополучием ради роскошных и возвышенных удовольствий, возможно, я обвинил бы его только в неблагоразумии; но когда он наносит ущерб благополучию своего ближнего, —

благополучию, которое он должен считать неприкосновенным как из милосердия, так и на основании справедливости, — я тогда говорю, что человек порочен, непростительно порочен.

КОГДА БОГ, согласно Боссюэ, СФОРМИРОВАЛ ВНУТРЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ОН ИЗНАЧАЛЬНО ПОМЕСТИЛ ТУДА ДОБРО. Таким образом, любовь - наш первый закон; предписания чистого разума, так же как и побуждения чувств, занимают лишь второе и третье место. Такова иерархия наших способностей — принцип любви, составляющий основу нашей совести и обслуживаемый разумом и органами. Следовательно, из двух вещей одна: либо виновен человек, который нарушает милосердие, повинувшись своей алчности; или же, если эта психология ложна и потребность человека в роскоши должна занимать место рядом с милосердием и разумом, человек - беспорядочное животное, крайне порочное и самое отвратительное из существ.

Таким образом, органические противоречия общества не могут охватывать ответственность человека; более того, рассматриваемые сами по себе, эти противоречия являются лишь теорией иерархического режима, первой формы и, следовательно, безупречной формы общества. Антиномия их развития постоянно приводила труд и капитал к равенству одновременно с подчинением, к солидарности, а также к зависимости; один был агентом, другой - стимулятором и хранителем общего богатства. Теоретики феодальной системы смутно разглядели это указание; христианство пришло вовремя, чтобы скрепить договор; и до сих пор чувства этой непонятой и разрушенной, но самой по себе невинной и законной организации вызывают у нас сожаление и поддерживают надежду партии. Поскольку эта система была записана в книге судьбы, о ней нельзя сказать, что она плоха сама по себе, точно так же, как эмбриональное состояние нельзя назвать плохим, потому что оно предшествует взрослому возрасту в физиологическом развитии.

Поэтому я настаиваю на своем обвинении:

При режиме, отмененном Лютером и Французской революцией, человек мог быть счастливым пропорционально прогрессу своей промышленности; он не выбирал быть счастливым; напротив, он запрещал себе быть таким.

Труд считался бесчестным; духовенство и знать превратили себя в пожирателей бедных; чтобы удовлетворить свои животные страсти, они погасили милосердие в своих сердцах; они разоряли, угнетали, убивали работника. И таким образом, мы видим, что капитал все еще охотится за пролетариатом. Вместо того чтобы умерить подрывную тенденцию экономических принципов ассоциацией и взаимностью, капиталист без необходимости и со злым умыслом преувеличивает ее; он злоупотребляет чувствами и совестью рабочего; он делает его слугой в своих интригах, поставщиком своих развратов, соучастником своих грабежей; он делает его во всех отношениях похожим на себя, и только тогда он может бросить вызов справедливости революций, которые касаются его. Чудовищная вещь! человек, живущий в нищете и чья душа поэтому кажется более близким соседом милосердия и чести, разделяет развращенность своего хозяина; подобно ему, он отдает все гордыне и роскоши, и если он иногда кричит против неравенства, от которого страдает, то это все же не столько из рвения к справедливости, сколько из соперничества в желании. Величайшее препятствие, которое приходится преодолевать равенству, - это не аристократическая гордость богатого человека, а неуправляемый эгоизм бедняка. И вы полагаетесь на его врожденную доброту, чтобы сразу же исправить как спонтанность, так и преднамеренность его злобы!

"Поскольку ложное и антиобщественное воспитание, данное нынешнему поколению, - говорит Луи Блан, - не позволяет искать никаких других мотивов для соперничества и поощрения, кроме увеличения вознаграждения, разница в заработной плате должна быть дифференцирована в соответствии с иерархией функций, и совершенно новое образование должно изменить идеи и мораль в этом вопросе".

Отбросив иерархию функций и неравенство заработной платы за то, чего они стоят, давайте рассмотрим здесь только мотив, указанный автором. Разве не странно видеть, как г-н Блан утверждает доброту нашей натуры и в то же время обращается к самой низменной из наших склонностей — алчности? Воистину, зло должно казаться вам очень глубоко укоренившимся, если вы считаете необходимым начинать восстановление милосердия с нарушения милосердия. Иисус Христос открыто порвал с гордыней и жадностью; очевидно, развратники, которых он катехизировал, были святыми персонажами по сравнению со стадом, зараженным социализмом. Но тогда расскажите нам вкратце, как были искажены наши идеи, почему наше образование является антисоциальным, поскольку теперь продемонстрировано, что общество пошло по пути, проложенному судьбой, и его больше нельзя обвинять в преступлениях человека.

Действительно, логика социализма изумительна.

Говорят, что человек добр, но необходимо ОТДЕЛИТЬ ЕГО ИНТЕРЕСЫ от зла, чтобы обеспечить его воздержание от него. Человек добр, но он должен быть ЗАИНТЕРЕСОВАН в добре, иначе он не будет этого делать. Ибо, если интерес его страстей ведет его ко злу, он будет творить зло; и, если тот же самый интерес оставляет его безразличным к добру, он не будет творить добро. И общество не будет иметь права упрекать его в том, что он прислушался к своим страстям, потому что общество должно было вести его через его страсти. Какой богатой и благородной натурой был Нерон, который убил свою мать, потому что она ему надоела, и который приказал сжечь Рим, чтобы изобразить разграбление Трои! Какой душой художника был Гелиогабал, организовавший проституцию! Каким сильным характером обладал Тиберий! Но каким отвратительным было общество, которое извратило эти божественные души и, более того, породило Тацита и Марка Аврелия!

Итак, это и есть то, что называется безвредностью человека, — святость его страстей! Пожилая Сафо, брошенная своими любовниками, возвращается к супружескому закону; ее интересы отрываются от любви, она возвращается к браку и становится святой. Как жаль, что это слово HOLY (святая) не имеет во французском языке того двойного значения, которым оно обладает в иврите! Все были бы согласны относительно святости Сафо.

Я прочитал в отчете о железных дорогах Бельгии, что бельгийская администрация разрешила своим инженерам премию в размере двух с половиной центов за каждый сэкономленный бушель кокаина при среднем потреблении в двести десять фунтов на данное пройденное расстояние, и эта премия принесла такие плоды, что потребление упало с двухсот десяти фунтов до ста шести. Этот факт подводит итог всей социалистической философии: постепенно приучать рабочего к справедливости, поощрять его к труду, поднимать его до возвышенности преданности делу путем увеличения заработной платы, распределения прибыли, отличий и поощрений. Конечно, я не собираюсь осуждать этот метод, который стар как мир: какой бы способ вы ни избрали, чтобы приручить змей и тигров и сделать их полезными, я приветствую его. Но не говорите, что ваши звери - голуби; ибо тогда, в качестве единственного ответа, я

укажу вам на их когти и зубы. До того, как бельгийские инженеры заинтересовались экономией топлива, они сжигали вдвое больше. Следовательно, с их стороны были проявлены беспечность, нерадивость, расточительность, возможно, воровство, хотя они были связаны с администрацией контрактом, который обязывал их практиковать все противоположные добродетели. ХОРОШО, скажете вы, ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РАБОТНИКА. Я говорю далее, что это справедливо. Но я утверждаю, что этот ИНТЕРЕС, более властный над человеком, чем добровольно принятое обязательство, более могущественный, одним словом, чем ДОЛГ, обвиняет человека. Социализм отстаёт в морали и задирает нос перед христианством. Оно не понимает милосердия, и все же, услышав это, можно было бы предположить, что оно изобрело милосердие.

Посмотрите, более того, понаблюдайте за социалистами, какие счастливые плоды уже принесло совершенствование нашего общественного строя! Нынешнее поколение, несомненно, лучше своих предшественников: ошибаемся ли мы, делая вывод, что совершенное общество произведет совершенных граждан? Скорее скажите, отвечают консервативные верующие в догму грехопадения, что, поскольку религия очистила сердца, неудивительно, что институты ощутили на себе ее последствия. Теперь позвольте религии завершить свою работу и не бойтесь общества.

Так говорят и возражают в бесконечном блуждании от вопроса теоретики двух школ. Ни тот, ни другой не понимают, что человечество, пользуясь библейским выражением, едино и неизменно в своих поколениях, то есть что все в нем, на каждом этапе его развития, как в индивиде, так и в массе, исходит из одного и того же принципа, который есть не БЫТИЕ, а СТАНОВЛЕНИЕ. Они не видят, с одной стороны, что прогресс в морали - это постоянная победа разума над животным, точно так же, как прогресс в богатстве - это плод войны, которую труд ведет против бережливости природы; следовательно, идея врожденной доброты, утраченной обществом, столь же абсурдна, как идея врожденного богатства, утраченного трудом, и что компромисс со страстями следует рассматривать в том же свете, что и компромисс с покоем. С другой стороны, они отказываются понимать, что, если в человечестве есть прогресс, будь то благодаря религии или по какой-либо другой причине, гипотеза о конституционной коррупции является бессмыслицей, противоречием.

Но я предвосхищаю выводы, к которым я должен прийти: давайте пока просто установим, что моральное совершенство человечества, как и материальное благополучие, реализуется посредством ряда колебаний между пороком и добродетелью, ДОСТОИНСТВОМ и ПОРОЧНОСТЬЮ.

Да, человечество растет в справедливости, но этот рост нашей свободы, полностью обусловленный ростом нашего интеллекта, безусловно, не является доказательством доброты нашей природы; и, отнюдь не позволяя нам прославлять наши страсти, он действительно разрушает их власть. Мода и стиль нашей злобы меняются со временем: средневековые бароны грабили путника на большой дороге, а затем предлагали ему гостеприимство в своих замках; торговая феодальность, менее жестокая, эксплуатирует пролетария и строит для него больницы: кто осмелится сказать, кто из них двоих заслужил пальму первенства?

Из всех экономических противоречий ценностью является то, что, доминируя над другими и суммируя их, удерживает в некотором смысле скипетр общества, я чуть было не сказал - морального мира. До тех пор, пока ценность, колеблющаяся между двумя своими полюсами —

полезной ценностью и меновой стоимостью, — не достигнет своего конституционного состояния, "твое" и "мое" остаются фиксированными произвольно; условия благосостояния являются результатом случая; собственность зиждется на ненадежном титуле; все в социальной экономике носит временный характер. Какой урок социальные, разумные и свободные существа должны извлечь из этой неопределенности ценности? Разработать дружественные правила, которые должны защищать рабочую силу и гарантировать обмен и дешевизну. Какая счастливая возможность для всех искупить честностью, бескорыстием и нежностью сердца незнание объективных законов справедливости и несправедливости! Вместо этого коммерция повсюду благодаря спонтанным усилиям и единодушному согласию превратилась в ненадежную операцию, рискованное предприятие, лотерею и часто в лживую и мошенническую спекуляцию.

Что обязывает поставщика провизии, владельца магазина в обществе, делать вид, что ее не хватает, бить тревогу и провоцировать рост цен? Общественная близорукость отдает потребителя на его милость; некоторое изменение температуры дает ему предлог; гарантированная перспектива наживы в конце концов развращает его, и страх, умело распространяемый за границей, бросает население в его сети. Несомненно, мотив, который движет мошенником, вором, убийцей, этими натурами, искаженными, как говорят, социальным порядком, тот же самый, который движет монополистом, который ни в чем не нуждается. Как же тогда эта страсть к наживе, предоставленная самой себе, оборачивается предубеждением общества? Почему превентивное, репрессивное и принудительное законодательство всегда было необходимо для ограничения свободы? Ибо это обвиняющий факт, который невозможно отрицать: повсюду закон вырос из злоупотреблений; повсюду законодатель оказался вынужден сделать человека бессильным причинить вред, что является синонимом надевания намордника на льва или усмирения кабана. И сам социализм, всегда подражающий прошлому, не делает никаких других заявлений: что же такое на самом деле организация, на которую он претендует, если не более надежная гарантия справедливости, более полное ограничение свободы?

Характерная черта торговца - превращать все в объект или инструмент торговли. Оторванный от своих собратьев, его интересы отделены от интересов других, он за и против всех поступков, всех мнений, всех партий. Открытие, наука - это в его глазах инструмент войны, который он пытается убрать с дороги и который он хотел бы уничтожить, если только он сам не сможет использовать его для убийства своих конкурентов. Художник, образованный человек, - это артиллерист, который знает, как обращаться с оружием, и которого он пытается развратить, если не может победить его. Торговец убежден, что логика - это искусство по своему желанию доказывать истинное и ложное; он был изобретателем политической продажности, торговли совестью, проституции талантов, подкупа прессы. Он знает, как найти аргументы и защищает всю ложь, все беззакония. Он один никогда не обманывался относительно ценности политических партий: он считает, что все они одинаково пригодны для эксплуатации, то есть одинаково абсурдны.

Без уважения к его общепризнанным мнениям, от которых он отказывается и к которым по очереди возвращается; резко преследуя в других те нарушения веры, в которых он сам виноват, — он лжет в своих притязаниях, он лжет в своих представлениях, он лжет в своих описях; он преувеличивает, он смягчает, он переоценивает; он считает себя центром мира, и все вне его имеет лишь относительное существование, ценность и истину. Тонкий и проницательный в своих поступках, он оговаривает, он сдерживается, всегда боясь сказать слишком много или

недостаточно; злоупотребляя простыми словами, обобщая, чтобы не скомпрометировать себя, уточняя, чтобы ничего не допустить, он трижды оборачивается к самому себе и семь раз думает под подбородком, прежде чем произнести свое последнее слово. Пришел ли он наконец к выводу? Он перечитывает себя, он интерпретирует себя, он комментирует себя; он мучает себя, чтобы найти глубокий смысл в каждой части своего контракта и в самых ясных фразах, противоположных тому, что они говорят.

Какое безграничное искусство, какое лицемерие в его отношениях с чернорабочим! От простого лавочника до крупного подрядчика, как искусно они используют его оружие! Как хорошо они знают, как бороться с трудом, чтобы получить его по низкой цене! Во-первых, это надежда, за которую хозяин получает небольшую услугу; затем это обещание, которым он пренебрегает, требуя выполнения какого-либо долга; затем испытание, жертва, — ибо он ни в ком не нуждается, — которую несчастный должен признать, довольствуясь самой низкой зарплатой; идут бесконечные поборы и завышения цен, компенсируемые расчетами в дни выплаты жалованья, проводимыми в самом хищническом и лживом духе. И рабочий должен хранить молчание, преклонять колена и сжимать кулаки под одеждой: ибо у нанимателя есть работа, и только тот счастлив, кто может добиться благосклонности его мошенников. И поскольку общество еще не нашло способа предотвратить, подавить и наказать этот отвратительный измельчающий процесс, такой спонтанный, такой бесхитростный, такой оторванный от всех высших импульсов, его приписывают социальному принуждению. Какая глупость!

Комиссионер - это тип, высшее выражение монополии, воплощение торговли, то есть цивилизации. Каждая функция зависит от него, участвует в ней или ассимилируется с ней: ибо, поскольку с точки зрения распределения богатства все отношения людей друг с другом сводятся к обмену, то есть к передаче ценностей, можно сказать, что цивилизация олицетворяется в комиссионере.

Теперь расспросите комиссионеров о нравственности их ремесла; они будут откровенны с вами; все скажут вам, что комиссионный бизнес - это вымогательство. Высказываются жалобы на мошенничество и фальсификации, которые производит *disgrace*: коммерция — я имею в виду особенно комиссионный бизнес — это всего лишь гигантский и постоянный заговор монополистов, по очереди конкурирующих или объединенных в пулы; это не функция, выполняемая с целью получения законной прибыли, а обширная организация спекуляции всеми предметами потребления, а также обращением людей и продуктов. В этой профессии уже терпимо относятся к мошенничеству: сколько накладных завышено, стерто, изменено! сколько подделано марок! сколько ущерба скрыто или обманным путем усугублено! сколько лжи о качестве! сколько данных и отмененных обещаний! сколько сокрытых документов! какие интриги и комбинации! а потом какие измены!

Комиссионер, то есть коммерсант, то есть мужчина, - это игрок, клеветник, шарлатан, наемник, вор, фальсификатор. . . .

Это следствие нашего антагонистического общества, отмечают неомистики. Так говорят коммерсанты, которые первыми при любых обстоятельствах обвиняют коррупцию века. Они действуют так, как они действуют, если мы можем им верить, просто для того, чтобы искупить свою вину и полностью вопреки своим намерениям: они следуют необходимости; их действия - это законная защита.

Требуется ли гениальное усилие, чтобы увидеть, что эти взаимные обвинения задевают саму природу человека, что мнимое извращение общества есть не что иное, как извращение человека, и что противоположность принципов и интересов - это, так сказать, лишь внешняя случайность, которая облегчает, но не оказывает необходимого влияния, как черноту нашего эгоизма, так и редкие добродетели, которыми славится наша раса?

Я понимаю негармоничную конкуренцию и ее непреодолимые устраняющие эффекты: это неизбежно. Конкуренция, в ее высшем выражении, - это механизм, посредством которого работники взаимно стимулируют и поддерживают друг друга. Но до тех пор, пока не будет реализована та организация, которая должна возвысить конкуренцию до ее истинной природы, она остается гражданской войной, в которой производители, вместо того чтобы помогать друг другу в труде, перемалывают и давят друг друга трудом. Опасность здесь была неминуема; человек, чтобы предотвратить ее, использовал этот высший закон любви; и нет ничего проще, доводя конкуренцию до крайних пределов в интересах производства, чем затем устранить ее убийственные последствия путем справедливого распределения. Отнюдь не так, это анархическое соревнование стало, так сказать, душой и подбострастием рабочего. Политическая экономия вложила в руки человека это орудие смерти, и он нанес удар; он использовал конкуренцию, как лев использует свои лапы и челюсти, чтобы убивать и пожирать. Как же тогда, повторяю, получилось, что совершенно внешняя случайность изменила природу человека, который должен быть добрым, кротким и общительным?

Виноторговец призывает на помощь желе, магнезию, насекомых, воду и яды; своими собственными комбинациями он усиливает разрушительное воздействие конкуренции. Откуда берется эта мания? Из того факта, вы говорите, что его конкурент подает ему пример! А этот конкурент, кто его подстрекает? Какой-то другой конкурент. Так что, если мы совершим экскурсию по обществу, мы обнаружим, что именно масса, а в массе — каждый отдельный индивид, по молчаливому согласию своих страстей — гордыни, лености, жадности, недоверия, ревности - организовали эту отвратительную войну.

Собрав вокруг себя инструменты, материалы и рабочих, подрядчик должен получить в результате, помимо суммы своих затрат, сначала проценты со своего капитала, а затем прибыль. Именно вследствие этого принципа окончательно утвердилось кредитование под проценты, и эта выгода, рассматриваемая сама по себе, всегда считалась законной. При этой системе полиция наций, поначалу не увидевшая существенного противоречия ссуд под проценты, наемный рабочий, вместо того чтобы зависеть непосредственно от самого себя, должен был зависеть от работодателя, подобно тому как солдат принадлежал графу, а племя - патриарху. Такой порядок вещей был необходим, и до установления полного равенства не было ничего невозможного в том, что он обеспечивал всеобщее благосостояние. Но когда хозяин в своем беспорядочном эгоизме сказал слуге: "Ты не будешь делиться со мной", - и одним махом лишил его труда и заработной платы, где необходимость, где оправдание? Будет ли необходимо в дальнейшем, чтобы оправдать ВОЖДЕЛЕЮЩИЙ АППЕТИТ, прибегать к ВСПЫЛЬЧИВОМУ АППЕТИТУ? Будьте осторожны: отступая назад, чтобы оправдать человека в черед его похотей, вместо того чтобы спасти его мораль, вы отказываетесь от нее. Что касается меня, то я предпочитаю виновного человеку, а не дикому зверю.

Природа сделала человека общительным: спонтанное развитие его инстинктов то превращает его в ангела милосердия, то лишает его даже чувства братства и идеи преданности. Видел ли

кто-нибудь когда-нибудь капиталиста, уставшего от наживы, плетущего заговоры ради общего блага и делающего освобождение пролетариата своей последней мечтой? Есть много людей, любимцев фортуны, которым не хватает ничего, кроме венца благоденствия: так вот, где же бакалейщик, который, разбогатев, начинает продавать по себестоимости? Где пекарь, который, уходя из бизнеса, оставляет своих клиентов и свое заведение своим помощникам? Где аптекарь, который под предлогом закрытия своих дел отдает свои лекарства по их истинной стоимости? Если у благотворительности есть свои мученики, почему у нее нет своих любителей? Если бы внезапно был сформирован конгресс держателей облигаций, капиталистов и деловых людей, вышедших на пенсию, но все еще годных к службе, с целью безвозмездного ведения определенного числа отраслей промышленности, то за короткое время общество было бы реформировано сверху донизу. Но работайте даром! Это для Винсента де Поля, Фенелонов, всех тех, чьи души всегда были отняты от груди, а сердца чисты. Человек, обогатившийся за счет прибыли, будет муниципальным советником, членом комитета по благотворительности, заведующим детскими садами: он будет выполнять все почетные функции, исключая как раз те, которые были бы эффективны, но которые противоречат его привычкам. Работать без надежды на прибыль! Этого не может быть, ибо это было бы саморазрушением. Возможно, он хотел бы этого, но у него не хватает смелости. *Video meliora proboque, deteriora sequor*. Ушедший на покой владелец - это на самом деле сова из басни, собирающая буковые орехи для своих изувеченных мышей, пока не будет готова их сожрать. Следует ли также винить общество в этих последствиях страсти, которую так долго, так свободно, так полно удовлетворяли?

Кто же тогда объяснит эту тайну многообразного и противоречивого существа, способного одновременно на высшие добродетели и на самые ужасные преступления? Собака лижет своего хозяина, который бьет ее, потому что собачья натура - верность, и эта натура никогда не покидает ее. Ягненок находит убежище в объятиях пастуха, который обирает и съедает его, потому что неотъемлемыми чертами овцы являются мягкость и миролюбие. Конь мчится сквозь пламя и картечь, не задевая своими быстро бегущими ногами раненых и мертвых, лежащих на его пути, потому что душа коня неизменна в своем великодушии. Эти животные - мученики ради нас, благодаря постоянству и преданности своей натуре. Слуга, защищающий своего хозяина с риском для жизни за небольшое количество золота, предает и убивает его; целомудренная жена оскверняет свою постель из-за какого-то отвращения или отсутствия, и в Лукреции мы находим Мессалину; владелец, поочередно отец и тиран, ремонтирует своего разорившегося фермера и изгоняет со своих земель слишком многочисленную семью фермера, которая увеличилась благодаря феодальному договору; воин, зеркало и образец рыцарства, превращает трупы своих товарищей в ступеньку к продвижению. Эпаминонд и Регул торговали кровью своих солдат, — сколько примеров я видел собственными глазами! — и по ужасному контрасту профессия жертвователя наиболее плодотворна в трусости. У человечества есть свои мученики и свои отступники: чему, я спрашиваю еще раз, следует приписать это разделение?

К антагонизму общества, как вы всегда говорите; к состоянию разобщенности, изолированности, враждебности к своим собратьям, в котором человек жил до сих пор; одним словом, к тому отчуждению своего сердца, которое привело его к тому, что он ошибочно принимает наслаждение за любовь, собственность за обладание, боль за труд, опьянение за радость; короче говоря, к той извращенной совести, которую угрызания совести не перестают преследовать под именем ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА. Когда человек, примирившись с самим собой, перестанет смотреть на своего ближнего и природу как на враждебные силы, тогда он будет любить и творить просто благодаря спонтанности своей энергии; тогда его страстью будет

отдавать, как сегодня - приобретать; и тогда он будет искать в труде и преданности свое единственное счастье, свое высшее наслаждение. Тогда любовь действительно и нераздельно станет законом человека, а справедливость станет всего лишь пустым звуком, болезненным сувениром периода насилия и слез.

Конечно, я не упускаю из виду факт антагонизма, или, как вам будет угодно это называть, религиозного отчуждения, так же как и необходимость примирения человека с самим собой; вся моя философия - это не что иное, как непрерывное примирение. Вы признаете, что дивергенция нашей природы является предпосылкой общества, или, давайте лучше скажем, материалом цивилизации. Это именно тот факт, но, запомните хорошенько, тот нерушимый факт, смысл которого я ищу. Несомненно, мы были бы очень близки к взаимопониманию, если бы вместо того, чтобы рассматривать различие и гармонию человеческих способностей как два отдельных периода, четко очерченных и последовательных в истории, вы согласились бы рассматривать их вместе со мной просто как два лика нашей природы, всегда враждебные, всегда находящиеся в процессе примирения, но никогда не примиряющиеся полностью. Одним словом, как индивидуализм является изначальным фактом человечества, так и ассоциация является его дополнительным термином; но и то, и другое находится в непрерывном проявлении, и на земле справедливость вечно является условием любви.

Таким образом, догмат грехопадения - это не просто выражение особого и преходящего состояния человеческого разума и морали: это спонтанное признание в символической форме этого факта, столь же удивительного, сколь и нерушимого, виновности, склонности ко злу нашей расы. Прокляни меня, грешника! вопиет со всех сторон и на всех языках совесть рода человеческого. *V{ae} nobis quia recessimus!* Религия, придавая этой идее конкретную и драматическую форму, действительно ушла в прошлое и вышла за пределы мира в поисках того, что существенно и имманентно нашей душе; это, со своей стороны, было всего лишь интеллектуальным миражом; она не ошиблась относительно существенности и постоянства факта. Итак, именно этот факт мы должны учитывать, и именно с этой точки зрения мы должны интерпретировать догму о первородном грехе.

У всех народов были свои искупительные обычаи, свои покаянные жертвы, свои репрессивные и карательные институты, порожденные ужасом и сожалением о грехе. Католицизм, который строил теорию везде, где социальная спонтанность выражала идею или вселяла надежду, превратил в таинство одновременно символическую и эффективную церемонию, посредством которой грешник выражал свое раскаяние, просил прощения у Бога и людей за свою вину и готовил себя к лучшей жизни. Следовательно, я без колебаний могу сказать, что Реформация, отвергая раскаяние, придираясь к слову "метанойя", приписывая одной вере добродетель оправдания, короче говоря, отменяя покаяние, сделала шаг назад и совершенно не смогла признать закон прогресса. Отрицать - значит не отвечать. В этом вопросе, как и во многих других, злоупотребления Церкви требовали реформы; теории покаяния, проклятия, отпущения грехов и благодати содержали, если я осмелюсь так выразиться, в латентном состоянии всю систему образования человечества; эти теории нуждались в развитии и превращении в рационализм; Лютер не знал ничего, кроме их разрушения. Исповедь через ухо была унижением раскаяния, двусмысленной демонстрацией, заменявшей великий акт смирения; Лютер превзошел папистское лицемерие, сведя первоначальную исповедь перед Богом и людьми (экзомологию тео... .. кай хумин, адельфой) к монологу. Христианский смысл тогда был утрачен, и только три столетия спустя философия восстановила его.

Итак, поскольку христианство, то есть религиозное человечество, не заблуждалось относительно РЕАЛЬНОСТИ факта, существенного в природе человека, — факта, который оно обозначило словами "ИЗНАЧАЛЬНОЕ УКЛОНЕНИЕ", давайте продолжим расспрашивать христианство, человечество, о ЗНАЧЕНИИ этого факта. Давайте не будем удивляться ни метафоре, ни аллегории: истина не зависит от цифр. И, кроме того, что для нас истина, как не непрерывный прогресс нашего ума от поэзии к прозе?

И сначала давайте зададимся вопросом, не имела ли где-нибудь в христианском богословии своего коррелята эта, по меньшей мере, странная идея изначального отклонения от ответа. Ибо истинная идея, общая идея, не может проистекать из изолированной концепции; должна быть серия.

Христианство, выдвинув догму грехопадения в качестве первого термина, продолжило свою мысль, утвердив для всех, кто должен умереть в этом состоянии осквернения, безвозвратное отделение от Бога, вечное наказание. Затем она завершила свою теорию примирением этих двух противоположностей с помощью догмата о реабилитации, или благодати, согласно которому каждое создание, рожденное в ненависти к Богу, примиряется заслугами Иисуса Христа, которые вера и покаяние делают действенными. Таким образом, коренная испорченность нашей природы и вечность наказания, за исключением случая искупления через добровольное участие в жертве Христа, — такова, вкратце, эволюция теологической идеи. Второе утверждение является следствием первого; третье - отрицание и трансформация двух других: фактически, конституционный порок неизбежно неуничтожим, и искупление, которое он влечет за собой, столь жеечно, как и он сам, если только не придет высшая сила, чтобы сломить судьбу и снять анафему путем целостного обновления.

Человеческий разум, как в своих религиозных капризах, так и в своих самых позитивных теориях, всегда руководствуется лишь одним методом; одна и та же метафизика породила христианские тайны и противоречия политической экономии; вера, сама того не зная, опирается на разум; и мы, исследователи божественных и человеческих проявлений, имеем право проверять во имя разума гипотезы теологии.

Что же тогда видел универсальный разум, сформулированный в религиозных догмах, в человеческой природе, когда с помощью столь правильной метафизической конструкции последовательно заявлял о простодушии преступления, вечности наказания, необходимости благодати? Покровы теологии становятся настолько прозрачными, что это весьма напоминает естественную историю.

Если мы представим себе операцию, посредством которой высшее существо, как предполагается, произвело все существа, уже не как эманацию, проявление созидательной силы и бесконечной субстанции, а как разделение или дифференциацию этой субстанциальной силы, каждое существо, организованное или неорганизованное, будет казаться нам особым представителем одной из бесчисленных потенциальных возможностей бесконечного существа, как часть абсолюта; и совокупность всех этих индивидуальностей (жидкостей, минералов, растений, насекомых, рыб, птиц и четвероногих) будет творением, вселенной.

Человек, сокращение вселенной, суммирует и синкретизирует в своей личности все потенциальные возможности бытия, все разделы абсолюта; он - вершина, на которой эти потенциальные возможности, существующие только благодаря своему расхождению,

встречаются в группе, но не проникают друг в друга и несмешиваются друг с другом. Следовательно, человек, благодаря этой совокупности, является одновременно духом и материей, спонтанностью и отражением, механизмом и жизнью, ангелом и животным. Он ядовит, как гадюка, кровожаден, как тигр, прожорлив, как свинья, непристойен, как обезьяна; и предан, как собака, щедр, как лошадь, трудолюбив, как пчела, моногамен, как голубь, общителен, как бобр и овца. И вдобавок он человек, то есть разумный и свободный, способный к образованию и совершенствованию. У человека столько же имен, сколько у Юпитера; все эти имена написаны у него на лице; и в разнообразном зеркале природы его безошибочный инстинкт способен распознать их. Змея прекрасна для разума; это совесть находит ее отвратительной и уродливой. Древние, так же как и современные, ухватились за эту идею устройства человека путем объединения всех земных возможностей: труды Галля и Лафатера были, если можно так выразиться, всего лишь попытками разрушить человеческий синкретизм, а их классификация наших способностей - миниатюрной картиной природы. Короче говоря, человек, подобно пророку в львином рву, действительно отдан на растерзание зверям; и если чему-то и суждено продемонстрировать потомству позорное лицемерие нашей эпохи, так это тому факту, что образованные люди, фанатики-спиритуалисты, думали послужить религии и морали, изменив природу нашей расы и опровергнув анатомию.

Следовательно, единственный вопрос, который остается решить, заключается в том, зависит ли от человека, несмотря на противоречия, которые умножает вокруг него прогрессирующее распространение его идей, дать больший или меньший простор потенциальным возможностям, находящимся под его контролем, или, как говорят моралисты, своим страстям; другими словами, сможет ли он, подобно древнему Геркулесу, победить окружающее его животное начало, адский легион, который, кажется, всегда готов его поглотить.

Итак, всеобщее согласие народов свидетельствует — и мы показали это в третьей и четвертой главах, — что человек, отбросив все его животные импульсы, обладает разумом и свободой, то есть, во-первых, способностью оценивать и выбирать, и, во-вторых, способностью действовать, безразлично применимой к добру или злу. Далее мы показали, что эти две способности, которые оказывают необходимое влияние друг на друга, подвержены неограниченному развитию и усовершенствованию.

Социальное предназначение, разгадка человеческой загадки, заключена, таким образом, в следующих словах: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГРЕСС.

Воспитание свободы, укрощение наших инстинктов, предоставление избирательных прав или ИСКУПЛЕНИЕ нашей души — вот, таким образом, как доказал Лессинг, смысл христианской мистерии. Это образование продлится всю нашу жизнь и жизнь человечества: противоречия политической экономии могут быть разрешены; сущностное противоречие нашего существа никогда не будет устранено. Вот почему великие учителя человечества, Моисей, Будда, Иисус Христос, Зороастр, все были апостолами искупления, живыми символами покаяния. Человек по природе своей грешник, то есть, по сути, не совершающий ДУРНЫХ ПОСТУПКОВ, а скорее ДУРНО ПОСТУПИВШИЙ, и его судьба — постоянно воссоздавать в себе свой идеал. Именно это глубоко чувствовал величайший из художников Рафаэль, когда говорил, что искусство состоит в том, чтобы изображать вещи не такими, какими их создала природа, а такими, какими она должна была их создать.

Итак, отныне мы должны учить богословов, ибо только мы продолжаем предание Церкви, только мы обладаем значением Священных Писаний, Соборов и Отцов Церкви. Наша интерпретация основывается на самых определенных и достоверных основаниях, на величайшем авторитете, к которому только могут апеллировать люди, - метафизическом построении идей и фактов. Да, человек порочен, потому что он нелогичен, потому что его конституция - всего лишь эклектика, которая удерживает в постоянной борьбе потенциальные возможности его существа, независимо от противоречий общества. Жизнь человека - это всего лишь постоянный компромисс между трудом и болью, любовью и наслаждением, справедливостью и эгоизмом; и добровольная жертва, которую человек приносит, повинаясь своим низшим влечениям, есть крещение, которое подготавливает путь к его примирению с Богом и делает его достойным этого блаженного союза и вечного счастья.

Цель социальной экономии, заключающаяся в постоянном обеспечении порядка в труде и содействии образованию расы, состоит в том, чтобы сделать благотворительность — ту благотворительность, которая не знает, как управлять своими рабами, — настолько излишней, насколько это возможно при равенстве, или, лучше, сделать так, чтобы благотворительность развивалась из справедливости, как цветок из своего стебля. Ах, если бы благотворительность обладала силой создавать счастье среди людей, она бы давно доказала это; и социализму, вместо того чтобы стремиться к организации труда, оставалось бы только сказать: "Берегитесь, вам не хватает милосердия".

Но, увы! милосердие в человеке чахлое, хитрое, вялое и вяловатое; чтобы действовать, ему нужны эликсиры и благовония. Вот почему я цеплялся за тройную догму об уклонении от ответственности, проклятии и искуплении, то есть о возможности совершенствования через справедливость. Свобода здесь, на земле, всегда нуждается в помощи, и католическая теория небесных милостей дополняет эту слишком реальную демонстрацию страданий нашей природы.

Благодать, говорят теологи, в порядке спасения - это любая помощь или средство, которые могут привести нас к вечной жизни. Иными словами, человек совершенствует себя, цивилизует себя, очеловечивает себя только с помощью непрестанного опыта, трудолюбия, науки и искусства, удовольствия и страдания, одним словом, всех телесных и умственных упражнений.

Существует ПРИВЫЧНАЯ благодать, называемая также ОПРАВДЫВАЮЩЕЙ и ОСВЯЩАЮЩЕЙ, которая понимается как качество, пребывающее в душе, содержащее врожденные добродетели и дары Святого Духа и неотделимое от милосердия. Другими словами, привычная благодать является символом преобладания добрых импульсов, которые ведут человека к порядку и любви и с помощью которых ему удастся подавлять свои дурные наклонности и оставаться хозяином в своих собственных владениях. Что касается ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ благодати, то она указывает на внешние средства, которые дают простор упорядоченным страстям и служат для борьбы с разрушительными страстями.

Благодать, согласно святому Августину, по сути своей безвозмездна и предшествует греху в человеке. Боссюэ выразил ту же мысль в своем стиле, столь полном поэзии и нежности: когда Бог создавал внутренности человека, он изначально поместил туда добро. Фактически, первое определение свободной воли заключается в этой естественной ДОБРОТЕ, которая постоянно побуждает человека к порядку, труду, учебе, скромности, милосердию и самопожертвованию. Поэтому святой Павел мог бы сказать, не нападая на свободу воли, что во всем, что касается

свершения добра, Бог побуждает нас как хотеть, так и делать. Ибо все святые стремления человека заключены в нем еще до того, как он начинает думать и чувствовать; и душевные муки, которые он испытывает, когда нарушает их, восторг, которым он наполняется, когда повинуетя им, короче говоря, все приглашения, которые приходят к нему от общества и его образования, принадлежат не ему.

Когда благодать такова, что воля выбирает добро с радостью и любовью, без колебаний и напоминания, она называется ЭФФЕКТИВНОЙ. Каждый был свидетелем такого душевного подъема, который внезапно определял призвание, акт героизма. Свобода не погибает в этом; но, исходя из ее предопределенности, можно сказать, что это было неизбежно, что она должна была так решить. И пелагиане, лютеране и другие ошибались, говоря, что благодать скомпрометировала свободный выбор и убила творческую силу воли; поскольку все определения воли неизбежно исходят либо от общества, которое ее поддерживает, либо от природы, которая открывает ей путь и указывает ее предназначение.

Но, с другой стороны, августины, томисты, конгруисты, Янсен, Томассен, Молина и др. странным образом ошибались, когда, поддерживая одновременно свободную волю и благодать, они не смогли увидеть, что между этими двумя терминами существует такое же отношение, как между субстанцией и формой, и что они признали противоположность, которой не существует. Свобода, как и разум, как всякая субстанция и всякая сила, необходимо детерминирована, то есть она имеет свои формы и свои атрибуты. Итак, в то время как в материи форма и атрибут присущи субстанции и современны ей, в свободе форма придается, так сказать, тремя внешними факторами — человеческой сущностью, законами мышления, физическими упражнениями или образованием. БЛАГОДАТЬ в прекрасном, как и ее противоположность, ИСКУШЕНИЕ, указывает именно на факт определения свободы.

Подводя итог, можно сказать, что все современные идеи относительно воспитания человечества являются лишь интерпретацией, философией католического учения о благодати, доктрины, которая казалась неясной ее авторам только из-за их идей о свободе воли, которые, по их мнению, оказались под угрозой, как только заговорили о благодати или источнике ее определений. Напротив, мы утверждаем, что свобода, сама по себе безразличная ко всем модальностям, но предназначенная действовать и обретать форму в соответствии с предустановленным порядком, получает свой первый импульс от Творца, который вдохновляет ее любовью, разумом, мужеством, решимостью и всеми дарами Святого Духа, а затем направляет ее на опытную работу. Из этого следует, что благодать обязательно ПРЕДШЕСТВУЕТ ДВИЖЕНИЮ, что без нее человек не способен ни на какое добро и что, тем не менее, свободная воля осуществляет свое собственное предназначение спонтанно, с помощью размышлений и выбора. Во всем этом нет ни противоречия, ни тайны. Человек, поскольку он человек, добр; но, подобно описанному Платоном тирану, который тоже был учителем милосердия, человек носит в своей груди тысячу чудовищ, которых он должен победить благодаря поклонению справедливости и науке, музыке и гимнастике, всем благам возможностей и условий. Исправьте одно определение у святого Августина, и все это учение о благодати, известное благодаря спорам, которые оно вызвало и которые привели в замешательство Реформацию, покажется вам блистательным по ясности и гармонии.

И теперь человек - Бог?

Бог, согласно теологической гипотезе, будучи суверенным, абсолютным, в высшей степени синтетическим существом, бесконечно мудрым и свободным, а следовательно, неисполнимым и святым, для меня очевидно, что человек, синкретизм творения, точка объединения всех потенциальных возможностей, проявленных творением, физических, органических, ментальных и моральных; человек, способный к совершенствованию и подверженный ошибкам, не удовлетворяет условиям Божественности, как он, исходя из природы своего разума, должен их представлять. Он также не является Богом и не может, будучи живым, стать Богом.

Тем более, что дуб, лев, солнце, сама вселенная, части абсолюта не являются Богом. Одновременно ниспровергается поклонение человеку и природе.

Теперь мы должны представить контрдоказательство этой теории.

С точки зрения социальных противоречий мы судили о морали человека. Нам, в свою очередь, предстоит судить с той же точки зрения о морали Провидения. Другими словами, возможен ли Бог в том виде, в каком его предлагают смертным спекуляции и вера?

% 2.—Изложение мифа о Провидении.—Регресс Бога.

Среди трех доказательств, которые теологи и философы привыкли приводить для доказательства существования Бога, они отводят первостепенное место всеобщему согласию.

Я обдумал этот аргумент, когда, не отвергая и не признавая его, сразу же спросил себя: что подтверждает всеобщее согласие в утверждении Бога? И в этой связи я должен напомнить тот факт, что различие религий не является доказательством того, что человеческая раса впала в ошибку, утверждая высшее "Я" вне себя, так же как разнообразие языков не является доказательством нереальности разума. Гипотеза о Боге отнюдь не ослабевает, а укрепляется и утверждается самим расхождением и противопоставлением религий.

Аргумент другого рода - это тот, который вытекает из устройства мира. В связи с этим я заметил, что, поскольку природа спонтанно утверждает голосом человека свое собственное различие между разумом и материей, оставалось выяснить, управляет ли Вселенной и движет ли ею бесконечный разум, душа мира, поскольку совесть в своей неясной интуиции говорит нам, что разум одушевляет человека. Таким образом, добавил я, если бы порядок был безошибочным признаком присутствия разума, то присутствие Бога во вселенной нельзя было бы не заметить.

К сожалению, это IF не продемонстрировано и не может быть продемонстрировано. Ибо, с одной стороны, чистый разум, понимаемый как противоположность материи, является противоречивой сущностью, реальность которой, следовательно, ничто не может подтвердить. С другой стороны, определенные существа, упорядоченные сами по себе, такие как кристаллы, растения и планетные системы, которые в ощущениях, которые они заставляют нас испытывать, не отвечают нам чувством на чувство, как это делают животные, кажутся нам совершенно лишенными совести, и для предположения, что разум находится в центре мира, не больше оснований, чем для помещения его в серную палочку; и, возможно, если разум, совесть, где—либо и существует, то только в человеке.

Тем не менее, если устройство мира ничего не может сказать нам о существовании Бога, оно раскрывает вещь, возможно, не менее ценную, которая послужит нам ориентиром в наших исследованиях, а именно, что все существа, все сущности, все явления связаны воедино

совокупностью законов, вытекающих из их свойств, совокупностью, которую в третьей главе я назвал ФАТАЛЬНОСТЬЮ или НЕОБХОДИМОСТЬЮ. Существует или нет тогда бесконечный разум, охватывающий всю систему этих законов, всю область фатализма; соединена ли с этим бесконечным разумом в глубоком проникновении высшая воля, вечно определяемая совокупностью космических законов и, следовательно, бесконечно могущественная и свободная; являются ли, наконец, эти три вещи, фатальность, разум, воля, современными во вселенной, адекватными друг другу и идентичными, — ясно, что пока мы не находим ничего противоречащего этим позициям; но именно эту гипотезу, этот антропоморфизм еще предстоит продемонстрировать. .

Таким образом, в то время как свидетельство рода человеческого открывает нам Бога, не говоря о том, каким этот Бог может быть, порядок мира открывает нам фатальность, то есть абсолютную и безапелляционную совокупность причин и следствий, — короче говоря, систему законов, — которая была бы, если бы Бог существовал, подобна зрению и знанию этого Бога.

Третье и последнее доказательство существования Бога, предложенное теистами и названное ими метафизическим доказательством, есть не что иное, как тавтологическая конструкция категорий, которая абсолютно ничего не доказывает.

Что-то существует; следовательно, что-то существует.

Что-то множественно, следовательно, что-то едино.

Что-то приходит после чего-то; следовательно, что-то предшествует чему-то.

Что-то меньше или больше чего-то; следовательно, что-то больше всех вещей.

Что-то перемещается; следовательно, что-то является движущим и т.д., до бесконечности.

Это то, что даже сегодня называется министром народного образования и посланниками епископов на факультетах и в семинариях доказательством существования Бога с помощью метафизики. Это то, на что элита французской молодежи обречена блеять вслед за своими профессорами в течение года, в противном случае они лишатся своих дипломов и привилегии изучать юриспруденцию, медицину, политехнические дисциплины и естественные науки. Конечно, если что-то и рассчитано удивить, так это то, что с такой философией Европа еще не стала атеистической. Сохранение теистической идеи наряду с школьным жаргоном - величайшее из чудес; это составляет сильнейший предрассудок, который можно привести в пользу Божественности.

Я не знаю, что человечество называет Богом.

Я не могу сказать, человека ли, вселенную или некую невидимую реальность мы должны понимать под этим именем; и действительно, означает ли это слово что-то большее, чем идеал, создание разума. Тем не менее, чтобы подкрепить мою гипотезу и повлиять на мои исследования, я буду рассматривать Бога в соответствии с общепринятым мнением, как существо отдельное, вездесущее, отличное от творения, наделенное нетленной жизнью, а также бесконечными знаниями и деятельностью, но прежде всего предвидящее и справедливое, карающее порок и вознаграждающее добродетель. Я отброшу пантеистическую гипотезу как лицемерную и лишенную смелости. Бог личностен, или его не существует: эта альтернатива является аксиомой, из которой я выведу всю свою теодицею.

Поэтому, не занимая себя в настоящее время вопросами, которые идея Бога может поднять позже, проблема, стоящая передо мной сейчас, состоит в том, чтобы решить, принимая во внимание факты, эволюцию которых я установил в обществе, что я должен думать о поведении Бога, с точки зрения моей веры и относительно человечества. Короче говоря, именно с точки зрения доказанного существования зла я, с помощью нового диалектического процесса, намереваюсь постичь Высшее Существо. Зло существует: с этим, кажется, согласны все.

Теперь спросите стоиков, эпикурейцев, манихеев и атеистов, как согласовать присутствие зла с идеей суверенно доброго, мудрого и могущественного Бога? Как может Бог, после того как допустил внедрение зла в мир, будь то по слабости, небрежности или злему умыслу, возложить ответственность за их поступки на создания, которые он сам создал несовершенными и которых он таким образом подвергает всем опасностям их привлекательности? Почему, наконец, поскольку он обещает праведникам нескончаемое блаженство после смерти или, другими словами, дает нам идею и желание счастья, он не заставляет нас наслаждаться этой жизнью, лишая нас искушения зла, вместо того чтобы подвергать нас вечным пыткам?

Таков был смысл протеста атеистов.

Сегодня это почти не обсуждается: теистов больше не беспокоят логические невозможности их системы. Им нужен Бог, особенно Провидение: за эту статью идет конкуренция между радикалами и иезуитами. Социалисты проповедуют счастье и добродетель во имя Бога; в школах те, кто громче всех выступает против Церкви, являются первыми мистиками.

Старые теисты больше беспокоились о своей вере. Они пытались если не продемонстрировать это, то, по крайней мере, сделать разумным, будучи уверены, в отличие от своих преемников, что для верующего нет ни достоинства, ни покоя, кроме как в уверенности.

Тогда Отцы Церкви ответили недоверчивым, что зло - это всего лишь ЛИШЕНИЕ БОЛЬШЕГО БЛАГА, и что тем, кто всегда рассуждает о ЛУЧШЕМ, не хватает точки опоры, на которой можно утвердиться, что ведет прямо к абсурду. На самом деле, поскольку каждое творение неизбежно ограничено и несовершенно, Бог своим бесконечным могуществом может постоянно увеличивать свои совершенства: в этом отношении творение всегда в какой-то степени лишено добра. Наоборот, каким бы несовершенным и ограниченным ни предполагалось создание, с момента своего существования оно наслаждается определенной степенью блага, лучшего для него, чем уничтожение. Следовательно, хотя существует правило, согласно которому человек считается добрым только постольку, поскольку он совершает все возможное добро, с Богом это не то же самое, поскольку обязательство творить добро бесконечно противоречит самой способности творения, а совершенство и тварь - это два термина, которые обязательно исключают друг друга. Таким образом, Бог был единственным судьей степени совершенства, которую подобало даровать каждому созданию: выдвигать против него обвинение по этому пункту - значит клеветать на его справедливость.

Что касается греха, то есть морального зла, то Отцы Церкви, отвечая на возражения атеистов, выдвинули теории свободы воли, искупления, оправдания и благодати, к обсуждению которых нам нет необходимости возвращаться.

Я не знаю, дали ли атеисты категорический ответ на эту теорию о сущностном несовершенстве творения, теорию, блестяще воспроизведенную г-ном де Ламенне в его "Esquisse".

Действительно, для них было невозможно ответить на это; ибо, рассуждая из ложного представления о зле и свободе воли и пребывая в глубоком неведении законов человечества, они в равной степени не имели причин ни восторжествовать над своими собственными сомнениями, ни опровергнуть верующих.

Давайте оставим сферу конечного и бесконечного и обратимся к концепции порядка. Может ли Бог создать круглый круг, прямоугольный квадрат? Конечно.

Был бы ли Бог виновен, если бы, создав мир в соответствии с законами геометрии, он вложил это в наши умы или даже позволил нам верить без нашей вины, что круг может быть квадратным, а квадрат - круговой, хотя из-за этого ложного мнения нам пришлось бы претерпеть неисчислимую череду бедствий? Опять же, несомненно.

Что ж! это именно то, что Бог, Бог Провидения, совершил в управлении человечеством; именно в этом я его обвиняю. Он знал от века — в той мере, в какой мы, смертные, открыли это после шести тысяч лет мучительного опыта, — что порядок в обществе, то есть свобода, богатство, наука, достигается примирением противоположных идей, которые, если каждую из которых принимать как абсолютную саму по себе, ввергли бы нас в бездну страданий: почему он не предупредил нас? Почему он не исправил наше суждение с самого начала? Почему он оставил нас на произвол нашей несовершенной логики, особенно когда наш эгоизм должен находить оправдание в его несправедливости и вероломстве? Он знал, этот ревнивый Бог, что, если он подвергнет нас опасностям опыта, мы очень поздно обретем ту уверенность в жизни, которая составляет все наше счастье: почему он не сократил это долгое ученичество раскрытием наших собственных законов? Почему, вместо того чтобы очаровывать нас противоречивыми мнениями, он не перевернул опыт, заставив нас прийти к антиномиям путем анализа синтетических идей, вместо того чтобы оставлять нас мучительно карабкаться по кручам антиномии к синтезу?

Если бы, как считалось ранее, зло, от которого страдает человечество, проистекало исключительно из несовершенства, неизбежного в каждом создании, или, лучше сказать, если бы это зло было вызвано только антагонизмом потенциальных возможностей и склонностей, которые составляют наше существо и которые разум должен учить нас обуздывать и направлять, у нас не было бы права жаловаться. При таком нашем состоянии, каким оно могло бы быть, Бог был бы оправдан.

Но, принимая во внимание это преднамеренное заблуждение наших умов, заблуждение, которое было так легко рассеять и последствия которого должны быть такими ужасными, где оправдание Провидения? Разве это не правда, что благодать подвела здесь человека? Бог, которого вера представляет как нежного отца и благоразумного учителя, оставляет нас на произвол судьбы из-за наших неполных представлений; он роет ров под нашими ногами; он заставляет нас двигаться вслепую; и затем, при каждом падении, он наказывает нас как негодяев. Что мне сказать? Кажется, что это вопреки ему мы, наконец, покрытые синяками от нашего путешествия, узнаем свой путь; как будто мы оскорбили его славу, став более разумными и свободными через испытания, которые он налагает на нас. Какая же тогда нам нужда постоянно взывать к Божественности и что нам делать с этими спутниками Провидения,

которое на протяжении шестидесяти веков с помощью тысячи религий обманывало и вводило нас в заблуждение?

Что?! Бог через своих носителей Евангелия и законом, который он вложил в наши сердца, повелевает нам любить ближнего, как самих себя, поступать с другими так, как мы хотим, чтобы поступали с нами, воздавать каждому по заслугам, ничего не утаивать из платы работника и не давать займы с помощью ростовщичества; более того, он знает, что в нас милосердие тепловато, а совесть колеблется, и что малейший предлог всегда кажется нам достаточным основанием для освобождения от закона: и все же он вовлекает нас, с таким расположением, в противоречия торговли и собственности, в которых, в силу необходимости теории милосердие и справедливость обречены на гибель! Вместо того, чтобы просветить наш разум относительно соблюдения принципов, которые навязываются ему со всей силой необходимости, но последствия которых, принятые эгоизмом, фатальны для человеческого братства, он ставит этот злоупотребляемый разум на службу нашим страстям; путем обольщения разума он разрушает равновесие нашей совести; он оправдывает в наших собственных глазах наши узурпации и нашу алчность; он делает отделение человека от его собратьев неизбежным и законным; он создает разделение и ненависть между нами, делая равенство трудом и по праву невозможным; он заставляет нас верить, что это равенство, закон мира, несправедлив среди людей; и затем он массово осуждает нас за то, что мы не знали, как применять на практике его непостижимые заповеди! Я полагаю, что доказал, что наше оставление Провидением не оправдывает нас; но, каким бы ни было наше преступление, в нем мы не виновны; и если есть существо, которое перед нами и больше, чем мы, заслуживает ада, — я обязан назвать его, — то это Бог.

Когда теисты, чтобы утвердить свою догму о Провидении, ссылаются на порядок природы в качестве доказательства, хотя этот аргумент является лишь началом вопроса, по крайней мере, нельзя сказать, что он содержит противоречие и что приведенный факт свидетельствует против гипотезы. В мировой системе, например, ничто не выдает ни малейшей аномалии, ни малейшего недостатка предвидения, из чего можно было бы извлечь какое бы то ни было предубеждение против идеи высшего, разумного, личного двигателя. Короче говоря, хотя порядок природы и не доказывает реальности Провидения, он не противоречит ему.

Совсем другое дело с правительством человечества. Здесь порядок не возникает одновременно с материей; он не был создан, как в системе мира, раз и навсегда. Она постепенно развивается в соответствии с неизбежным рядом принципов и следствий, которые сам человек, существо, подлежащее упорядочиванию, должен устранять спонтанно, своей собственной энергией и по требованию опыта. Ему не дано откровения относительно этого. Человек при своем происхождении подчинен заранее установленной необходимости, абсолютному и непреодолимому порядку. Чтобы этот порядок мог быть реализован, человек должен открыть его; чтобы он мог существовать, он должен был догадаться об этом. Этот изобретательский труд можно было бы сократить; никто, ни на небе, ни на земле, не придет человеку на помощь; никто не будет наставлять его. Человечество на сотни веков поглотит свои поколения; оно истощит себя в крови и грязи, если Бог, которому оно поклоняется, однажды не придет, чтобы просветить его разум и сократить время испытаний. Где здесь божественное действие? Где Провидение?

"ЕСЛИ БЫ БОГА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО", — так говорит Вольтер, враг религий, — "НЕОБХОДИМО БЫЛО БЫ ЕГО ИЗОБРЕСТИ". Почему? "Потому что, — добавляет тот же Вольтер, — если бы я имел

дело с принцем-атеистом, в интересах которого было бы растолочь меня в ступе, я совершенно уверен, что меня бы растерли". Странное заблуждение великого ума! И если бы вы имели дело с благочестивым принцем, чей духовник, говоря от имени Бога, приказал бы сжечь вас заживо, разве вы не были бы совершенно уверены, что вас тоже сожгут? Значит, вы забыли антихриста, инквизицию и святого Варфоломея, и колья Ванيني и Бруно, и пытки Галилея, и мученическую смерть стольких вольнодумцев? Не пытайтесь проводить здесь различие между использованием и злоупотреблением, ибо я должен ответить вам, что исходя из мистического и сверхъестественного принципа, из принципа, который охватывает все, который все объясняет, который все оправдывает, такого как идея Бога, все последствия законны, и что усердие верующего является единственным судьей их уместности.

"Когда-то я верил, - говорит Руссо, - что можно быть честным человеком и не иметь дела с Богом; но я оправился от этого заблуждения". По сути, тот же аргумент, что и у Вольтера, то же оправдание нетерпимости: человек творит добро и воздерживается от зла только благодаря Провидению, которое наблюдает за ним; проклятие тем, кто отрицает его существование! И, в довершение всего абсурда, человек, который таким образом ищет для нашей добродетели санкции Божества, которое вознаграждает и наказывает, - это тот же самый человек, который проповедует врожденную доброту человека как религиозную догму.

И я, со своей стороны, говорю: первый долг человека, ставшего разумным и свободным, - постоянно вытеснять идею Бога из своего ума и совести. Ибо Бог, если он существует, по сути своей враждебен нашей природе, и мы несколько не зависим от его авторитета. Мы приходим к знанию вопреки ему, к комфорту вопреки ему, к обществу вопреки ему; каждый шаг, который мы делаем вперед, - это победа, в которой мы сокрушаем Божественность.

Пусть больше не говорят, что пути Божьи непроницаемы. Мы проникли на эти пути и там прочли в кровавых письменах доказательства бессилия Бога, если не его злонамеренности. Мой разум, долго унижавшийся, постепенно поднимается до уровня бесконечного; со временем он обнаружит все, что скрывает от него его неопытность; со временем я буду все меньше и меньше приносить несчастья, и благодаря свету, который я приобрету, благодаря совершенству моей свободы, я очищу себя, идеализирую свое существо и стану главой творения, равным Богу. Единственный момент беспорядка, который Всемогущий мог бы предотвратить, но не предотвратил, обвиняет его Провидение и показывает, что ему не хватает мудрости; малейший прогресс, который человек, невежественный, покинутый и преданный, делает в направлении добра, делает ему неизмеримую честь. По какому праву Бог все еще должен говорить мне: БУДЬ СВЯТЫМ, ИБО я СВЯТ? Лживый дух, я отвечу ему, слабоумный Бог, твое правление закончилось; ищи у зверей других жертв. Я знаю, что я не святой и никогда не смогу стать таким; и как ты можешь быть святым, если я похож на тебя? Вечный отец, Юпитер или Иегова, мы научились узнавать тебя; ты есть, ты был и ты всегда будешь ревнивым соперником Адама, тираном Прометея.

Итак, я не впадаю в софизм, опровергаемый святым Павлом, когда он запрещает вазе говорить горшечнику: "Зачем ты сотворил меня таким?" Я не виню автора вещей за то, что он создал меня негармоничным созданием, бессвязным скоплением; я мог существовать только в таком состоянии. Я довольствуюсь тем, что взываю к нему: Почему ты обманываешь меня? Почему своим молчанием ты освободил эгоизм внутри меня? Почему вы подвергли меня пыткам всеобщего сомнения горькой иллюзией антагонистических идей, которые вы вложили в мой

разум? Сомнение в истине, сомнение в справедливости, сомнение в моей совести и моей свободе, сомнение в самом себе, о Боже! и, как результат этого сомнения, необходимость войны с самим собой и со своим ближним! Вот, верховный Отец, что ты сделал для нашего счастья и своей славы; такова с самого начала была твоя воля и твое правление; таков хлеб, замешанный на крови и слезах, которым ты кормил нас. Грехи, которые мы просим тебя простить, ты заставил нас совершить; ловушки, от которых мы умоляем тебя избавить нас, ты расставил для нас; и сатана, который окружает нас, - это ты сам.

Ты восторжествовал, и никто не осмелился возразить тебе, когда, измучив телом и душой праведного Иова, прообраз нашего человечества, ты оскорбил его искреннее благочестие, его благоразумное и почтительное невежество. Мы были ничтожеством перед твоим невидимым величием, которому мы дали небо в качестве балдахина и землю в качестве подставки для ног. И вот теперь ты свергнут с престола и сломлен. Твое имя, столь долго бывшее последним словом ученого, санкцией судьи, силой монарха, надеждой бедных, прибежищем раскаявшегося грешника, — это непередаваемое имя, говорю я, отныне предмет презрения и проклятий, станет шипением среди людей. Ибо Бог - это глупость и трусость; Бог - это лицемерие и ложь; Бог - это тирания и несчастье; Бог - это зло. До тех пор, пока человечество будет склоняться перед алтарем, человечество, раб королей и священников, будет осуждено; до тех пор, пока один человек именем Бога будет принимать клятву другого человека, общество будет основано на лжесвидетельстве; мир и любовь будут изгнаны из среды смертных. Боже, заberi себя отсюда! ибо с этого дня, излечившись от своего страха и став мудрым, я клянусь, простирая руку к небесам, что ты всего лишь мучитель моего разума, призрак моей совести.

Поэтому я отрицаю верховенство Бога над человечеством; я отвергаю его провиденциальное правление, несуществование которого достаточно доказано метафизическими и экономическими галлюцинациями человечества, - одним словом, мученической смертью нашей расы; я отвергаю юрисдикцию Высшего Существа над человеком; я отнимаю у него титулы отца, царя, судьи, доброго, милосердного, жалостливого, помогающего, вознаграждающего и мстящего. Все эти атрибуты, из которых состоит идея Провидения, являются всего лишь карикатурой на человечество, несовместимой с автономией цивилизации и, более того, противоречащей истории ее отклонений и катастроф. Следует ли из того, что Бог больше не может быть понят как Провидение, из того, что мы отнимаем у него это свойство, столь важное для человека, что он без колебаний сделал его синонимом Бога, что Бога не существует и что богословская догма с этого момента оказывается ложной по своему содержанию?

Увы! нет. Разрушено предубеждение относительно божественной сущности; тем же ударом установлена независимость человека: вот и все. Реальность божественного Существа осталась нетронутой, и наша гипотеза все еще существует. Продемонстрировав, что Бог не мог быть Провидением, мы сделали первый шаг в определении идеи Бога; теперь вопрос состоит в том, чтобы выяснить, согласуется ли это первое данное с остальной частью гипотезы, и, следовательно, определить, с той же точки зрения разума, что такое Бог, если он есть.

Ибо точно так же, как, установив вину человека под влиянием экономических противоречий, мы должны были объяснить эту вину, если мы не хотим ранить человека после того, как сделали его презренной сатирой, точно так же, после признания химерической природы доктрины о Божьем Провидении, мы должны исследовать, насколько это отсутствие Провидения

согласуется с идеей суверенного разума и свободы, если мы не хотим пожертвовать предложенной гипотезой, ложность которой пока ничто не доказывает.

Итак, я утверждаю, что Бог, если Бог есть, не похож на те изображения, которые сделали из него философы и священники; что он не думает и не действует в соответствии с законом анализа, предвидения и прогресса, который является отличительной чертой человека; что, напротив, он, скорее, следует обратным и регрессивным курсом; что разум, свобода, личность в Боге устроены не так, как в нас; и что эта оригинальность природы, полностью объясненная, делает Бога по сути антицивилизирующим, антилиберальным, античеловеческим существом.

Я доказываю свое положение, переходя от отрицательного к положительному, то есть выводя истинность моего тезиса из хода возражений против него.

1. Бог, говорят верующие, может быть понят только как бесконечно добрый, бесконечно мудрый, бесконечно могущественный и т.д. — весь список бесконечных. Итак, бесконечное совершенство не может быть согласовано с данным воли, занимающей безразличное или даже реакционное отношение к прогрессу: следовательно, либо Бога не существует, либо возражение, вытекающее из развития антиномий, доказывает лишь наше незнание тайн бесконечности.

Я отвечаю этим рассуждающим, что, если для придания законности совершенно произвольному мнению достаточно сослаться на непостижимость тайн, я так же удовлетворен тайной Бога без провидения, как и тайной Провидения без действительности. Но, принимая во внимание факты, нет никаких оснований ссылаться на такое рассмотрение вероятности; мы должны ограничиться позитивным изложением опыта. Итак, опыт и факты доказывают, что человечество в своем развитии подчиняется непреклонной необходимости, законы которой становятся ясными, а система реализуется так быстро, как это открывает коллективный разум, и в обществе нет ничего, что свидетельствовало бы о внешнем подстрекательстве, будь то со стороны провиденциального повеления или какой-либо сверхчеловеческой мысли. Основой веры в Провидение является сама эта необходимость, которая является, так сказать, основой и сущностью коллективного человечества. Но эта необходимость, какой бы систематической и прогрессивной она ни казалась, на самом деле не является провидением ни в человечестве, ни в Боге; чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить бесконечные колебания и болезненные нащупывания, посредством которых проявляется общественный порядок.

2. Другие спорщики неожиданно встречаются на нашем пути и кричат: "Какой смысл в этих заумных исследованиях?" Нет более бесконечного разума, чем Провидение; во вселенной вне человека нет ни меня, ни воли. Все, что происходит, как зло, так и добро, происходит неизбежно. Непреодолимый ансамбль причин и следствий охватывает человека и природу с одинаковой фатальностью; и те способности в нас самих, которые мы называем совестью, волей, рассудительностью и т.д., являются лишь частными случаями вечного, неизменного и неизбежного целого.

Этот аргумент является перевернутым предыдущим. Он заключается в замене идеи всемогущего и всеведущего автора идеей необходимой и вечной, но бессознательной и слепой координации. Исходя из этого противопоставления, мы уже можем предчувствовать, что рассуждения материалистов ничуть не тверже, чем у верующих.

Тот, кто говорит о необходимости или фатальности, говорит об абсолютном и нерушимом порядке; тот, кто, напротив, говорит о беспорядке, утверждает то, что наиболее противно фатальности. Итак, в мире царит беспорядок, беспорядок, вызванный игрой спонтанных сил, которые не сковать никакой властью: как это может быть, если все является результатом судьбы?

Но кто не видит, что этот старый спор между теизмом и материализмом проистекает из ложного представления о свободе и фатальности, двух терминах, которые считались противоречащими друг другу, хотя на самом деле это не так. Если человек свободен, говорит одна сторона, тем более Бог свободен, а фатальность - это всего лишь слово; если в природе все заковано в цепи, отвечает другая сторона, то нет ни свободы, ни Провидения: и поэтому каждая сторона спорит в своем направлении, пока не скроется из виду, так и не сумев понять, что это мнимое противопоставление свободы и фатальности является всего лишь естественным, но не противоположным различием между фактами деятельности и фактами разума.

Фатальность - это абсолютный порядок, закон, кодекс, фатум устройства вселенной. Но этот кодекс, сам по себе отнюдь не исключающий идеи суверенного законодателя, предполагает это настолько естественно, что вся древность без колебаний признавала это; и сегодня весь вопрос заключается в том, чтобы выяснить, предшествовал ли законодатель закону во вселенной, как верили основатели религий, — то есть предшествует ли разум фатальности, - или, как утверждают современные люди, закон предшествовал законодателю, — другими словами, рожден ли разум природой. ДО или ПОСЛЕ, эта альтернатива подводит итог всей философии. Оспаривать подчиненность или приоритет разума - все это очень хорошо, но отрицать разум во имя фатальности - это исключение, которое ничем не оправдывается. Чтобы опровергнуть это, достаточно вспомнить сам факт, на котором оно основано, — существование зла.

При наличии материи и притяжения система мира является их продуктом: это фатально. При наличии двух взаимосвязанных и противоречивых идей должна следовать композиция: это тоже фатально. Фатальность сталкивается не со свободой, чье предназначение, напротив, состоит в том, чтобы обеспечить осуществление фатальности в определенной сфере, а с беспорядком, со всем, что служит препятствием для исполнения закона. Есть ли беспорядок в мире, да или нет?

Фаталисты не отрицают этого, ибо по самой странной ошибке именно присутствие зла сделало их фаталистами. Теперь я говорю, что присутствие зла, отнюдь не свидетельствующее о фатальности, разрушает фатальность, совершает насилие над судьбой и предполагает причину, ошибочная, но добровольная инициатива которой противоречит закону. Эту причину я называю свободой; и в четвертой главе я доказал, что свобода, подобно разуму, который служит человеку факелом, настолько больше и совершеннее, насколько она более полно согласуется с порядком природы, которым является фатальность.

Следовательно, противопоставлять фатальность свидетельству совести, которая чувствует себя свободной, и наоборот, значит доказывать, что человек неверно истолковывает идеи и не имеет ни малейшего представления о вопросе. Прогресс человечества может быть определен как воспитание разума и человеческой свободы фатальностью: абсурдно рассматривать эти три термина как исключающие друг друга и несовместимые, когда на самом деле они поддерживают друг друга, фатальность служит основой, разум следует за ней, а свобода

венчает здание. Человеческий разум стремится познать фатальность и проникнуть в нее; именно соответствовать ей стремится свобода; и критика, которой мы сейчас занимаемся в отношении спонтанного развития и инстинктивных верований человеческой расы, по сути, является лишь изучением фатальности. Давайте объясним это.

Человек, наделенный активностью и интеллектом, обладает способностью нарушать порядок в мире, частью которого он является. Но все его отступления были предвидены и осуществляются в определенных пределах, которые после определенного количества уходов и возвращений возвращают человека к порядку. Из этих колебаний свободы может быть определена роль человечества в мире; и, поскольку судьба человека связана с судьбой созданий, от него можно вернуться к высшему закону вещей и даже к истокам бытия.

Соответственно, я больше не буду спрашивать: как получилось, что человек имеет власть нарушать установленный провидением порядок, и как получилось, что Провидение позволяет ему это делать? Я формулирую вопрос в других терминах: как получается, что человек, неотъемлемая часть Вселенной, продукт фатальности, способен преодолеть фатальность? Как получилось, что роковая организация, организация человечества, случайна, противоречива, полна смятения и катастроф? Фатальность не ограничивается часом, столетием, тысячей лет: если наука и свобода неизбежно должны быть нашими, почему они не приходят раньше? Ибо в тот момент, когда мы страдаем от задержки, фатальность противоречит самой себе; зло так же исключительно от фатальности, как и от Провидения.

Короче говоря, что же это за фатальность, которой каждое мгновение противоречат факты, происходящие в ее недрах? Фаталисты обязаны объяснить это точно так же, как теисты обязаны объяснить, каким может быть бесконечный разум, неспособный ни предвидеть, ни предотвратить страдания своих созданий.

Но это еще не все. Свобода, разум, фатальность - это, по сути, три адекватных выражения, служащих для обозначения трех разных граней бытия. В человеке разум - это лишь определенная свобода, сознающая свой предел. Но в кругу своих ограничений эта свобода также является фатальностью, живой и личной фатальностью. Поэтому, когда совесть человеческой расы провозглашает, что фатальность вселенной — то есть высшая фатальность — адекватна бесконечному разуму, а также бесконечной свободе, она просто выдвигает гипотезу, во всех отношениях законную, проверка которой возложена на все стороны.

3. Теперь приходят ГУМАНИСТЫ, новые атеисты, и говорят:

Человечество в его совокупности - это реальность, которую ищет социальный гений под мистическим именем Бога. Этот феномен коллективного разума — своего рода мираж, в котором человечество, созерцая себя, принимает себя за внешнее и трансцендентное существо, которое обдумывает свои судьбы и управляет ими, — эта иллюзия совести, как мы говорим, была проанализирована и объяснена; и впредь воспроизводить теологическую гипотезу - значит делать шаг назад в науке. Мы должны строго ограничивать себя обществом, человеком. БОГ в религии, ГОСУДАРСТВО в политике, СОБСТВЕННОСТЬ в экономике - такова тройственная форма, в которой человечество, ставшее чуждым самому себе, не перестало разрывать себя собственными руками и которую сегодня оно должно отвергнуть.

Я признаю, что каждое утверждение или гипотеза Божественности исходит из антропоморфизма и что Бог, в первую очередь, является лишь идеалом или, скорее, призраком

человека. Я признаю далее, что идея Бога является прообразом и основой принципа авторитета и абсолютизма, разрушить или, по крайней мере, подчинить который, где бы он ни проявлялся, в науке, промышленности, общественных делах - наша задача. Следовательно, я не противоречу гуманизму; я продолжаю его. Принимая его критику божественного существа и применяя ее к человеку, я замечаю:

Что человек, почитая себя Богом, возводит себя в идеал, противоречащий его собственной сущности, и объявляет себя антагонистом существа, считающегося суверенно совершенным, — короче говоря, бесконечного;

Следовательно, человек, по его собственному мнению, является всего лишь ложным божеством, поскольку, устанавливая Бога, он отрицает самого себя; и что гуманизм - религия столь же отвратительная, как любой из теизмов древнего происхождения;

Что этот феномен принятия человечеством себя за Бога не поддается объяснению в терминах гуманизма и требует дальнейшего толкования.

Бог, согласно теологической концепции, является не только полновластным хозяином вселенной, непогрешимым и безответственным царем созданий, умопостигаемым типом человека; он - вечное, неизменное, вездесущее, бесконечно мудрое, бесконечно свободное существо. Теперь я говорю, что эти атрибуты Бога содержат в себе нечто большее, чем идеал, большее, чем возвышение — до какой бы силы вы ни пожелали — соответствующих атрибутов человечества; я говорю, что они противоречат им. Бог противоречит человеку, точно так же, как милосердие противоречит справедливости; как святость, идеал совершенства, противоречит возможности совершенствования; как царственность, идеал законодательной власти, противоречит закону и т.д. Таким образом, божественная гипотеза перерождается из своего разрешения в человеческую реальность, и проблема полного, гармоничного и абсолютного существования, когда-либо отложенная в сторону, когда-либо возвращается.

Чтобы продемонстрировать эту радикальную антиномию, достаточно сопоставить факты с определениями.

Из всех фактов самым определенным, самым постоянным, самым несомненным, безусловно, является то, что в человеке знание прогрессивно, методично, является результатом размышления, — короче говоря, экспериментально; настолько, что любая теория, не имеющая санкции опыта, то есть постоянства и сцепленности в своих репрезентациях, — таким образом, лишена научного характера. В отношении этого не может быть ни малейшего сомнения. Сама математика, хотя и называется чистой, подчинена СЦЕПЛЕНИЮ предложений и, следовательно, зависит от опыта и признает его закон.

Знание человека, начинающееся с приобретенных наблюдений, затем прогрессирует и распространяется в неограниченной сфере. Цель, которую оно имеет в виду, идеал, который оно стремится реализовать, даже не будучи в состоянии достичь его, — напротив, отодвигая его все дальше и дальше от себя, — это бесконечное, абсолютное.

Итак, каким было бы бесконечное знание, абсолютное знание, определяющее столь же бесконечную свободу, какую спекуляция предполагает в Боге? Это было бы знание не только универсальное, но и интуитивное, спонтанное, столь же полностью свободное от колебаний, как и от объективности, хотя и охватывающее одновременно реальное и возможное; знание

надежное, но не демонстративное; полное, а не последовательное; короче говоря, знание, которое, будучи вечным в своем формировании, было бы лишено какого-либо прогрессивного характера в отношении своих частей.

Психология собрала многочисленные примеры этого способа познания в инстинктивных и предсказательных способностях животных; в спонтанном таланте некоторых людей, прирожденных математиков и художников, независимо от всякого образования; наконец, в большинстве примитивных человеческих институтов и памятников, продуктов бессознательного гения, независимых от теорий. А регулярные и сложные движения небесных тел, чудесные сочетания материи — разве нельзя сказать, что это тоже следствие особого инстинкта, присущего стихиям?

Итак, если Бог существует, что-то от него является нам во вселенной и в нас самих: но это что-то находится в вопиющем противоречии с нашими самыми подлинными тенденциями, с нашим самым определенным предназначением; это что-то постоянно стирается из нашей души воспитанием, и заставить его исчезнуть - вот цель нашей заботы. Бог и человек - это две природы, которые избегают друг друга, как только узнают друг друга; в отсутствие трансформации одной или другой, или обеих, как они могли бы когда-либо примириться? Если прогресс разума стремится отделить нас от Божественности, как Бог и человек могут быть идентичны с точки зрения разума? Как, следовательно, человечество могло стать Богом благодаря образованию?

Давайте возьмем другой пример.

Существенной характеристикой религии является чувство. Следовательно, посредством религии человек приписывает чувство Богу, как он приписывает ему разум; более того, он утверждает, следуя обычному ходу своих идей, что чувство в Боге, как и знание, бесконечно.

Итак, одного этого достаточно, чтобы изменить качество чувств в Боге и сделать их атрибутом, полностью отличным от человеческого. В человеке чувство проистекает, так сказать, из тысячи различных источников: оно противоречит самому себе, оно сбивает с толку само себя, оно раздирает само себя; иначе оно не ощущало бы само себя. В Боге, напротив, чувство бесконечно, то есть едино, законченно, фиксировано, ясно, выше всех бурь и не нуждается в раздражении как контрасте для достижения счастья. Мы сами испытываем этот божественный способ переживания, когда одно-единственное чувство, поглощающее все наши способности, как в случае с экстазом, временно налагает тишину на другие чувства. Но этот восторг всегда существует только благодаря контрасту и своего рода провокации извне; он никогда не бывает совершенным, а если и достигает полноты, то подобен звезде, которая достигает своего апогея на одно неделимое мгновение.

Таким образом, мы не живем, мы не чувствуем, мы не мыслим, за исключением ряда противостояний и потрясений, внутренней войны; наш идеал, таким образом, не бесконечность, а равновесие; бесконечность выражает нечто иное, чем мы сами.

Сказано: у Бога нет атрибутов, присущих только ему самому; его атрибуты - это атрибуты человека; тогда человек и Бог - это одно и то же.

Напротив, атрибуты человека, будучи бесконечными в Боге, именно по этой причине своеобразны и специфичны: природа бесконечного состоит в том, чтобы становиться

особенностью, сущностью из факта существования конечного. Отвергните тогда, если хотите, реальность Бога, как отрицают реальность противоречивой идеи; отвергните от науки и морали этот непостижимый и кровавый фантом, который, кажется, преследует нас тем сильнее, чем дальше он от нас удаляется; до определенного момента, который может быть оправдан и, во всяком случае, не может причинить вреда. Но не превращайте Бога в человечество, ибо это было бы клеветой на обоих.

Скажут ли, что противоположность между человеком и божественным существом иллюзорна и что она возникает из противоположности, которая существует между отдельным человеком и сущностью всего человечества? Тогда следует утверждать, что человечество, поскольку они обожествляют именно человечество, не является ни прогрессивным, ни противоположным в разуме и чувствах; короче говоря, что оно бесконечно во всем, что отрицается не только историей, но и психологией.

Это неправильное понимание, кричат гуманисты. Чтобы иметь правильный идеал человечества, его нужно рассматривать не в его историческом развитии, а во всей совокупности его проявлений, как если бы все человеческие поколения, собранные в один момент, образовали единого человека, бесконечного и бессмертного человека.

То есть они отказываются от реальности, чтобы ухватиться за проекцию; истинный человек - это не настоящий человек; чтобы найти истинного человека, человеческий идеал, мы должны оставить время и войти в вечность, — что я говорю? — оставить конечное ради бесконечности, человека ради Бога! Человечество в том виде, в каком мы его знаем, в том виде, в котором оно развито, в фактически единственной форме, в которой оно может существовать, прямостоячее; они показывают нам его перевернутое изображение, как в зеркале, а затем говорят нам: это человек! И я отвечаю: это уже не человек, это Бог. Гуманизм - самый совершенный теизм.

Что же тогда это за провидение, которое теисты предполагают в Боге? По сути, человеческая способность, антропоморфный атрибут, с помощью которого, как считается, Бог заглядывает в будущее в соответствии с ходом событий, точно так же, как мы, люди, смотрим в прошлое, следуя хронологии и истории.

Итак, очевидно, что точно так же, как бесконечность, то есть спонтанная и универсальная интуиция в знании, несовместима с человечностью, так и провидение несовместимо с гипотезой божественного существа. Бог, для которого все идеи равны и одновременны; Бог, чей разум не отделяет синтез от антиномии; Бог, для которого вечность делает все вещи настоящими и современными, — не смог, создавая нас, раскрыть нам тайну наших противоречий; и это именно потому, что он Бог, потому что он не видит противоречия, потому что его разум не подпадает под категорию времени и закон прогресса, потому что его разум интуитивен, а его знание бесконечно. Провидение в Боге - это противоречие внутри противоречия; именно благодаря провидению Бог действительно был создан по образу и подобию человека; уберите это провидение, и Бог перестанет быть человеком, а человек, в свою очередь, должен отказаться от всех своих претензий на божественность.

Возможно, возникнет вопрос, какая польза Богу от бесконечного знания, если он не знает о том, что происходит в человечестве.

Давайте различать. У Бога есть восприятие порядка, чувство добра. Но этот порядок, это благо он считает вечным и абсолютным; он не видит их в их последовательных и несовершенных

аспектах; он не осознает их недостатков. Мы одни способны видеть, чувствовать и оценивать зло, а также измерять продолжительность, потому что мы одни способны творить зло и потому что наша жизнь временна. Бог видит и чувствует только порядок; Бог не понимает, что происходит, потому что то, что происходит, находится НИЖЕ него, за его горизонтом. Мы, напротив, сразу видим добро и зло, временное и вечное, порядок и беспорядок, конечное и бесконечное; мы видим внутри себя и вне себя; и наш разум, поскольку он конечен, превосходит наш горизонт.

Таким образом, при сотворении человека и развитии общества конечный и провиденциальный разум, наш собственный, был положен в противоречие интуитивному и бесконечному разуму, Богу; так что Бог, ничего не теряя из своей бесконечности ни в каком направлении, кажется умаленным самым фактом существования человечества. Прогрессивный разум, возникающий в результате проекции вечных идей на подвижную и наклонную плоскость времени, человек может понимать язык Бога, потому что он исходит от Бога, и его разум изначально подобен разуму Бога; но Бог не может понять нас или прийти к нам, потому что он бесконечен и не может переодеться в конечные атрибуты, не переставая быть Богом, не разрушая себя. Показано, что догмат о Божьем провидении ложен как фактически, так и по праву.

Теперь легко увидеть, как те же рассуждения оборачиваются против системы обожествления человека.

Человек неизбежно полагает Бога абсолютным и бесконечным в своих атрибутах, в то время как сам он развивается в направлении, обратном этому идеалу, возникает диссонанс между прогрессом человека и тем, что человек воспринимает как Бога. С одной стороны, кажется, что человек в силу синкретизма своего строения и совершенства своей природы не является Богом и не может им стать; с другой стороны, ясно, что Бог, высшее Существо, является антиподом человечества, онтологической вершиной, от которой оно бесконечно отделяет себя. Бог и человек, разделив между собой антагонистические способности бытия, похоже, играют в игру, в которой ставкой является контроль над вселенной: у одного есть спонтанность, прямота, непогрешимость, вечность, у другого - предвидение, дедукция, мобильность, время. Бог и человек постоянно сдерживают друг друга и постоянно избегают друг друга; в то время как последний продвигается вперед в размышлениях и теориях, никогда не отдыхая, первый, в силу своей провиденциальной неспособности, кажется, уходит в спонтанность своей природы. Следовательно, существует противоречие между человечеством и его идеалом, противоположность между человеком и Богом, противоположность, которую христианское богословие аллегоризировало и персонифицировало под именем дьявола или сатаны, то есть противоречащего, врага Бога и человека.

Такова фундаментальная антиномия, которую, как я нахожу, современные критики не приняли во внимание и которая, если ею пренебречь, рано или поздно приведет к отрицанию человека-Бога и, следовательно, ко всей этой философской экзегезе, вновь открывает дверь религии и фанатизму.

Бог, согласно гуманистам, есть не что иное, как само человечество, коллективное "я", которому индивидуальное "я" подчинено как невидимому хозяину. Но почему это необычное видение, если портрет является точной копией оригинала? Почему человек, который с самого рождения знал непосредственно и без подозрительной трубы свое тело, свою душу, своего вожда, своего священника, свою страну, свое состояние, был вынужден видеть себя как в зеркале, не узнавая

себя, под фантастическим образом Бога? В чем необходимость этой галлюцинации? Что это за смутное и двусмысленное сознание, которое через определенное время очищается, выпрямляется и, вместо того чтобы принимать себя за другого, окончательно воспринимает себя как такового? Зачем человеку это трансцендентальное признание общества, когда само общество существовало, присутствовало, было видно, осязаемо, хотело и действовало, — когда, короче говоря, оно было известно как общество и называлось таковым?

Нет, говорят, общества не существовало; люди были скоплены, но не объединены; произвольное установление собственности и государства, а также нетерпимый догматизм религии доказывают это.

Чистая риторика: общество существует с того дня, когда индивиды, общаясь с помощью труда и речи, берут на себя взаимные обязательства и порождают законы и обычаи. Несомненно, общество становится совершенным пропорционально достижениям науки и экономики, но ни в одну эпоху цивилизации прогресс не предполагает таких метаморфоз, о которых мечтали строители утопии; и каким бы прекрасным ни было будущее состояние человечества, оно, тем не менее, будет естественным продолжением, необходимым следствием его прежних позиций.

В остальном, поскольку ни одна система ассоциаций сама по себе не исключает, как я показал, братства и справедливости, никогда не было возможности смешать политический идеал с Богом, и фактически мы видим, что все народы отличали общество от религии. Первое воспринималось как ЦЕЛЬ, второе рассматривалось только как СРЕДСТВО; князь был выразителем коллективной воли, в то время как Бог властвовал над совестью, ожидая за гробом виновных, избежавших человеческого правосудия. Даже идея прогресса и реформ никогда и нигде не отсутствовала; короче говоря, ничто из того, что составляет социальную жизнь, не было полностью проигнорировано или неправильно понято ни одной религиозной нацией. Зачем же тогда, еще раз, эта тавтология Общества и Божественности, если верно, как утверждается, что теологическая гипотеза не содержит ничего, кроме идеала человеческого общества, предвзятого типа человечества, преображенного равенством, солидарностью, трудом и любовью?

Конечно, если и есть предрассудок, мистицизм, который сейчас кажется мне в высшей степени обманчивым, то это уже не католицизм, который исчезает, а скорее эта гуманистическая философия, делающая человека святым существом на основе умозрения, слишком образованного, чтобы не иметь в своем составе чего-то произвольного; провозглашающая его Богом, то есть по сути добрым и упорядоченным во всех своих силах, несмотря на обескураживающие свидетельства, которые он постоянно дает о своей сомнительной нравственности; приписывающая его пороки ограничениям, в которых он жил, и обещающая отныне он в полной свободе действует с чистейшей преданностью, потому что в мифах, в которых человечество, согласно этой философии, нарисовало себя, мы находим описанные и противопоставленные друг другу, под именами ада и рая, времена ограничения и наказания и эпоху счастья и независимости! С такой доктриной человеку было бы достаточно — и более того, это было бы неизбежно — признать, что он не является ни Богом, ни добрым, ни святым, ни мудрым, чтобы немедленно вернуться в объятия религии; так что, в конечном счете, все, что мир приобретет отрицанием Бога, будет воскресение Бога.

Мой взгляд на значение религиозных басен не таков. Человечество, признавая Бога своим автором, своим повелителем, своим alter ego, просто определило свою собственную сущность

через антитезу — эклектичную сущность, полную контрастов, исходящую из бесконечного и противоречивую бесконечному, развитую во времени и стремящуюся к вечности, и по всем этим причинам подверженную ошибкам, хотя и руководствующуюся чувством красоты и порядка. Человечество — дочь Бога, как всякая оппозиция - дочь предыдущей позиции: вот почему человечество сформировало Бога подобным себе, наделило его собственными атрибутами, но всегда придавая им специфический характер, то есть определяя Бога в противоречии с самим собой. Человечество - призрак Бога, точно так же, как Бог - призрак человечества; каждый из них является причиной другого и целью существования.

Таким образом, было недостаточно продемонстрировать с помощью критики религиозных идей, что концепция божественного "я" ведет обратно к восприятию человеческого "я"; было также необходимо проверить этот вывод с помощью критики самого человечества и посмотреть, удовлетворяет ли это человечество условиям, которые предполагает его кажущаяся божественность. Итак, такова задача, которую мы торжественно приступили к выполнению, когда, начав сразу с человеческой реальности и божественной гипотезы, мы начали разворачивать историю общества в ее экономических институтах и спекулятивных мыслях.

Мы показали, с одной стороны, что человек, хотя и подстрекаемый антагонизмом своих идей и до известной степени прощательный, творит зло беспричинно и под влиянием звериных порывов своих страстей, которые противоречат характеру свободного, разумного и святого существа. С другой стороны, мы показали, что природа человека устроена не гармонично и синтетически, а образована совокупностью потенциальных возможностей, присущих каждому существу, — обстоятельство, которое, раскрыв нам принцип нарушений, совершаемых человеческой свободой, завершило демонстрацию небожественности нашей расы. Наконец, после доказательства того, что в Боге провидения не только не существует, но и невозможно; после того, как, другими словами, мы отделили божественные атрибуты бесконечного Существа от антропоморфных атрибутов, — мы пришли к выводу, вопреки утверждениям старой теодицеи, что относительно предназначения человека, предназначения по существу прогрессивного, разум и свобода в Боге претерпели контраст, своего рода ограничение и умаление, вытекающие из его вечной, неизменной и бесконечной природы; так что человек, вместо того, чтобы обожествлять в Боге своего суверена и своего проводника, мог и должен смотреть на него только как на его антагонист. И этого последнего соображения будет достаточно, чтобы заставить нас также отвергнуть гуманизм как неуклонно стремящийся через обожествление человечества к религиозной реставрации. Истинное лекарство от фанатизма, на наш взгляд, состоит не в том, чтобы отождествлять человечество с Богом, что равносильно утверждению в социальной экономике коммунизма, в философии мистицизма и *statu quo*; это доказать человечеству, что Бог, если Он есть, является его врагом.

Какое решение появится позже на основе этих данных? Будет ли в конце концов установлено, что Бог - реальность?

Я не знаю, узнаю ли когда-нибудь. Если, с одной стороны, верно, что у меня сегодня не больше оснований утверждать реальность человека, нелогичного и противоречивого существа, чем реальность Бога, непостижимого и непроявленного существа, то, по крайней мере, из радикального противостояния этих двух натур я знаю, что мне нечего надеяться или бояться таинственного автора, которого невольно предполагает мое сознание; я знаю, что мои самые подлинные тенденции ежедневно отделяют меня от созерцания этой идеи; что практический

атеизм отныне должен быть законом моего сердца и моего разума; что из-за радикального противостояния этих двух натур мне нечего надеяться или опасаться. с очевидной необходимостью я должен постоянно усваивать правила своего поведения; что любая мистическая заповедь, любое божественное право, которые должны быть предложены мне, должны быть отвергнуты мной и с которыми я должен бороться; что возвращение к Богу через религию, праздность, невежество или покорность является оскорблением для меня самого; и что если я должен когда-нибудь примириться с Богом, то это примирение, невозможное, пока я жив, и в котором я мог бы все приобрести и ничего не терять, может быть достигнуто только моим уничтожением.

Давайте тогда завершим и напомним на колонке, которая должна послужить ориентиром в наших дальнейших исследованиях:

Законодатель НЕ ДОВЕРЯЕТ человеку, ограничению природы и синкретизму всех существ. Он НЕ ПОЛАГАЕТСЯ на Провидение, недопустимую способность бесконечного разума.

Но, внимательный к последовательности явлений, покорный урокам судьбы, он по необходимости ищет закон человечества, вечное пророчество своего будущего.

Иногда он вспоминает также, что, если чувство Божественности среди людей становится все слабее; если вдохновение свыше постепенно уходит, уступая место выводам опыта; если происходит все более и более вопиющее разделение человека и Бога; если этот прогресс, форма и условия нашей жизни, ускользают от восприятия бесконечного и, следовательно, неисторического разума; если, в общем, обращение к Провидению со стороны правительства является одновременно трусливым лицемерием и угрозой свободе, - тем не менее, всеобщее согласие народов, проявленное в установлении существования стольких различных вероисповеданий и вечно неразрешимое противоречие, поражающее человечество в его идеях, его проявлениях и его тенденциях, указывают на тайную связь нашей души, а через нее и всей природы, с бесконечным, — связь, определение которой выражало бы одновременно смысл вселенной и причину нашего существования.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.